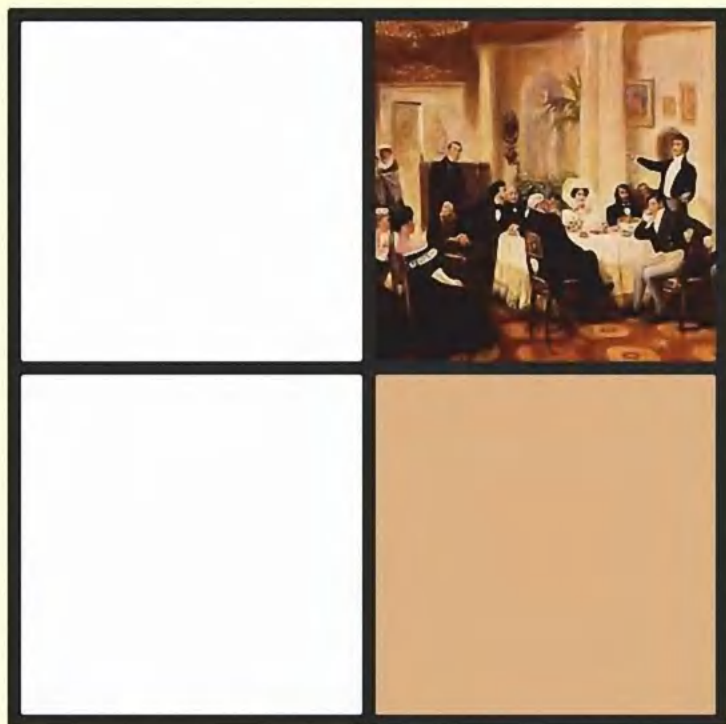


Александр Федута

# СЮЖЕТЫ И КОММЕНТАРИИ



Александр Федута

**СЮЖЕТЫ  
И  
КОММЕНТАРИИ**



Европейский гуманитарный университет

Вильнюс  
2013

УДК 82.09:316.334.5

ББК 83.3:60.54

Ф34

Рекомендовано:  
Научным советом ЕГУ  
(протокол № 53-29 от 19.03.2013 г.)

Рецензенты:

*Строганов М.В.*, доктор филологических наук, профессор,  
директор научно-исследовательского Центра тверского краеведения и этнографии  
Тверского государственного университета, заслуженный работник  
высшей школы Российской Федерации;

*Михайлова Г.П.*, доктор гуманитарных наук, профессор кафедры русской филологии  
Вильнюсского университета

**А.И. Федута**

Ф34 **Сюжеты и комментарии.** – Вильнюс : ЕГУ, 2013. – 252 с.

ISBN 978-9955-773-67-2.

В сборник известного белорусского историка литературы Александра Федуты вошли избранные статьи, посвященные двум основным темам: теме белорусско-польско-русского культурного Пограничья первой половины XIX века и теме перелома / Пограничья культурных эпох, сложившегося после Октябрьской революции 1917 года.

Сборник работ Александра Федуты – первое литературоведческое издание, демонстрирующее научную продуктивность историко-литературных исследований, произведенных по методологии изучения Пограничья.

**УДК 82.09:316.334.5**

**ББК 83.3:60.54**

Издание осуществлено в рамках проекта  
«Социальные трансформации в Пограничье – Беларусь, Украина, Молдова»  
при поддержке Корпорации Карнеги (Нью-Йорк)

ISBN 978-9955-773-67-2

© Федута А.И., 2013

© Европейский гуманитарный университет, 2013

# СОДЕРЖАНИЕ

От автора – читателю ..... 5

## I. ЗЕМЛЯКИ

«Будрыс» в Твери ..... 9

Сентиментальное путешествие в ссылку  
(Ян Янковский и его травелог)..... 23

Земляки (Ф.В. Булгарин и А.-Г.К. Киркор:  
к истории взаимоотношений) ..... 33

Послание «Булгарину» Е.А. Боратынского:  
авторские редакции и литературный контекст..... 68

Цензор оценивает историка  
(неизвестный отзыв о книге Теодора Нарбутта) ..... 76

Как журналист Осип Пржецлавский  
отказал шефу жандармов и ему за это ничего не было ..... 81

Страдания отставного цензора  
(К истории публикации воспоминаний  
О.А. Пржецлавского: по письмам О.А. Пржецлавского  
к П.И. Бартеневу 1872–1873 гг.)..... 94

Невстреча (Эва Фелинская и Надежда Дурова) ..... 105

Русские поэты глазами католического святого ..... 114

Протекция для Ромуальда Подберезского ..... 125

## II. БЫВАЮТ СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНИЯ...

О происхождении прозвища  
М.Н. Муравьева-Виленского..... 131

Коровьев сказал правду! (И.И. Панаев в романе  
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита») ..... 138

Писатель Остап Ибрагимович... Шкловский?..... 145

Боккаччо, прочитанный читателем Пушкина  
(Рассказ Вс.В. Иванова «Сокол»)..... 164

«И примешь ты смерть от коня своего...» («Метценгерштейн» Эдгара По и «Красный жеребец» Георгия Чулкова) .....	172
Мелочи из запаса комментаторской памяти .....	179

### **III. ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ**

«Казнит злодея Провиденье...»: образ палача в литературе романтизма.....	201
«Един Державин». Образ Г.Р. Державина в русской прозе «межвоенного двадцатилетия».....	222
Россия без опоры (Исторические рассказы М.А. Осоргина) .....	237
Библиография .....	248

## ОТ АВТОРА – ЧИТАТЕЛЮ

Предисловие – последний рубеж, отделяющий читателя от книги. Самое время объяснить, что ждет читателя за этим рубежом.

Эта книга выходит в серии, посвященной проблемам Пограничья. Пограничья, понимаемого широко – как время и пространство одновременно. Академик Алексей Ухтомский ввел для обозначения связи времени и пространства термин «хронотоп», позже актуализированный в трудах Михаила Бахтина. Пограничье – это место и время выбора, осуществляемого человеком здесь и сейчас. Можно попытаться впоследствии скорректировать результаты этого выбора, но в тот момент, в той ситуации, в том пространстве – историческом, культурном – выбор уже сделан. И этот выбор влияет, в свою очередь, на самого человека.

История как научная дисциплина возможна постольку, поскольку состоялась череда выборов – индивидуальных и коллективных, совершенных отдельными личностями и массами людей. Выбор предполагает вариант развития. Самое интересное поэтому – описать хронотоп выбора, ситуацию пограничного перелома, перехода с одного этапа на другой.

История литературы тоже история. Предметом ее изучения и объектом описания как науки является ситуация Пограничья. Пограничья, перелома, выбора.

Смена литературных школ и направлений есть пограничная ситуация.

Утрата актуальности одними жанрами и актуализация новых жанров есть пограничная ситуация.

Появление литературных произведений, новаторских по своей сути, выходящих за пределы горизонта читательских ожиданий (термин Ханса Роберта Яусса), также пограничная ситуация.

Не говоря уже о том, что каждый человек, имеющий отношение к литературе, постоянно осуществляет выбор. Даже для того, чтобы снять с полки книгу, нужно осуществить выбор.

Герои работ, вошедших в сборник, который вы держите сейчас в руках, описаны в ситуации пограничной – ситуации выбора.

Это может быть выбор национальной идентичности. XIX век – время, когда идет выплавка наций в современном понимании этого слова. В многонациональной Российской империи смешались судьбы людей, народов, культур. Жизни Фаддея Булгарина, Адама Киркора, Осипа Пржецлавского дают нам спустя столетия материал для осмысления, как и почему осуществлялся тот или иной выбор.

Это может быть выбор гендерной роли. Мы застаем сосланную в Сибирь за конспиративную деятельность в патриотическом подполье мать шестерых детей Эву Фелинскую в раздумьях над судьбой Надежды Дуровой – матери, оставившей единственного сына ради возможности реализовать свое видение патриотизма на войне.

Героев других публикаций, вошедших в этот сборник, мы застаем в момент выбора политического или последствий этого выбора. Члены тайных студенческих обществ Виленского учебного округа, Ян Янковский и Винценты Будревич, предстают перед нами – один на пути в ссылку, второй – в ссылке.

Каждый выбор дает сюжет или является собой коллизией в сюжете жизни того или иного литературного деятеля. Своеобразным комментарием к этим сюжетам являются художественные тексты. И ситуация соприкосновения жизни и текста тоже есть пограничная ситуация.

Черты Виктора Шкловского мы находим в образе Остапа Бендера из дилогии Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Свой жизненный выбор иллюстрируют образом Гавриила Державина Юрий Тынянов, Юрий Домбровский и Владислав Ходасевич.

Пограничную ситуацию революционного перелома отразили в своих текстах Георгий Чулков и Михаил Осоргин – эмигрант внутренний, оставшийся в России, и пассажир «философского парохода», из России высланный против собственной воли.

Момент перетекания одного текста в другой, жизненной коллизии в литературный образ попытался автор этой книги зафиксировать в статье «Русские поэты глазами католического святого» и в небольшом цикле «Мелочи из запаса комментаторской памяти».

Уже собрав все эти работы вместе, автор увидел, как четко они совпадают с пограничными ситуациями не только в жизни их героев, но и в жизни народов и государств.

Первая половина XIX века, бесспорно, пограничная ситуация для взаимоотношений польской и русской культур, польского и русского народов.

И, одновременно, на этом пограничном изломе выплывает некое новое качество, которое можно назвать, говоря по-белорусски, «тутэйшасцю» – «здешностью». Большинство персонажей этой группы текстов принадлежат к этносу, который уже имеет два имени – «литвины» и «белорусы», пусть даже некоторые из них не осознают этой своей принадлежности: не выплавилась нация еще до конца. Но, если рассматривать ситуацию в более широком контексте, то время, когда пишут и совершают иные поступки эти люди, – время общеевропейского культурного перелома / Пограничья, время выплавки не только наций, но и новых культурных стилей, направлений, школ.

Другие тексты посвящены преимущественно 20–30-м годам века двадцатого. Послереволюционная, а потому, бесспорно, пограничная ситуация вновь ставит людей перед выбором. Причем для литературы Пограничье сказывается в выборе и темы, и персонажа, и жанра. Можно, разумеется, считать, что Пограничье и есть только сегодняшний, почти сиюминутный с точки зрения Вечности межцивилизационный разлом, что территория Пограничья есть территория между Россией и Западной Европой. Но на практике выясняется, что хронотоп Пограничья повторяется вновь и вновь, и изучение его исключительно теми инструментами, которые даются нам социальными науками, крайне недостаточно. Недостаточно осознать предмет – нужно иногда смотреть на его отражение в зеркале.

Литература – такое зеркало. Оно отражает общие тенденции, которые лишь на первый взгляд кажутся единичными. Разумеется, судьба каждого человека не похожа на другую судьбу. Но сходство в любом случае больше, чем мы думаем. Нужно только присмотреться.

Может быть, предлагаемые вашему вниманию статьи и публикации немного расширят представление читателя о Пограничье. Или просто окажутся интересными и небесполезными. Во всяком случае, в последнем автора убеждают доброжелательные советы рецензентов книги профессора Галины Михайловой (Вильнюс) и профессора Михаила Строганова (Тверь), а также высказанное в разное время по тем или иным поводам мнение Наталии Арлаускайте (Вильнюс), Константина Боленко (Москва), Семена Букчина (Минск), Ольги Горбачевой (Минск), Ильи Кукулина (Москва), Павла Лавринца (Вильнюс), Элеоноры Лассан (Вильнюс), Людмилы Луцевич (Варшава), Дины Магомедовой (Москва), Дмитрия Матвейчика (Минск), Игоря Пильщикова (Москва – Таллинн), Абрама Рейтבלата (Москва), Елены Сапрыкиной (Москва), Виталия Скалабана (Минск), Алеся Смоленчука (Гродно), Натальи Сперанской (Москва), Кирилла Чекалова (Москва), Василия Щукина (Краков), которым я, пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю признательность.

Особая благодарность – издательству Европейского гуманитарного университета, с позволения которого я посвящаю эту книгу любимой жене и другу – Марине Шибко.



## **I. ЗЕМЛЯКИ**

## «БУДРЫС» В ТВЕРИ<sup>1</sup>

В 1829 г. в журнале «Сынъ Отечества и Северный Архивъ» (1829, т. V, с. 113–115) был анонимно опубликован подстрочный прозаический перевод баллады великого польского поэта Адама Мицкевича «Trzech Budrysów (Ballada litewska)». Перевод был выполнен, скорее всего, одним из соредакторов журнала – белорусским шляхтичем Тадеушем Булгариным (тем самым Фаддеем Венедиктовичем), для которого польский язык, как известно, был первым литературным языком. Опубликованный текст, по нашему мнению, спровоцировал другого гения – А.С. Пушкина – вступить с Мицкевичем в творческое состязание и опубликовать поэтический перевод баллады в журнале «Библиотека для чтения» (1834, т. II, с. 96–97)<sup>2</sup>. Но сейчас нас интересует не история творческого диалога Мицкевича и Пушкина при посредничестве Булгарина, а судьба человека, которому де-факто была посвящена баллада Мицкевича и который в это время – и в 1829 г., и в 1834 г. – жил и работал непосредственно в Твери и Тверской губернии. Скорее всего, никто из тверичей, даже читавших упомянутые нами журналы, не подозревал, что скромный учитель математики тверской гимназии Викентий Антонович Будревич и есть тот самый «Будрыс», которому таким образом передавал свой поэтический привет сосланный одновременно с

---

<sup>1</sup> Очерк написан в соавторстве с Т.А. Ильиной, с любезного согласия которой и публикуется в данной книге.

<sup>2</sup> См. об этом: Федута, А.И. Три «Будрыса»: авторский текст – подстрочник – поэтический перевод // *Respectus Philologicus* (Вильнюс). 2004. № 5 (10). С. 112–120.

ним вглубь России, но сумевший покинуть ее и достичь литературного бессмертия Адам Мицкевич<sup>3</sup>.

Винценты Будревич родился в 1795 г., в Минской губернии. Учился в Виленском университете, после его окончания работал в Ковно, где пропагандировал идеи Общества Лучистых («променистых»), членом которого он стал еще в годы студенчества. Вместе с другими членами тайного молодежного общества филоматов и филаретов по императорскому указу он был выслан в Россию после длительного и предвзятого следствия сенатора Н.Н. Новосильцова<sup>4</sup>. Всем высланным было строгойше запрещено возвращаться на родину без высочайшего соизволения. Впрочем, первоначально – до польского восстания 1830–1831 гг. – судьба была достаточно благосклонна к некоторым филоматам. В частности, им разрешалось сдать экзамены в столичных университетах на кандидатскую степень с тем, чтобы позже служить в учебных заведениях России. Те же, кто уже имел степень кандидата (а Будревич закончил Виленский университет со степенью кандидата философии), были откомандированы в распоряжение попечителей учебных округов и другие государственные учреждения высокого уровня.

Винценты Будревич воспользовался этой возможностью. Вначале он попал в Москву. Один из его близких друзей, любимый ученик выдающегося историка Иоахима Лелевеля, Циприан Дашкевич, обосновавшийся в Москве и служивший секретарем банка, сообщал учителю: «Будревич и Петрашкевич в университете за кандидатскую степень по 300 руб. асс. на год получают»<sup>5</sup>. Служивший в это же время при канцелярии московского генерал-губернатора Адам Мицкевич писал президенту общества филоматов Томашу Зану, сосланному в Оренбург: «Знакомств никаких, кроме собственной компании, у нас нет. Выделяется г-н Онуфрий (Петрашкевич. – Т.И., А.Ф.), который является синдиком здешней епархии; потому его часто

<sup>3</sup> Впрочем, А.С. Пушкин, похоже, с Будревичем знаком был. Л.А. Черейский, автор справочников «Пушкин и его окружение» и «Пушкин и Тверской край», утверждает, что Будревич «встречался с Пушкиным в Москве в обществе Мицкевича», и приводит следующую цитату из М.А. Максимовича: «возвращенный из ссылки Пушкин познакомился с польским своим собратом (Мицкевичем. – Л.Ч.). Они часто виделись. Будревич, учитель математики в тверской гимназии, помнил, как раз Пушкин назвал сбитенщика и как вся компания пила сбитень, а Пушкин, шутя, говорил: “На что нам чай? Вот наш национальный напиток”» (см.: Черейский, Л.А. Пушкин и Тверской край. – Калинин, 1985. – С. 85–86).

<sup>4</sup> См. об этом, в частности, в воспоминаниях профессоров Виленского университета И. Лелевеля и И.Н. Лобойко: Вильна 1823–1824. Перекрестки памяти: И. Лелевель. Новосильцов в Вильне. И.Н. Лобойко. Мои воспоминания / сост. А.И. Федута; вступ. статьи и комментарии: П.М. Лавринец, А.И. Рейтблат, А.И. Федута. – Минск, 2008.

<sup>5</sup> Циприан Дашкевич Иоахиму Лелевелю, 30 августа / 11 сентября 1826 г. – *Listy z zesłania*, t. 1, Warszawa, 1997. – S. 317.

приглашают на крестины, помолвки и похороны; поддерживает знакомства с ксендзами, акушерками, секретарями и секретаршами, всегда сильно занят, деловит и спешит все время, как если бы имел где-то rendez-vous (свидание. – Т.И., А.Ф.); Будрыс в точности негатив Онуфрия, всегда impassible (невозможен. – Т.И., А.Ф.), целый день курит трубку и вечерами смотрит на свечи; всегда пробуждается к шахматам, иногда заглядывает в математику»<sup>6</sup>.

Флегматичный, задумчивый, сосредоточенный на собственных мыслях Будревич, впрочем, недолго остается в Москве. «Все мы здоровы и кое-как живем; но, похоже, придется расстаться, потому что Нуфр (Онуфрий Петрашкевич. – Т.И., А.Ф.) и Будревич должны ехать учительствовать», – пишет Мицкевич в Казань будущему ректору Казанского университета Юзефу Ковалевскому<sup>7</sup>. Циприан Дашкевич, ставший неформальным центром московского кружка бывших виленских филоматов, несколько позже уточняет (правда, с ошибкой!) И. Лелевелю маршрут своих коллег: «Петрашкевич и Будревич после двухлетнего сидения в Москве получили назначения, первый в тамбовскую, второй в костромскую гимназию, преподавать латынь и оба математику; не знаю, как начнут с этой своей несчастной латынью»<sup>8</sup>.

Кострома была к Москве ближе, однако служба в тамошней гимназии пришлась Будревичу явно не по вкусу – причем даже неизвестно, приступил ли он к ней вообще. Известно зато, что он попросился в Тверь, название которой и он сам, и его друзья, и товарищи по несчастью долго не могли выучить. Тверичам, однако, не стоит обижаться за это на виленских ссыльных. Дашкевичу едва ли не лучше других давался русский язык (отчего он, собственно, и занял достаточно хлебный пост в банке), но даже «банкир», как прозывали его товарищи, первоначально писал словосочетание «Тверская губерния» как «Taurskaja gubernia», отчего известнейший современный исследователь и публикатор филоматских документов Збигнев Судольский прочитал в его письме этот адрес как «Таврическая губерния». Да и Адам Мицкевич вместо «Twer» в нескольких письмах пишет «Swir» – причем именно в связи с Будревичем. Последнее написание вполне объяснимо: Мицкевич, уроженец Гродненской губернии (фольварк Заосье Новогрудского уезда), воспринимает его на слух вполне по-белорусски: «Цьвер».

Тверь Будревич, судя по всему, как мы уже отметили выше, выбрал как место будущей службы самостоятельно. Во всяком случае, именно об этом

<sup>6</sup> Адам Мицкевич Томашу Зану, Москва, 9/21 июня 1826 г. – Mickiewicz, A., Dzieła, t. XIV, Warszawa, 1955. – S. 291. – Далее ссылки на данное издание см.: AM, Dzieła, t. XIV, Warszawa, 1955. – S. ...

<sup>7</sup> Адам Мицкевич Юзефу Ковалевскому, Москва, конец декабря 1826 г. – AM, Dzieła, t. XIV, Warszawa, 1955. – S. 308.

<sup>8</sup> Циприан Дашкевич Иоахиму Лелевелю, Москва, 7/19 января 1827 г. – Listy z zesłania, t. 1, Warszawa, 1997. – S. 321.

говорит Дашкевич: «До 23 апреля пребывало нас в Москве 6-ро. В это время Будревич по собственному согласию был выслан в тверскую гимназию учителем математики и физики. Учеников у него 34, и во всех классах начал он от начал арифметики, а оригинальностью поведения и жизни стал он предметом удивления»<sup>9</sup>.

Последнее было, очевидно, вызвано тем, что Будревич слыл, по крайней мере первое время, нелюдимым. Оказавшись в чужом городе, с далеко не лучшим знанием русского языка, да еще в статусе ссыльного, он еще больше замкнулся в себе<sup>10</sup>. И это несмотря на то, что в первое время его пребывания в Твери дела обстояли у него вполне благополучно. Во всяком случае, Мицкевич пишет Циприану Дашкевичу из Торжка (куда он попал проездом из Петербурга в Москву): «Мы здоровы за Тверью. Достучался до Будрыса и отдал передачу (вероятнее всего, речь идет о книгах. – Т.И., А.Ф.). Будрыс хорошо живет и хорошо выглядит»<sup>11</sup>. Вместе с тем, студенческая юность долго еще «аукалась» Будревичу: за участие в кружках филоматов и филаретов из его жалованья вычитались деньги в «возмещение казне издержек, вызванных следствием о нем, которое производило Литовско-Виленское Правление»<sup>12</sup>.

Здесь нужно остановиться на сути деятельности того тайного общества, за принадлежность к которому были высланы из Вильно молодые люди, в т.ч. и Винценты Будревич. Общество филоматов ставило своей целью, среди прочего, самообразование и самоусовершенствование. В частности, один из лидеров движения Юзеф Ежовский на заседании правления Общества от 3/15 декабря 1819 г. декларировал: «...новая наша цель: “создать условия для основательного просвещения и черпать из него все, что только к пользе страны употреблено быть может”, – если мы возьмем ее во внимание, то сде-

<sup>9</sup> Циприан Дашкевич Иоахиму Лелевелю, 6/18 июля 1827 г. – *Listy z zesłania*, t. 1, Warszawa, 1997. – S. 328.

<sup>10</sup> Показательно, что Будревич в тверской период полностью отошел от активного участия в культурно-литературной жизни – вероятно, опасаясь повторения виленского прошлого. Во время работы Будревича в гимназии ее директорами были И.И. Лажечников (в 1831–1837 гг.), Н.М. Коншин (в 1837–1849 гг.), известные в литературе люди, знакомые с А.С. Пушкиным, причем они принимали активное участие в культурной жизни Твери. Так, Лажечников именно в Твери написал свой лучший роман «Ледяной дом», отрывки из которого читал в доме Пассеков, а позже устраивал общественные читки «Опричника» в гимназии. Коншин занимался краеведческими историческими исследованиями. Проживал в Твери и Ф.Н. Глинка, собиравший в своем доме литераторов, историков, музыкантов. Никаких следов сопричастности к этим событиям В.А. Будревича обнаружить не удалось.

<sup>11</sup> Адам Мицкевич Циприану Дашкевичу, Торжок, 2/14 декабря 1827 г. – *AM, Dzieła*, t. XIV, Warszawa, 1955. – S. 364.

<sup>12</sup> Крылов, Д. Столетие Тверской мужской гимназии: (1804 – 2 февраля 1904 г.): Историческая записка. – Тверь, 1904. – С. 96.

лаем вывод, что она складывается из двух частей, или, вернее, цель та двояка: одна – *самопросвещение*, другая – *использование просвещения* для извлечения пользы...»<sup>13</sup>. Филоматы готовили друг друга, в том числе, и к повседневной педагогической деятельности – во имя той Польши, в возрождение которой они искренне верили, и чему, собственно говоря, учили их университетские педагоги. Во время заседаний общества его члены выступали с рефератами-сообщениями, в которых освещали различные проблемы познания по всем отраслям науки, со своими поэтическими произведениями и рецензировали сообщения друг друга. Будревич, судя по сохранившимся и опубликованным протоколам научных заседаний, активно выступал с рефератами по математике, физике, химии<sup>14</sup>.

Теперь, в ссылке, Будревич, как и многие другие его коллеги по обществу, получил возможность продемонстрировать глубину своих знаний и апробировать свои педагогические способности на практике, однако в принципиально иных условиях, среди других людей, на чужом для себя языке. Удалось ли ему это – мы не знаем; до нас дошли считанные письма Будревича из Твери, причем о своей профессиональной деятельности Викентий Антонович в них умалчивает. Лишь из самого раннего сохранившегося до наших дней письма «Будрыса» к «Нуфру» (Онуфрию Петрашкевичу) можно понять, как служится учителю тверской гимназии Викентию Будревичу: «Видно из твоих намерений, желаний и побуждений <...> что, лежа четыре года кверху пузом, обрел ты сил, а с ними, думаю, и отваги и выдержки, чтобы пуститься в глубины математических пропастей. И хорошо поступаешь – только старайся всеми силами добиться этого места. В том, наверное, Адам (Мицкевич. – *Т.И., А.Ф.*) может тебе помочь. С начала у тебя будут некоторые трудности в проведении занятий, так как учебники, которых придерживаются согласно предписаниям Училищного Правления, ничего не стоят – отсюда тяжело будет непосвященному черпать математические сведения. Труды, предписанные начальством, суть “Геометрия и алгебра” Фусса, тригонометрия также, статика и геометрия неизвестных авторов, которых в нашей гимназии ни следа нет, и были ли вообще [неизвестно]. Я в отношении тригонометрии тем временем придерживаюсь труда Полинского (речь о книге М. Пельки-Полинского – профессора все того же Виленского университета, разумеется, не переведенной на русский язык. – *Т.И., А.Ф.*) – что касается статике и практической геометрии, не знаю, по какому автору буду преподавать. Еще мои ученики не в состоянии понять практическую геометрию, а тем паче статику. Несмотря на это, после праздников начну статику

<sup>13</sup> Цит. по изд.: Wybór pism filomatów: Konspiracje studenckie w Wilnie 1817–1823. – Wrocław, 2005. – S. 85 (выделено Ю. Ежовским. – *Т.И., А.Ф.*).

<sup>14</sup> См.: Spis prac filomatów czytanych na posiedzeniach naukowych // Wybór pism filomatów: Konspiracje studenckie w Wilnie 1817–1823. – Wrocław, 2005. – S. 409–423.

и практическую геометрию, потому что алгебру и теоретическую геометрию закончу во всех классах. Директор просил, чтобы [я] поспешал, будут знать или нет, но чтобы курс закончил согласно предписаний Главного Училищного Правления, как рекомендовано. Тверь до моего приезда не слышала ни тригонометрии, ни толидометрии, ни статики, ни решения уравнений второго уровня.

Правду говоря, я не придерживаюсь ни одного из предписанных авторов. Не умею читать по-русски, отчего даже не купил ни одного из них. Только придя в класс, брошу взглядом на фигуру или алгебраическую формулу в книжке учеников и двигаюсь к таблице, а там пусть ученики берут, что смогут. Директор, видя, что того в книге нет, что на доске в систематическом виде развито, указал ученикам, чтобы записывали то, о чем говорится на лекциях. Для облегчения в первом классе написал 4 первоначальные раздела, и теперь мне Директор постоянно докучает, чтобы физику и алгебру написал, а мне это в моих математических размышлениях невероятно мешает, потому что вынужден приспособливаться по большей части к работам, предписанным правительством»<sup>15</sup>. Вместе с тем Будревич искренне старается обеспечить своих учеников новейшей литературой, например, просит Петрашкевича приобрести у книготорговца Готье 22 экземпляра второго издания логарифмических таблиц известного французского астронома и математика Жозефа-Жерома де Лаланда<sup>16</sup>.

Процитированное выше письмо В. Будревича отправлено в апреле 1829 г., через два года после его прибытия в Тверь. Но уже через год дискомфорт, который он чувствовал от своего пребывания в Твери, достиг такого уровня, что «Будрыс» вынужден прибегнуть к связям чрезвычайно популярного в московском и петербургском свете Мицкевича. Тот через свою будущую тещу, известную пианистку Марию Шимановскую, влиятельную в силу своего положения при императорском дворе (у нее статус придворной пианистки), добивается у ректора Виленского университета В.В. Пеликана согласия на смену места пребывания некоторых выпускников университета (Пеликан продолжал выступать консультантом правительства в данном вопросе) и пишет Циприану Дашкевичу: «Пусть Будрыс подумает, о чем будет просить; какое именно место; я тотчас непременно напишу княгине (З.А. Волконской, которая должна повлиять уже на министра просвещения. – Т.И., А.Ф.)»<sup>17</sup>. Ностальгия Будрыса была настолько сильна,

<sup>15</sup> Винценты Будревич Онуфрию Петрашкевичу, Тверь, 30 марта / 11 апреля 1829 г. – *Listy z zesłania*, t. 1, Warszawa, 1997. – S. 249.

<sup>16</sup> См. письмо от 13/25 сентября 1830 г., Тверь. – *Listy z zesłania*, t. 1, Warszawa, 1997. – S. 256.

<sup>17</sup> Адам Мицкевич Циприану Дашкевичу, Петербург, 30 июля / 11 августа 1828 г. – *AM, Dzieła*, t. XIV, Warszawa, 1955. – S. 412.

что Мицкевич даже приводит его в качестве примера Дашкевичу, всерьез намеревавшемуся бежать от несчастной любви к Каролине Яниш (будущей известной поэтессе К.К. Павловой) на Кавказ или в Сибирь: «Эй, Дашкусь, не гневи небо! <...> Какое шило подгоняет тебя в Сибирь или на тот Кавказ? Поверь мне, через год будешь проклинать и мир, и себя. Ничтожный чин, который получишь при переезде, не развлечет тебя в долгих одиноких днях и тоскливых вечерах. Не научил тебя пример Будрыса? Будрыс, так мало, казалось бы, нуждающийся в человеческом обществе, удержаться не может в Твери»<sup>18</sup>.

Почему же Будревич, сам выбравший Тверь в качестве места ссылки, вдруг затосковал теперь и мечтает бежать? Выбор был вполне понятен: Тверь, расположенная на пути между старой и новой столицами Российской империи, а потому удобная для встреч с товарищами по несчастью, вынужденными, подобно например А. Мицкевичу и Ф. Малевскому, курсировать между ними. Это не Крым, не Харьков, не Оренбург, в которых встречи с дорогими тебе людьми ждать попросту не приходится.

Удержаться же в Твери, стать полностью своим для тверского общества «литовский медведь» Будревич попросту не смог. Сказались и особенности его характера. Вот как вспоминал о нем его приятель, главный редактор официальной газеты Царства Польского «Тыгодник Петербургский», тоже выпускник Виленского университета и позже тверской помещик Юзеф Эмануэль Пшецлавский (известный в истории русской литературы как Осип Антонович Пржецлавский): «Это был такой оригинал, что даже и в отечестве оригиналов, Англии, обратил бы на себя внимание, с тою разницею, что англичане иногда обдумывают свои выходки, а мой Будрис был оригиналом, сам этого не подозревая, как мольеровский *Bourgeois gentilhomme* не знал, что речь его есть проза»<sup>19</sup>.

Что же приводит Пшецлавский в качестве доказательства «оригинальности» – вернее, чудачеств – «Будрыса»? В частности, следующий анекдот:

«Однажды рано утром, когда я еще не вставал, входит Будревич, весь расстроенный и сердитый. Я спрашиваю, какая неприятность с ним случилась?»

– Неприятность! Тебе надо непременно и подобрать техническое название! – восклицает Будревич. – Это не то, а просто лишние хлопоты.

– Что же такое, говори наконец!

– А вот что; ни с того ни с сего, не спрашивай меня, прибавили жалованье!

<sup>18</sup> Адам Мицкевич Циприану Дашкевичу, Петербург, около 15/27 августа 1828 г. – AM, *Dzieła*, t. XIV, Warszawa, 1955. – S. 414.

<sup>19</sup> Пржецлавский, О.А. Калейдоскоп воспоминаний. Гл. II. Адам Мицкевич // Русский архив. 1872. Стлб. 1946.



– Так это-то тебя сердит?

– И опять техника! Не то что сердит, а все-таки расстройство.

– Не понимаю.

– Как можно не понимать! Я несколько уже лет рассчитал мой бюджет до копейки и распределил его так, что приход с расходом в конце года прекрасно сходились. Теперь придется или всю таблицу переделывать, да и к чему, когда дохода было довольно, или в счетах будет у меня торчать излишек. Если бы были родные, я бы им его отдал, а то я один, как палец. Сегодня я устал, всю восьмиугольную площадь исходил, да и весь город обошел, искал купить цветов; ничего хорошего нет, одна сингенезия, все *Zinnia*, да *Calliopsis*, да *Cineraria*, а я их терпеть не могу.

Излив передо мною свое неутешное горе от прибавки жалования, Будревич, несколько успокоенный, отправился в свою гимназию»<sup>20</sup>.

Впрочем, гимназия, похоже, действительно была «его». Математик от Бога, Будревич был и педагогом от Бога. Еще готовясь к отъезду в Тверь, «Будрыс» тщательно обдумал собственную педагогическую методику. Как пишет Циприан Дашкевич, «будучи в Москве, (Будревич. – *Т.И., А.Ф.*) написал “Арифметику” по новому собственному методу, еще никем не употребленному<sup>21</sup>; сама эта новость очень важна, но из-за его математической флегмы нельзя ожидать, чтобы он эту новость предал печати ради нашей славы»<sup>22</sup>. Впрочем, попытку издать свою книгу, судя по всему, Будревич все-таки предпринял. Известный книготорговец и издатель Фридерик Мориц писал Онуфрию Петрашкевичу: «Об “Арифметике” Будревича и “Грамматике” Ноаковского тоже сообщу 20–23 декабря»<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> Пржецлавский, О.А. Указ. соч. – Стлб. 1947.

<sup>21</sup> Неординарность методики, использованной в процессе преподавания В.А. Будревичем, заставляла его коллег ревновать и даже писать доносы. Так, например, сохранился рапорт старшего учителя Дмитрия Небабы от 20 декабря 1833 г. на имя тогдашнего директора училищ Тверской губернии И.И. Лажечникова. В частности, там говорится: «Мне кажется, что преподавание г-на Будревича не только что не имеет надлежащей методы, основательности и порядка в изложении сведений, но даже механизм своим и нелепою номенклатурой оказывается вредным для учащихся» (ГАТО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 836 «Дело о сделанном извете учителем Небабою о вредном будто бы преподавании учителя Будревича». Л. 1–2). Сохранился и черновик ответа, сделанный рукой И.И. Лажечникова: «На рапорт ваш от 20 дек. 1833 года даю вам знать, что [нрзб.] [если потом потребуется?] метод преподавания г. Будревича, то я не могу [ревизовать, разобрать?] его сам собою; но представлю его на разрешение г. визитатора от университета, который в [нрзб.] время [должен?] прибыть в Тверь» (там же. Л. 2).

<sup>22</sup> Циприан Дашкевич Иоахиму Лелевелю, 6/18 июля 1827 г. – *Listy z zesłania*, t. 1, Warszawa, 1997. – S. 328.

<sup>23</sup> Фридерик Мориц Онуфрию Петрашкевичу, после мая 1827 г. – *Listy z zesłania*, t. 1, Warszawa, 1997. – S. 227. – Вместе с тем, как справедливо обратил наше внимание

Это издание, если оно действительно имело место, может считаться воистину загадочным. Дело в том, что практически исчерпывающая польская библиография К. Эстрейхера, полноту которой признают все исследователи книжного дела Польши, не содержит в описываемый период ни одной книги, подписанной именем Винценцы Будревича. Некоторое разъяснение вносит уже цитированное выше развернутое примечание О.А. Пржецлавского к его очерку о Мицкевиче: «Раз пришлось мне прожить в Твери около двух месяцев. Я почти каждый день виделся со старым товарищем, который тогда оканчивал важный труд. Он нашел, что в геометрии Евклида, преподаваемой во всех училищах, почти все задачи можно значительно упростить и что к ним нужно много новых прибавить. При мне же он свой трактат окончил и принялся было перебеливать большую написанную им тетрадь и чертить фигуры. Но в одну прекрасную ночь заснул над работой таким математическим сном, что от упавшей светильни тетрадь вспыхнула и успела сгореть почти вся, покуда автор, закашлявшись от дыма, проснулся».

И что же? На следующее утро он прибежал ко мне с известием о случившемся, и невзгода эта по-видимому менее его огорчала, чем прибавка жалованья. Дня чрез два после этого он мне сказал: «Знаешь, я рад, что мой трактат сгорел; если бы я его так напечатал, как он был написан, то нужно было бы делать другое издание. Я нашел много новых упрощений и новых прибавок и сегодня начал уже писать снова»<sup>24</sup>.

Вероятно, цепкая память Пржецлавского передала эту историю достаточно точно. Значит, скорее всего, издание, о котором писал Ф. Морич Петрашкевичу, не состоялось, поскольку рукопись учебника, затеянного Викентием Антоновичем, погибла в огне, а во второй раз довести замысел до издания Будревич либо не захотел, либо не смог.

Будревич прослужил в гимназии 27 лет и по собственному прошению был уволен 3 апреля 1854 г.<sup>25</sup> Можно с уверенностью сказать, что служил он честно, был хорошим преподавателем, заслужил уважение и учеников, и начальства. Авторитет его был высок, поэтому с декабря 1830 г. по 5 марта 1831 г. Викентий Антонович исполнял обязанности директора гимназии до назначения на эту должность И.И. Лажечникова.

30–40-е гг. были едва ли не лучшими в истории гимназии – не случайно она была на очень хорошем счету у попечителя Московского учебного округа С.Г. Строганова. Все проверяющие неизменно отмечали высокий уровень преподавания в ней математики и физики. Так, профессор Московского университета Н.И. Надеждин после ревизии гимназии в феврале 1834 г. писал: «Высшие части математики и физики преподаются старшим

А.И. Рейтблат, речь может идти и о другой книге.

<sup>24</sup> Пржецлавский, О.А. Указ. соч. – Стлб. 1947–1948.

<sup>25</sup> ГАТО. Ф. 20. Д. 2504. Л. 1.

учителем Викентием Будревичем. Преподаватель – человек знающий и усердный»<sup>26</sup>. Будревич заведовал и гимназической библиотекой: «Библиотека ежегодно пополняется детскими журналами, с похвальной разборчивостью, лучшими русскими книгами. Она содержится в хорошем порядке, под надзором старшего учителя Будревича»<sup>27</sup>. Известно, что под руководством Будревича в 1835–1837 гг. велись метеорологические наблюдения, данные которых отправлялись в Академию наук. С 1836 г. он заведовал еще и минералогическим кабинетом, который в начале 1853 г. был передан в заведование учителю нового предмета – естественной истории. В 1839 г. был утвержден инспектором гимназии.

Ценили Будревича и ученики. У нас есть три воспоминания о Будревиче его учеников, которые характеризуют учителя как очень талантливого педагога, знающего свой предмет и уважительно относящегося к воспитанникам. Первое по времени свидетельство принадлежит Павлу Александровичу Бакунину, младшему брату известного революционера М.А. Бакунина<sup>28</sup>, учившемуся в тверской гимназии в 1835–1839 гг. Он пишет: «Викентий Антонович Будревич, учитель математики: он заставил нас полюбить свою науку; мы к нему то и дело бегали на дом; и его уроки [в] гимназии постоянно дополнялись его добавочными уроками на дому, уроками бесплатными и притом выходящими далеко за пределы гимназической программы: можно сказать, мы влюблялись в математику, до того пленял нас краткий, до наглядности ясный и притом своеобразно оригинальный способ его изложения. Вместе с математикой В.А. Будревич учил нас честности и добросовестности отношения к предмету, который мы изучали, строго различая действительное знание от знания мнимого»<sup>29</sup>. Нил Александрович Попов, в будущем известный историк-славист, учившийся в тверской гимназии в 1844–1850 гг., пишет: «Преподавателем высшей математики и физики был человек замечательный отчасти и по своим познаниям, а еще более по твердому и благородному характеру – Будревич, воспитанник Виленского университета. К сожалению, в наше время физический кабинет в тверской гим-

<sup>26</sup> Крылов, Д. Столетие Тверской мужской гимназии (1804 – 2 февраля 1904 г.): Историческая записка. – Тверь, 1904. – С. 133.

<sup>27</sup> Там же. С. 135.

<sup>28</sup> «У него (Будревича. – Т.И., А.Ф.) учились три младших брата Бакунина» (Борисенко, Ю.А. Михаил Бакунин и «польская интрига». 1840-е годы. – М., 2001. – С. 139). – В тот период, когда Будревич служил в гимназии, там учились четверо братьев Бакуниных – Павел, Александр, Алексей и Илья. Однако о Будревиче пишет в воспоминаниях только Павел. Сведения же о предполагаемой «дружбе», имевшей, по словам Л.А. Черейского, место во взаимоотношениях В.А. Будревича и М.А. Бакунина, подтверждения в документальных источниках не находят.

<sup>29</sup> Копия письма П.А. Бакунина А.К. Жизневскому от 21 окт. 1889 г. // ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 499. Л. 2–2 (об.).

назии был весьма посредственный; тем не менее, Будревич всегда, когда это можно было, производил перед нами опыты»<sup>30</sup>. Василий Иванович Покровский, известный статистик и общественный деятель Тверской губернии, обучался в гимназии в 1848–1855 гг., т.е. он застал уже пожилого Будревича в последние годы его работы: «Печатных учебников он не признавал, но каждый из нас запасался его рукописным курсом, изложенным необыкновенно сжато, хотя до конца жизни говорил по-русски не вполне правильно. Читал он с большим одушевлением и добивался того, чтобы урок усвоили мы тут же, в классе. В рукописную его тетрадку способнейшим вовсе не приходилось заглядывать. Как к себе, так и к ученикам Будревич относился строго и не стеснялся ставить единицы небрежно работавшим: “Э, братко, не готмлямшись на лекцию не ходят: сядь на колен!” <...> В V классе Будревич попутно сообщал нам немало интересных сведений по химии и механике; при исследовании же физических явлений давал очень много места математическому элементу. <...> С некоторыми учениками был близок Будревич, давая им уроки на дому»<sup>31</sup>.

Гимназический учитель Викентий Антонович Будревич все свое пребывание в Твери сохранял статус ссыльного. Членство в тайном студенческом кружке набрасывало свою тень на его репутацию. Ограниченное знание русского языка вынуждало его общаться преимущественно с теми, кто понимал его; косвенно Будревич сообщает об этом, передавая просьбу своей новой знакомой Онуфрию Петрашкевичу, пребывавшему в этот момент в Москве: «Просит тебя о том вдова поляка – Ольшевская, мать ученика нашей гимназии. NB 50-летняя пристойная дама, стоящая такой услуги, а ежели угодно, есть у нее сестра, еще барышня 30-летняя. Помилуй, не молчи <...> потому что меня просили как поляка, в надежде, что поляк данное слово сдержит»<sup>32</sup>.

Такая вынужденная ориентация на компатриотов не могла не настаивать власти. Как показывает статистика, приведенная в известном справочнике «Польские ссыльные в России» выдающейся современной исследовательницей вопроса Викторией Сьливовской, польское восстание 1830–1831 гг. возродило приступ государственной полонофобии в России и обратило ее, в том числе, против нашего героя. В частности, после обнаружения в Тверской губернии заболеваний холерой учитель Будревич был задержан и содержался некоторое время под стражей по подозрению в отравлении питьевой воды в колодцах. Биограф находившегося в это же время в Твери другого видного филomата, поэта и будущего этнографа Я. Чечота

<sup>30</sup> Воробьева, И.Г. Из истории Тверской мужской гимназии // 125-летие Школы Максимова: юбилейные чтения. – Тверь, 1997. – С. 30.

<sup>31</sup> Крылов, Д. Указ. соч. – С. 371–373, 376.

<sup>32</sup> Винценты Будревич Онуфрию Петрашкевичу, Тверь, 9/21 июня 1829 г. – Listy z zesłania, t. 1, Warszawa, 1997. – S. 250.

С. Свирко утверждает: «Желая уберечь изгнанников от нападения со стороны темной толпы, губернатор Тюфяев инсценировал их арест»<sup>33</sup>. Несмотря на то, что, разумеется, подозрение не подтвердилось, надзор, насколько можно судить, с Будревича снят не был. Отголосок этой истории мы слышим в письме Юзефа Ежовского Мицкевичу: «Будрыс и Янек (Чечот. – Т.И., А.Ф.) были в Твери, у них дела по-разному – и очень плохо, и не очень, но уже давно писем от них не получал»<sup>34</sup>.

Но письма друзей «Будрыса» содержат и другие намеки. Франтишек Малевский сообщал Мицкевичу (уже в 1843 г.): «Викентий постоянно в Твери, к математике добавилась любовь к цветам и одной русской барышне». О какой именно барышне идет речь, к сожалению, мы не знаем, хотя не исключаем: тверские архивы хранят следы этого романа, запечатленные в письмах или дневниках современников «Будрыса». Но это чувство так и не вылилось в создание семьи и строительство собственного дома.

Будревич оставляет гимназию в 1854 г., выслужив полную пенсию, имея орден св. Станислава 3-й степени, множественные благодарности и премии за беспорочную службу. В 1842 г. он получил чин коллежского советника. Поскольку в Государственном архиве Тверской области РФ (ГАТО) сохранился его формулярный список только за 1847 г.<sup>35</sup>, о дальнейшем продвижении по службе и присвоении чинов ничего определенного сказать нельзя.

Умер Викентий Будревич одиноким<sup>36</sup>. Судя по воспоминаниям О.А. Пржецлавского, Будревич сам не пожелал вернуться на родину: «Он, выслуживши полную пенсию, не захотел возвратиться на родину, в Ковенскую губернию и поселился в приятельском доме старицкого помещика г. Поликарпова, бывшего своего ученика»<sup>37</sup>. Евгений Александрович был внуком по сути первого тверского губернатора Александра Васильевича Поликарпова, предводителем дворянства Старицкого уезда в 40-е г. XIX в.

Это кое-что говорит о педагогических качествах Викентия Антоновича. Евгений Поликарпов был не гимназическим его учеником, а домашним: известно, что Будревич подрабатывал частными уроками. Вероятно, во время

<sup>33</sup> См.: Swirko, St. Z Mickiewiczem pod rękę, czyli Życie i twórczość Jana Czeczota. – Warszawa, 1989. – S. 233.

<sup>34</sup> Юзеф Ежовский Адаму Мицкевичу, предположительно Казань, рубеж 1834–1835 гг. – Listy z zesłania, t. 3, Warszawa, 1999. – S. 790.

<sup>35</sup> См.: ГАТО. Ф. 20. Д. 1897. Л. 15.

<sup>36</sup> Дата смерти В.А. Будревича достоверно неизвестна. Л.А. Черейский указывает, что «Будрыс» умер в 1850 г. Однако, судя по «анекдоту», пересказанному в воспоминаниях О.А. Пржецлавского (см. ниже), поскольку Будревич участвовал в межевании крестьянских наделов, в 1862 г., на который, собственно говоря, и пришлось межевание в Тверской губернии, скорее всего, он был жив. Таким образом, можно считать вероятным, что умер Викентий Антонович все-таки после 1862 г.

<sup>37</sup> Пржецлавский, О.А. Указ. соч. – Стлб. 1948.

индивидуальных занятий «Будрысу» было легче преодолеть свою застенчивость и найти общий язык с учениками. Он сам писал Онуфрию Петрашкевичу: «Я курьерскими пятьдесят верст лечу в пятницу, субботу и воскресенье для преподавания математики сыну Поликарпова – камергера двора. Что из этого получится, увидим...»<sup>38</sup>.

Общение с Поликарповыми увлекало Будревича, хотя вряд ли с точки зрения профессионально математической. В письме Петрашкевичу Викентий Антонович так описывает начало своих занятий с Евгением: «Что до камергера, то ожидаем его приезда, тогда увидим, что за птица, и буду стараться, чтобы перетянуть его на свою сторону. Может, чего-то добьемся. Усердно готовимся, но только беда, что его сын не рожден для математики, немного туговат. Как могу, преувеличиваю, чтобы показать отцу его большие способности. Безмерно им любим. Байки арифметические идут медленно, наряду с геометрическими и алгебраическими»<sup>39</sup>. Тем более, что занятия периодически прерывались в связи с отъездами семьи Поликарповых в Петербург (о чем, например, Будревич сообщает в письме Петрашкевичу от февраля 1830 г.) – впрочем, когда отъезжал юный Евгений, Будревич давал уроки его сестрам (см. письмо от 3/15 марта 1830 г.).

Судя по всему, Поликарпов был благодарен ему за уроки. Г-жа Поликарпова безуспешно (в преддверии восстания 1830 г.) пыталась ходатайствовать об облегчении его участи и возвращении если не в Вильну, на родину, то хотя бы в одну из столиц. Причем бывший филومات Викентий Будревич сумел найти подход не только к семье Поликарповых. Не принимающий в большинстве случаев оценок О.А. Пржецлавского Петр Иванович Бартнев снабдил развернутое примечание о Будревиче к очерку «Адам Мицкевич» своим неожиданно благосклонным комментарием: «Мы лично знали Викентия Антоновича Будревича, проживавшего и окончившего жизнь у своего ученика Евгения Александровича Поликарпова, в селе Панафидине Старицкого уезда. Это была в полном смысле слова честная душа»<sup>40</sup>.

«Честная душа» – высокая оценка, которую дает Бартнев, вообще-то, насколько известно, не благоволивший к полякам<sup>41</sup>. Вероятно, обстоятельства

<sup>38</sup> Винценты Будревич Онуфрию Петрашкевичу, Тверь, 13/25 сентября 1829 г. – *Listy z zesłania*, t. 1, Warszawa, 1997. – S. 252.

<sup>39</sup> Винценты Будревич Онуфрию Петрашкевичу, Тверь, 5/17 октября 1829 г. – *Listy z zesłania*, t. 1, Warszawa, 1997. – S. 253.

<sup>40</sup> Цит. по изд.: Пржецлавский, О.А. Указ. соч. – Стлб. 1946.

<sup>41</sup> В частности, об этом можно судить по его отношению к мемуарам самого О.А. Пржецлавского и комментариям к ним от имени редакции «Русского Архива» (см.: Федута, А.И. Страдания отставного цензора. К истории публикации воспоминаний О.А. Пржецлавского: по письмам О.А. Пржецлавского к П.И. Бартневу 1872–1873 гг. // *Цензура в России: история и современность*: сб. науч. тр. – Вып. 5. – СПб., 2011. – С. 144–157).

знакомства Петра Ивановича с Будревичем можно прояснить, исследуя архив самого Бартенева и его переписку. Очевидно, что бартеновская характеристика есть, прежде всего, характеристика высоко нравственного человека. Именно в таком значении употребляли словосочетание «честный человек» многие старшие современники Бартенева, в том числе, например, А.С. Пушкин<sup>42</sup>. Нет сомнения в том, что «чудак», в качестве которого воспринимали «Будрыса» многие, действительно был человеком чести и продолжал следовать даже в чужом для него обществе (каким оставалось тверское общество) тому кодексу чести, который был принят в филематском товариществе.

Вот почему еще более, нежели бартеновская, примечательна другая, совсем неожиданная, оценка, которую приводит в своих воспоминаниях уже сам О.А. Пржецлавский: «Летом 1862 года я был с женою в ее Старицком имении и вводил там уставные грамоты. После надела крестьян землю по Положению, я им предлагал пойти на выкуп и доплатить помещице следующее по обоюдному соглашению количество денег. Крестьяне не соглашались, желая остаться на оброке. Между ними был один умный, грамотный мужик, имевший на односельцев большое влияние. Он промышлял рытьем прудов и канав и был известен в своем и смежных уездах. Работавши у гг. Поликарповых, он нашелся там в сношении с Будревичем и возымел к нему неограниченное доверие и уважение. Рассказывал мне, как он и своим и чужим крестьянам даром помежевал земли, как и барышень научил землемерству, как судил и мирил споры между крестьянами, как во всем околотке его любят и слушаются: “Викентий Антонович слово скажет (говорил мой Михайло Федоров), все равно что закон”. Вот этот-то добрый мужик и уговорил своих товарищей принять мои предложения. Когда же акт был совершен, Михайло Федоров сказал мне по секрету: “Знаете ли, почему я так для вас старался?” – “Не знаю, верно потому, что мое предложение справедливо и законно”. – “Оно-то положим так, а все больше потому, что и вас, как г. Будревича, зовут Антоновичем”.

Может ли быть более красноречивый панегирик?»<sup>43</sup>.

<sup>42</sup> См. об этом, в частности: Федута, А.И. «Подвиг честного человека» (Об источнике пушкинской формулы) // *Philologica*. 2003–2005. Т. 8, № 19–20. М., 2006. С. 199–204.

<sup>43</sup> Пржецлавский, О.А. Указ. соч. – Стлб. 1948–1949.

## СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ССЫЛКУ (Ян Янковский и его травелог)

Предлагаемый вниманию читателей дневник путешествия бывшего учащегося Виленского университета Яна Янковского, хранящийся в варшавской Библиотеке Народовой (*BN Rkps. II.6470*), был, несомненно, известен исследователям процесса филоматов и филаретов (в частности, насколько мы можем судить, таким классикам, как Людвик Яновский, Станислав Пигонь и Хенрик Мосьцицкий, а также одному из наиболее авторитетных сегодняшних специалистов по эпохе Збигневу Судольскому). Однако он не был опубликован и практически не использовался в печатных работах.

Тому, на наш взгляд, несколько причин. Прежде всего, одна из них – личность автора травелога. Ян Янковский – тот филомат, на показаниях которого, собственно говоря, базируются выводы следственной комиссии. Естественно, панегирический тон, характерный для идеализирующих филоматов исследователей, не мог бы быть выдержан в комментариях к тексту члена тайного общества, не выдержавшего давления, и косвенно разрушил бы общую атмосферу создаваемой учеными «легенды о филоматах» (название вступительной статьи К.А. Цвирки к тому избранному сочинению члена общества, вышедшему в переводе на белорусский язык<sup>1</sup>).

Вторая причина – кажущаяся малая информативность публикуемого текста. На протяжении двух с половиной авторских листов Янковский не упоминает никого из видных исторических деятелей, а также своих сотоварищей по несчастью. При этом Янковский (возможно, сознательно) из-

<sup>1</sup> См.: Цвірка, К.А. Паданне пра філаматаў, або Доля аднаго пакалення // Філаматы і філарэты: Зборнік. – Мінск, 1998. – С. 7–24.



бегают каких-либо резких выпадов в адрес преследующих его властей, что позволило бы вставить его травелога в общий контекст истории польского национально-освободительного движения – что вполне корректно свершилось по отношению к другим аналогичным текстам (в частности, к переходящим в историософский очерк путевым заметкам Онуфрия Петрашкевича о России, опубликованным Збигневом Судольским<sup>2</sup>). Не исключено, что Янковский надеялся когда-либо со временем опубликовать этот текст, а потому изначально писал своего рода «цензурный вариант» своего вынужденного «путешествия».

Именно поэтому его путевой дневник следует рассматривать не сквозь призму дела о тайных обществах Виленского учебного округа, существовавших в начале 1820-х гг., а в контексте исканий сентименталистской и предромантической прозы. Такой подход позволил при переводе точно выбрать стилистический аналог языка травелога Янковского. Вместе с тем, предвосхитим справедливый упрек уважаемой аудитории: травелога Янковского следовало бы поставить в контекст произведений жанра в современной ему польской литературе. Мы надеемся, что к моменту подготовки текста в печать нам удастся это сделать.

Конечно, следует обратить внимание на личность самого автора дневника. Ян Янковский – брат известного литературного и религиозного деятеля Литвы и Беларуси Плакида Янковского, активно публиковавшегося под псевдонимом Джон оф Дыкалп и бывшего, судя по его произведениям, активным читателем и почитателем Лоренса Стерна. Молодой Ян Янковский также не был чужд литературному творчеству: сохранились и были опубликованы уже в XX в. несколько его стихотворений, написанных, что называется, «на случай». Ян Янковский предстает перед нами в этих текстах как очень слабый дилетант: в стихотворениях нет сколько-нибудь живых образов и мыслей.

Иное дело – эго-текст. Да еще такой текст, который, как надеется его автор, рано или поздно обретет своего читателя. Важно при этом, что он создается непосредственно во время путешествия в неизвестность. Как отметила Зофья Трояновичева, большая часть литературы о ссылке, в том числе большинство широко известных текстов Евы Фелинской и Агатона Гиллера, создавалась уже после освобождения. «Авторы воспоминаний есть, таким образом, бывшие ссыльные, их мемуары появились в радикально изменившейся ситуации, когда большое путешествие под принуждением было для них чем-то завершившимся, достигло финала – причем такого финала, ко-

<sup>2</sup> См.: Pietraszkievicz, O. Opisanie Rosyji, jej mieszkanców, stolicy Petersburga i Moskwy w r. 1824–1830 // Listy z zesłania. T. 1: Krąg Onufrego Pietrazhkiewicza i Cypriana Daszkiewicza. – Warszawa, 1997. – S. 39–63.

торый с перспективы ссылки казался отдаленным, и даже невероятным»<sup>3</sup>. С этой точки зрения травелог Я. Янковского, менее ценный эстетически, вместе с тем весьма интересен своей уникальностью.

Можно сказать, что перед нами «гремучая смесь» дневника (скорее всего, все-таки реально фиксирующего события), писем друзьям и путевых заметок. В эту смесь мы и погрузимся, насколько автор нам позволит.

Первая запись сделана на станции Радошковичи, в 150 с половиной верст от Вильны, на подъезде к Минску. Начинается текст дневника обращением к читателям: «Я расстался с Вами, любимейшие мои! расстался, ах! быть может, навсегда! Какая болезненная стрела пронзает меня! Тысячи приятных минут в будущем, смогут ли они вознаградить эту тяжелую для моего сердца минуту, когда я прощаюсь с Вами?» (с. 1). Очевидно, что зачин дает некоторое внутреннее оправдание автору: он повествует друзьям о том, что случилось с ним после того, как они расстались. По настроению он буквально совпадает с тем, как начинает свои письма друзьям другой путешественник, гораздо более известный и, не побоюсь этого слова, талантливый: «Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце мое привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами, а я беспрерывно от вас удаляюсь и буду удаляться!»<sup>4</sup>.

Несмотря на кажущуюся абстрагированность и литературность травелога Янковского, мы точно знаем, кого именно имеет он в виду в своем зачине – в отличие от зачина «Писем русского путешественника»: в фельдъегерской тройке, умчавшейся из Вильны несколько ранее, едут ближайšie друзья гения польской поэзии Адама Мицкевича – те, кому будет посвящена третья часть поэмы «Дзяды», во вступлении к которой отражены впечатления как раз от этого путешествия. Но маршрут у двух троек разный: Янковского везут непосредственно в Вологду, где ему и суждено позже кануть в безвестность (мы не знаем даже сколько-нибудь точной даты и обстоятельств его смерти). Мицкевич и его друзья едут в Петербург.

Пока автор не знает этого. И тоскливый тон его повествования, скорее, связан с общими обстоятельствами вынужденного путешествия и избранной для его описания соответствующей риторикой: «Почтовые кони пришли. Без чувств, как камень, не помню, как я сел в повозку. Печально застонал звонок, кони улетели ветром, и облако пыли взмылось под небеса. Я еще не опомнился, когда все пропало у меня перед глазами. Я гналса за Вами, хотел еще раз излить Вам чувства моего сердца. К сожаленью! было

<sup>3</sup> Trojanowiczowa, Z. Świadectwo poezji zesłańczej // Z. Trojanowiczowa. Romantyzm: Od poetyki do polityki. Interpretacje i materiały. – Kraków, 2010. – S. 423.

<sup>4</sup> Карамзин, Н.М. Письма русского путешественника // Н.М. Карамзин. Сочинения: в 2 т. – Л., 1984. – Т. 1. – С. 57. – Далее ссылки на данное издание см.: Карамзин, Н.М. Письма... – С. ...

уже поздно... Моя грудь сжалась от боли, поток слез полился из глаз, а обращение к страданиям прошлого, к трудностям будущего и к плачевному теперешнему положению погрузило мой измученный разум в суматоху беспорядочных мыслей и наполнило сердце раздирающим беспокойством» (с. 1).

Можно сказать, что основное отличие травелога Янковского от большинства других травелогов – в общем ощущении обреченности: нарратор «Писем русского путешественника» путешествует добровольно, и горечь от расставания с «мильми», с «друзьями сердца» соседствует в его сознании и в его тексте с радостью от познания новых мест, новых людей и от ожидания новой встречи с близкими. Нарратор в дневнике Янковского живет совершенно иными чувствами: «Меня суровый жребий отрывает от всего, что было самым дорогим и любимым – отрывает (о, ужасное воспоминание!) может, без надежды увидиться когда-либо. Любимая земля, на которой я вырос, судья-отец, лучший из отцов, милые сестры, братья и друзья! я прощаюсь с вами... О, Боже! какая сильная боль раздирает мое сердце...» (с. 1).

Соответственно цель путешествия и маршрут определяют и встречи, которые описывает странствователь. Вспомним сцену, описанную Карамзиным при въезде его путешественника в Веймар: «У городских ворот меня допрашивали; после чего я предложил караульному сержанту свои вопросы, а именно: “Здесь ли Виланд? Здесь ли Гердер? Здесь ли Гёте?” – “Здесь, здесь, здесь”, – отвечал он, – и я велел постиллиону везти себя в трактир “Слона”»<sup>5</sup>. Разумеется, ссыльного студента ждет совсем иной прием. Въехав в Ярославль, он должен представиться гражданскому губернатору, который, однако, не спешит принять его: «Размашистым шагом я мерил зал вдоль и поперек и часто то поглядывал на часы и считал время, то снова спрашивал изредка приходящих слуг, долго ли мне еще придется дожидаться Господина Губернатора? Но что вышло из всего этого? Только то, что счет моих шагов стал бесконечным. Часы за часами все бежали. На мои вопросы давались следующие вопросы: “Его Превосходительства нету, поехал к обедни”, “Его Превосходительства нету, поехал в острог”, “Его Превосх[одительства] нету, пошел на бульвар прогуливаться”, “Его Превосх[одительство] занят, обедает”, “Его П[ревосходительство] занят, спит”, “Его П[ревосходительство] занят, чай пьет”, а я как не мог быть допущенным увидеть Его Превосходительство, так не мог» (с. 77–78).

Конечно, такова судьба ссыльного: для свободного путешественника Карамзина на месте и Виланд, и Гердер, и Гёте – несчастный виленский студент семь часов не может дождаться встречи с тем, кто сам же и вызвал его к себе. Должен, однако, отметить, что, например, в путевых записках Эвы Фелинской, едущей от одного места ссылки к другому, подобных тягостных сцен

<sup>5</sup> Карамзин, Н.М. Письма... – С. 135.

ожидания практически нет. Да и встречают ее вполне доброжелательно. Но, вероятно, следует учитывать, что речь идет о даме; кроме того, едет она по тем местам, по которым ранее ехали к ссыльным мужьям декабристки, так что женщина-ссыльная вызывает уже не любопытство и не желание проявить свою власть, а искреннее сострадание.

Конечно, мир должен представлять обоим путешественникам разным еще и в силу различного их жизненного опыта. Скажем, сквозным персонажем в «Письмах...» Карамзина является Лафатер: нарратор вспоминает о нем часто, а в конце концов, и встречается с ним: «...Войдя в сени, я позвонил в колокольчик, и через минуту показался сухой, высокий, бледный человек, в котором мне нетрудно было узнать – Лафатера»<sup>6</sup>. Лафатер для карамзинского Путешественника дает некую систему нравственного отсчета: «Я к Лафатеру не пристрастен и обо многом думаю совсем не так, как он думает; однако ж уверен, что его “Физиогномические фрагменты” будут читаемы и тогда, когда забудут, что жил на свете почтенный доктор Бистер (яростный хулитель Лафатера. – А.Ф.)»<sup>7</sup>. Янковский честно признается: «Я не читал произведений Лафатера, не знаю ключа, с помощью которого он открывает нутро человека и по физиономии узнает предметы сердца и все способности и возможности разума. Интересной должна быть наука, не могу не сожалеть, что у меня нет о ней никакого понятия. Потому что в теперешнем моем положении, когда мне приходится переехать в чужие края и иметь отношения и связи с чужими и полностью неизвестными людьми, она могла бы принести мне немало пользы» (с. 36–37).

Однако есть момент, в котором оба наши путешественника совпадают. Это – отношение к женщинам. Женщины в их чувствительном мире равно прекрасны и равно любезны. Разумеется, Карамзин видит кокеток, очаровывающих путешественника (а, стало быть, знатного) москвитя: «Сестры-прелестницы! Я хотел бы счастливою чертою пера изобразить красоту вашу, которую сама натура возлелеяла; хотел бы сравнить бело-румяные щеки ваши с чистым снегом высоких гор, когда восходящее солнце сыплет на него алые розы; хотел бы уподобить улыбку вашу улыбке весенней природы, глаза ваши звездам вечерним – но скромность ваших взоров отнимает у меня смелость хвалить вас»<sup>8</sup>. У Янковского же совсем иной повод упоминать в своем дневнике представительниц прекрасного пола. Скажем, в Минске он представлен жене и дочери вице-губернатора: «Мы вошли в просторный Зал, где мы застали уже почтенную годами женщину и с ней милую девушку лет 17-ти. Это были жена и дочь Вице-Губернатора. Видя меня в дорожном

<sup>6</sup> Карамзин, Н.М. Письма... – С. 176.

<sup>7</sup> Там же. С. 95.

<sup>8</sup> Там же. С. 181.

платье, и к тому же с Офицером, они приблизились, и жена Статского Советника приятным голосом обратилась ко мне:

– Наверно, и Вас судьба задела своей суровостью?

Слезы наполнили мои глаза и были единственным ответом с моей стороны. Немного набравшись отваги, я поднял свой взгляд и увидел, что и у милой девушки слезы бежали по розовым щекам и что почтенная матушка уже давно белым платком сдерживала прилившую чувствительность своего сердца. Эта сцена, полностью неожиданная для меня, живо меня впечатлила.

– О, прекрасный Пол! – подумал я, – кто же успешнее тебя способен принести утешение измученному сердцу?! Одно твое слово, одна слеза, о! какой прекрасный бальзам вливает в сердце и лечит рану, нанесенную ударом суровой судьбы...

Я не раз испытал это на себе, и в этот момент почувствовал в сердце значительное облегчение...» (с. 8–9).

Впрочем, есть ситуация, в которой Янковский забывает о трагизме своего положения, о необходимости оплакивать собственную судьбу и т.п. Связана она опять-таки с женщинами и происходит в Минске: «Вчера <...> по милости почтенного Майора К.\*\*\* мы желали специально для нас приготовленную ванну. Ничего подобного мне еще не приходилось видеть в моей жизни. Нам надо было пройти через избу, где женщины обычно парятся в бане, а мы об этом ничего не знали. Отворяются двери, и в этот момент нас поражает вид около 30 нагих женщин. Мгновенно с треском мы захлопываем двери и стоим, как вкопанные. Живое воображение в полном блеске суровости представило в наших мыслях несчастную судьбу юноши, которого Диана за любопытство подобного рода наказала так немилосердно. Мы уже чувствовали большое сожаление за непростительный, хоть самый невинный с нашей стороны поступок. Отступив на несколько шагов, мы собрались уходить от того места, которому грации с такой свободой доверили свои таинственные сокровища, когда какой-то седой человек, стройный, как тычинка от хмеля, сухой, черный и с блестящими во лбу маленькими глазками, задерживает нас, представляется, что является зрителем этих бань, призывает безо всякого смущения идти прямо среди рядов нимф, ручается благородным словом, что ни одна из них нам не поставит это в вину, и выражением лица, жестом и всем своим видом заверяет, что все, что говорит, является точным, ясным, как солнце, указанием, так как приобретено ежедневным примером и опытом нескольких лет. Плавной речи, которой он объяснялся, сильным просьбам и настойчивости мы, наконец, дали убедить себя. С закрытыми рукой глазами, дрожащим шагом мы вошли в эту обитель. И какое нас охватило удивление, когда наше присутствие не только не вызвало в тех грациях наименьшего замешательства, но даже ничего такого, что в таком случае врожденный этому полу стыд должен был бы вызывать. 15-, 16-,

17-тилетние и т.д. девчата прохаживались в чем мать родила. Этот вид необыкновенно развлекал наших жандармов, а особенно так занял одного, что он разными шутками нам чуть не надорвал бока от смеха» (с. 16–17).

Впрочем, нужно отметить, что таких «этнографических» зарисовок нравов в дневнике Янковского немного. Автор явно, как мы уже отметили выше, представляет себе будущих читателей, а потому подражает существующим в его сознании образцам: нужно обратить внимание адресата на культурные и исторические достопримечательности, продемонстрировать наличие реминисценций из общенационального прошлого. «Уже показались бастионы и башни Смоленска, по обеим сторонам дороги нас сопровождают покрытые кустами горы. Офицер рассказывает нам истории воинов, которые здесь в 1812 году обессмертили себя славой. Медленно вертятся колеса, я сижу в открытой кибитке, внимательно слушаю его и растроганно отмечаю эти места, недавних свидетелей стольких ужасов и страха. Налево уходит глубокое ущелье, где разбросанные, как в пропасти, деревянные хижинки, лежат и тщетно вздымаются и стараются увидеть древние здания Смоленска. Только пролом, сделанный победителями, поражает взгляд, а развалины наполняют сердце тревогой. Проезжаем около места отдыха и вечного покоя смертных. Стоит необычная тишина. Этот печальный вид влил в мою грудь святое волнение. Я преклонил голову и в горячности духа молился, и с плачем умолял Наивысшего Господа сил небесных о милости к страдающим душам. Ах!, Любимые Друзья! никогда, никогда, как в ту минуту, мое сердце не возносило к самым набожным чувствам!...» (с. 17). Только чуждый литературе человек не проведет здесь параллель с известными всем строками:

Вот, окружен своей дубравой  
Петровский замок. Мрачно он  
Недавнею гордится славой и т.д.<sup>9</sup>

Разумеется, Янковский не мог читать еще не написанные к тому времени строки «Евгения Онегина»; очевидно, что речь идет о совпадении риторических приемов подачи материала, общих для большинства травелогов. Впрочем, внимательный читатель находит в тексте дневника предвестие и иного классического текста русской литературы: «Я раскурил свою трубку, уселся на лавку и провел своим взглядом по стенам и развешанным на них портретам Генералов. Хозяин заметил это и, подвинувшись ко мне “Вы (сказал) Поляне – узнаете ли чей это портрет над Вашей головой? Это Ваш Катюшка”. Я рассмеялся не столько над карикатурой нарисованного портрета, сколько над таким перекручиванием фамилии. Он же “Нет барин (сказал мне дальше) нет, здесь нечему смеяться. Вы мне поверте, что это Ваш Катюшка. Я с батюшкой Италийским нашим князем сражался под Вашими Ма-

<sup>9</sup> Пушкин, А.С. Евгений Онегин: Роман в стихах // А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 16 т. – М.–Л., 1937. – Т. 6. – С. 155.

тевицами. В моих глазах Козак Лисенько пленил его, и я его не раз видал. Розлихой Генерал. Нет у Вас таких ныне, нет”. О! Друзья! В моем путешествии мне уже второй раз приходится слышать из уст простого человека отдаваемую справедливость нашему великому Вождю. Как это мило для моего сердца! Я утверждаюсь в том мнении, что настоящее величие имеет право на похвалу всех и везде» (с. 88–89). Собственно говоря, от героя Катюшки до героя Маврокордато и героини Бобелины<sup>10</sup> просто рукой подать.

Следует обратить внимание на то, что в польскоязычном дневнике Янковский активно использует русскоязычные вкрапления – прежде всего, для передачи характерных деталей речи персонажей-россиян. Можно сказать, что это не является принципиальной особенностью именно дневника Яна Янковского. Нам уже приходилось отмечать, например, как Э. Масальский в своем дневнике воспроизводит речь великого князя Константина Павловича – также русскими словами в латинской транскрипции<sup>11</sup>. Это тоже – попытка воспроизвести экзотику, какой для жителя новозавоеванных литовских губерний являются русская речь и русский человек как таковой. Показательно в этом отношении и впечатление Янковского от старой русской столицы: «Слияния воедино многих сот тысяч голосов людей и звон многих сотен колоколов составляет смешанный шум, который, окружая собой Москву, поражает слух подъезжающего к ней путешественника. В ту же самую минуту его взгляд видит издалека, как бы вместе сбитые верхушки многих тысяч домов, башен и церквей, видит и вместе с воображением теряется в этой необъятной громадине. Плывущий на легком челне, увлекаемый течением реки, спокойно может он рассматривать ее берега и прилегающие околицы, но когда он приближается к ее устью, в момент открывается ему неизмеримый простор океана без границ, где слышен вечный шум накатывающих друг на друга волн. Удивляется, задумывается... все видит и ничего не понимает... Абсолютно то же происходит с въезжающим в любую сто-

<sup>10</sup> Ср.: «Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. На картинах все были молодцы, все греческие полководцы, гравированные во весь рост: Маврокордато в красных панталонах и мундире, с очками на носу, Колокотрони, Миаули, Канари. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках. Потом опять следовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные» (Гоголь, Н.В. Мертвые души: Том первый // Н.В. Гоголь. Полное собрание сочинений: в 14 т. – М.–Л., 1951. – Т. 6. – С. 95).

<sup>11</sup> См.: Федута, А.И. Н.Н. Новосильцов в польской литературе 1820–1830-х гг. // А.И. Федута. Письма прошедшего времени: Материалы к истории литературы и литературного быта Российской империи. – Минск, 2009. – С. 198–199.

лицу, тоже происходит и с въезжающим впервые в Москву...» (с. 59–60). И далее: «По улицам и переулкам, по переулкам и улицам мы ехали и ехали. Перед нашими глазами проносились по большей части двухэтажные каменные здания. Шум, визг, крик, говор и беспрестанный стук поражали наши уши, и показалось, что мы попали как в какой-то лабиринт, из которого мы никогда не выйдем. Снег закрыл нам рты и глаза. Мы закрылись плащами и ничего не могли видеть» (с. 62).

Это не означает, что впечатления ссыльного юноши от Москвы ограничиваются исключительно этим шумом. Нет, в дневнике есть и следующий фрагмент: «Мое сердце болит. Я смотрю на древние вершины укреплений и башен. Мне в уши бьет смешанный говор разлитого внутри столицы народа. Воображение представляет множество достопримечательностей, которые хотелось бы увидеть и узнать. Желает сердце – нет воли... Москва лежит на реках Москве, Яузе и Неглинке. В 1149 году ее основал Великий Юрий Долгорукий, сын Владимира Мономаха, а с 1329 года, то есть со времени, когда великий князь Юрий Данилович, внук Великого Князя Александра Невского, получил трон Великого Княжества Владимирского, стала столицей Великого Княжества. Она насчитывает своего населения почти 400 000. Четыре ее части, на которые делится, и многочисленные предместья окружены валом. В 1812 году большая ее часть была уничтожена пламенем. Сегодня глаз путешественника не замечает следов всего этого. На руинах уничтожения щедрой рукой Правительства были воздвигнуты святыни в новом виде – появились каменные дома, хоть по большей части двухэтажные, однако, прекрасные, стильные, и по теперешнему плану, расширились улицы. Москву, если кто-то видел перед тем, и кто увидит сегодня, не узнает. Она переродилась в огромную пущу, где заблудившийся взгляд погибает в неизмеримом пространстве зданий, и требуется много дней, много месяцев, прежде чем освоится с окружающими его предметами и сможет выпутаться из сетей, которые на каждом шагу видит поставленными на себя. Год – мало времени для описания того, что любопытство сможет увидеть и оценить стоящим внимания и памяти» (с. 65–66).

Очевидно, что это описание Москвы многослойно. Мы можем отделить личные впечатления, риторические фигуры и цитаты, вполне вероятно имеющиеся в тексте. Опыт комментирования, в частности, «Петербургских впечатлений» А.-Г. К. Киркора, убеждает нас: нагромождение исторической фактуры свидетельствует о том, что автор готовил свои письма (заметки, дневник – словом, эго-текст) к публикации и, скорее всего, пользовался справочным материалом. В случае с очерком Киркора мы достоверно установили совпадения с путеводителем Н.Н. Пушкарева<sup>12</sup>, в отношении днев-

<sup>12</sup> См.: Федута, А.И. Комментарии // Поляки в Петербурге в первой половине XIX века. – М., 2010. – С. 830 и др.



ника Янковского, мы надеемся, нам также со временем удастся установить источник заимствования. Это связано с типологией авторской установки. Как отмечала еще Т.А. Роболи, на Западе в жанре травелога «дифференцировались два основных типа: один собственно – стерновский, где настояще описание путешествия, в сущности, нет; и другой – типа Дюпати, представляющий гибридную форму, где этнографический, исторический и географический материал перемешан со сценками, рассуждениями, лирическими отступлениями и проч.»<sup>13</sup>. Можно с определенной долей уверенности говорить, что Янковский ориентируется на второй тип травелога.

Янковский не бездарен. У него есть чувство юмора, он умеет подметить и передать забавные черты человеческого характера (как, например, в случае с ярославским губернатором) – причем делает это он, несмотря на трагизм собственного положения. Конечно, сентименталистская риторика весьма ощутима, а злоупотребление словом «чувствительный» к концу небольшого текста начинает раздражать современного читателя. Но не вина автора травелога в том, что мы знаем о нем больше, чем в момент написания этого текста знает он сам, и что мы в отличие от автора рассматриваем его записки в некоем литературном и историческом контексте. Нет сомнений, что Янковский ни о чем таком не помышлял. Автор хочет поведать *urbī et orbī* историю своих бедствий, ищет и находит уместные, с его точки зрения, слова и образы и пытается быть максимально точным и честным. Нам остается лишь поблагодарить его за это.

---

<sup>13</sup> Роболи, Т.А. Литература путешествий // «Младоформалисты»: Русская проза. – СПб., 2007. – С. 108–109.

## ЗЕМЛЯКИ (Ф.В. Булгарин и А.-Г.К. Киркор: к истории взаимоотношений)

Репутация Фаддея Венедиктовича Булгарина, человека весьма противоречивого, была бесспорной, по крайней мере, для одной группы его современников – земляков. Редактор «Северной пчелы» до конца своей литературной карьеры поддерживал теплые отношения с образовавшейся в 1820–1830-х гг. в Петербурге колонией выходцев из Вильно. Его петербургская квартира всегда была открыта для приезжающих в столицу империи поляков и литвинов, и Фаддей Венедиктович, сам регулярно знакомившийся со всеми польскоязычными литературными и культурными новинками, щедро информировал о них российского читателя на страницах своих изданий. Наконец, известна его роль в истории российских изданий Адама Мицкевича и его отъезда за пределы России. Все это делало Булгарина фигурой не только приемлемой, но и вполне уважаемой – особенно на фоне такого национал-рenegата, в которого превратился, скажем, другой выходец из Литвы, О.И. Сенковский.

Сложнее вопрос о национальной самоидентификации Булгарина и его идентификации в глазах современников. Сам Фаддей Венедиктович писал Теодору Нарбутту (письмо от 9 января 1836 г.): «Возможно, Вы слышали обо мне. Я тот самый Булгарин, литвин, который стал писателем на русском языке, и издатель “Северной пчелы”»<sup>1</sup>. Однако вопрос о том, как понимать слово «литвин», отнюдь не тождественное современному обозначению этноса «литовец» и менявшее свое значение на протяжении XIX в. Для этнических великороссов были непонятны те нюансы взаимоотноше-

<sup>1</sup> Цит. по: Булгарын, Ф. Выбранае. – Мінск, 2003. – С. 436.

ний, что установились в Речи Посполитой к моменту ее насильственного расчленения сверхдержавами в конце XVIII в. Известная антибулгаринская эпиграмма А.С. Пушкина «Не то беда, что ты поляк...» была справедлива во многом, но уже во второй строчке скрывала внутреннее противоречие: ни Костюшко, ни Мицкевич – как и Булгарин! – собственно «ляхами» не были, а были литвинами – выходцами из Великого Княжества Литовского, славянами непольского происхождения, иначе говоря, сегодняшними белорусами<sup>2</sup>. Именно им, считая прежде всего их своими земляками, сделавший литературную карьеру Булгарин и старался оказывать максимально возможное покровительство.

Одним из таких земляков и был начинающий виленский журналист и литератор Адам-Гонорий Киркор (1812–1886), в конце 1845 г. посетивший столицу Российской империи с целью добиться разрешения издавать в Петербурге литературную газету «Эхо Невы» на польском языке. Булгарин воспринимает эту идею с энтузиазмом и 10 января 1846 г. обращается с соответствующим ходатайством к шефу корпуса жандармов Л.В. Дубельту: «Осмеливаюсь просить Ваше Превосходительство о покровительстве подателю сего письма г-ну Киркору, юному литовцу (sic!), воспитанному по новой системе, в русском духе, знающему основательно русский язык. Мне кажется, что все бедствия в Польше происходят от того, что поляки не знают России, и просвещение их в этом отношении было бы для них благодеянием. Вот почему проект г-на Киркора кажется мне полезным. Человек он надежный и весьма благонамеренный»<sup>3</sup>.

В приведенном отрывке показательны два момента. Во-первых, Булгарин подчеркивает, что просит не за поляка, а за представителя другой национальности – хотя просьба и касается позволения издавать газету на польском языке. Во-вторых, Булгарин едва ли не сознательно избегает определения «литвин» как чуждого уху лица, перед которым излагается просьба: русифицированный вариант «литовец», вероятно, казался Фаддею Венедиктовичу несколько более приемлемым.

Ходатайство Булгарина, однако, не возымело результата. Дубельт ответил ему 14 января: «По докладу письма Вашего от 10 сего января граф Алексей Федорович (Орлов, начальник III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. – А.Ф.) не изволил одобрить предположения г. Киркора насчет издания литературной газеты на польском

<sup>2</sup> См. об этом: Федута, А.И. Слово «белорус» в воспоминаниях Осипа Пржецлавского // Поэтика и лингвистика: материалы научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Р.Р. Гельгардта, 16–19 октября 2006 г. – Тверь, 2006. – С. 42–44.

<sup>3</sup> Цит. по: Видок Фиглярин. Письма и агентурные записки Ф.В. Булгарина в III Отделение / изд. подготовил А.И. Рейтблат. – М., 1998. – С. 477–478.

языке; но, впрочем, Его Сиятельству угодно было заметить, что разрешение по этому предмету зависит от г. министра народного просвещения»<sup>4</sup>.

Адресат для дальнейших хлопот за земляка, указанный в ответе Дубельта, еще более усугублял ситуацию. С министром народного просвещения С.С. Уваровым у Булгарина сложились чрезвычайно напряженные отношения. Буквально за месяц до начала ходатайств за Киркора (4 декабря 1845 г.) Булгарин жалуется А.В. Никитенко: «Имя Торквемадо, в сравнении с именем Уварова, есть то же, что имя Людовика XIV в сравнении с именем Омара! Набросил на все тень, навел страх и ужас на умы и сердца – истребил мысль и чувство...»<sup>5</sup>.

Об этом и Орлов, и тем более Дубельт знали наверняка. Но очевидно, что ходатайствовать перед императором об открытии газеты на польском языке им попросту не хотелось. Николай I еще не успел прийти в себя после раскрытия конспиративной сети Ш. Конарского, намеревавшегося подготовить новое восстание на литовско-белорусских и украинских землях. Для правительственных же целей вполне хватало официальной газеты Царства Польского «Тыгодник Петербургский», редактировавшейся О. Пшецлавским, так что и отказ императора был вполне прогнозируем. И руководителям жандармского ведомства не слишком хотелось подставляться под государево недовольство.

Булгарин это чувствует и пытается объясниться. На следующий же день (вероятно, после прочтения краткого и довольно сухого письма Дубельта), 15 января, он отправляет «милостивому государю Леонтию Васильевичу» разъяснение своей позиции: «Программу г-на Киркора представлял я Вашему Превосходительству не для того, чтобы испрашивать позволение на издание журнала на польском языке, зная, что это принадлежит министру просвещения, который, разумеется, не дозволит, но эта программа представлена мною только для сведения. Я той веры, что только убеждением можно успокоить встревоженные умы и уязвленные сердца в Польше, и для убеждения у нас ничего не предпринимается и, вероятно, долго еще не будет предпринято. ...зная ваше пламенное, неутомимое и непрерывное стремление к добру, уведомил вас о предприятии г-на Киркора, в котором нашел то же искреннее желание к примирению и соединению Польши с Россией, которое и меня одушевляет, предоставляя, впрочем, этот подвиг Провидению!»<sup>6</sup>.

На сим официальные ходатайства Булгарина за Киркора в органах государственной власти завершаются. Далее сам Киркор будет обращаться в Министерство народного просвещения и, как и предвидел, вероятно, Болга-

<sup>4</sup> Цит. по: Видок Фиглярин... – С. 478–479.

<sup>5</sup> Цит. по: Булгарын, Ф. Выбранае. – Мінск, 2003. – С. 445.

<sup>6</sup> Цит. по: Видок Фиглярин... – С. 479.

рин, получит отказ. Но это не означает, что отношения между Булгариным и Киркором прервутся.

Как справедливо заметил потомок и биограф А.-Г. К. Киркора С. Киркор, «было бы, наверно, интересно исследовать, в какой мере Киркор использовал как образцы издания Булгарина в своей собственной издательской деятельности»<sup>7</sup>. Однако такой анализ не входит в число наших задач: нас интересуют исключительно факты биографий обоих литераторов. А факты свидетельствуют, что встреча с Булгариным оставила определенный след в жизни А.-Г. К. Киркора.

Прежде всего следует отметить, что сразу же после своей поездки в столицу Киркор описывает ее в цикле «Письма из Петербурга», который публикуется в главном виленском периодическом издании того времени – в «Атенеуме» Ю.И. Крашевского. Причем завершает этот цикл описание визита автора к Булгарину (см. приложение 1). Редактор «Северной пчелы» при этом описывается в почти панегирических тонах, вполне, впрочем, объяснимых, если учесть те надежды, которые возлагал Киркор на эту встречу и которые, однако, не оправдались, как мы знаем, не по вине Булгарина.

Станислав Киркор уверяет, что, «к счастью, влияние Булгарина на Киркора не дало стойкого результата и не вышло за пределы языкового вопроса»<sup>8</sup> (имеется в виду продолжительное литературное творчество А.-Г. Киркора на русском языке). Однако и после смерти Булгарина Киркор, уже находящийся в эмиграции в Кракове, в публичных лекциях о славянских литературах отзывается о редакторе «Северной пчелы» почти так же панегирически, как и при жизни, к тому же иллюстрируя объективную оценку булгаринского творчества яркими собственными воспоминаниями (см. приложение 2).

Явно имела место и попытка сотрудничества. По крайней мере, в 1846 г. Киркор публиковался на страницах «Северной пчелы». Первая заметка «Русско-польский виленский театр» была опубликована уже в пятом номере газеты от 7 января. Учитывая технологический процесс, можно предположить, что написана она была практически немедленно после встречи Киркора с Булгариным и тут же пошла в набор. Текст подписан полным именем – «А.Г. Киркор» (см. приложение 3). Это позволяет атрибутировать две другие публикации, подписанные криптонимом «А.Г.К.» (номера от 11 и 17 апреля 1846 г.): первая из них, также посвященная Виленскому театру, отсылает читателя к номеру от 7 января<sup>9</sup>. Вместе с тем отметим, что этот

<sup>7</sup> См.: Kırkor, S. Przeszłość umiera dwa razy. Powieść prawdziwa. – Kraków, 1978. – S. 20.

<sup>8</sup> Там же. S. 21.

<sup>9</sup> Киркор активно публиковался как театральный рецензент, что было обусловлено не только его зрительскими симпатиями, но и бурным романом с актрисой Виленского театра Хеленой Маевской. Булгарин мог читать его рецензии в польскоязычной прессе, в частности в газетах «Tygodnik Petersburski» и «Gazeta Teatralna».

кириллический криптоним Киркора не указан ни в фундаментальном библиографическом справочнике «Беларускія пісьменнікі», ни в справочнике белорусских псевдонимов Я. Соломевича<sup>10</sup>.

Одновременно с этим Киркору можно атрибутировать и анонимную заметку «О благотворениях и пособиях неимущим в нынешнее время», опубликованную в № 77 «Северной пчелы» и содержательно примыкающую к трем другим: речь в ней идет одновременно и о Виленском драматическом театре, и о благотворительной деятельности (в заметке «Виленские детские приюты (Письмо к издателям)» в № 84 газеты речь идет также о благотворительности). Кроме того, ряд упоминаемых во всех четырех публикациях лиц совпадает.

Нет сомнений, что Булгарин, не оставляющий до поры надежду пролоббировать разрешение Киркору издавать газету, мог подсказать ему и выбор тем для его заметок. Благотворительность, как известно, находилась под особым контролем императорской фамилии, и на публикующиеся материалы о развитии этого вида социальной помощи в Вильно высокопоставленные читатели «Северной пчелы» должны были смотреть благожелательно. Кроме того, император, а вслед за ним и большинство видных чиновников (да и Булгарин, в конце концов, – издатель первого русского театрального альманаха «Русская Талия»), были театрами, и рецензия на театральные постановки также могла обратить высочайшее внимание на своего автора.

В Национальном историческом архиве Литвы сохранились письма Булгарина к Киркору (см. приложение 4). Из них видно, что отношения двух земляков-литераторов продолжались практически до самой смерти Булгарина. Как следует из писем, А.-Г. Киркор печатался в «Северной пчеле» не только в 1846 г., но и в последующих годах, так что тезис С. Киркора о краткосрочности булгаринского влияния на его молодого земляка не выдерживает критики.

Так, например, Киркор выполняет различные мелкие просьбы редактора «Северной пчелы», заботится о пополнении его библиотеки и коллекций. Вероятно, он побывал и в дерптском имении Булгарина Карлово, во всяком случае в его брошюре, посвященной гастролям в Вильно известного польского композитора и исполнителя-виртуоза Аполлинария Контского<sup>11</sup>, при описании интерьера булгаринской усадьбы, где также выступал Контский, весьма ощутимо знакомство с Карлово: «После стольких трудов Аполлинарий Контский немного отдохнул в сельской тиши, на лоне дружбы, в имении жены знаменитого русского Писателя Тадеуша Булгарина, Сара-

<sup>10</sup> См.: Саламевіч, Я. Слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў (XVI–XX стст.). – Мінск, 1983.

<sup>11</sup> См.: <Kirkor, A.-H.> Apolinary Kątski. (Na pamiąku pobytu jego w Wilnie). Przesz Jana ze Sliwina. – Wilno, 1852. – 99 s.

кус, лежащем в двенадцати верстах от Дерпта. 18 августа, в день семейного праздника, Ап. Контский восхитил своей игрой собравшихся гостей, которые уговорили [его] дать концерт для жителей Дерпта. Артист был вынужден согласиться с этим. И 25 августа исполнил их желание в Зале прекрасной виллы Г-на Булгарина, Карлово, расположенной сразу за заставой Дерпта: поскольку зал в здании Университета, как равно и в Клубе были на ремонте. Зала в Карлове едва могла вместить 400 персон, но не только зала, но и боковые комнаты были переполнены слушателями»<sup>12</sup>.

Вместе с тем существует и еще одно объяснение этого ощущения. Киркор не скрывает, что пользовался при написании своей брошюры аналогичной брошюрой, принадлежащей перу Булгарина. В примечании уже на седьмой странице брошюры Киркор пишет: «Знаменитый Российский Писатель Тадеуш Булгарин издал в текущем году краткую, но научно написанную брошюрку об Аполлинии Контском. Из этой-то брошюры, как равно и из многих периодических изданий, составили мы данную статью с прибавлением собственных впечатлений, которые произвел он на нас во время своего пребывания в Вильно»<sup>13</sup>. Использовал он и традиционный фельетон «Северной пчелы» (№ 199 за 1852 г.), в котором Булгарин, в частности, писал: «В проезде из Ревеля в Ригу, навестил меня (на мызе Саракус) и знаменитый артист Аполлиний Контский, и прожил уже две недели, не думая вовсе давать концерты в Дерпте, хотя Дерпт и славится любовью своей к музыке, и имеет музыкальное общество. <...> Когда 18-го Августа, в день семейного праздника, собрались ко мне приятели из Дерпта, г. Контский сыграл вечером несколько пьес. Приятели мои были удивлены и восхищены его игрою, и уговорили г. Контского доставить такое же наслаждение Дерптской музыкальной публике. Но где дать концерт? Великолепная и обширная зала университета перекрашивается и исправляется для будущего университетского торжества, а зала муссы (т.е. общественного клуба), хотя и не велика, еще не просохла от летних починок. Решено было дать концерт в Карлове, которое, хотя и лежит за городом, но так далеко от города, как нос от ушей, т.е. примыкает к городской черте. <...> Концерт состоялся, и дан был в Карлове 25-го Августа. Зала в Карловском доме не может вмещать в себя более четырехсот особ – но не только зала, и боковые комнаты были полнешеньки слушателей»<sup>14</sup>. Как видим, Киркор дает в своей брошюре практически конспект соответствующих фрагментов булгаринского фельетона<sup>15</sup>. Всего же

<sup>12</sup> Там же. S. 98.

<sup>13</sup> Там же. S. 7.

<sup>14</sup> Цит. по: Ф. Б. <Булгарин, Ф.В.> Всякая всячина // Северная Пчела. 1852. № 199.

<sup>15</sup> А.-Г. Киркор был настолько активен, пропагандируя творчество А. Контского, что это вызвало осуждение других музыкальных деятелей. С. Моношко в письме Ю. Сикорскому от 22 сентября 1854 г. прямо пишет о «дружине псов, лижущих его

Булгарин упоминается на 99 страницах брошюры Киркора, посвященной Контскому, пять раз, а «Северная пчела» – одиннадцать раз.

Таким образом, есть все основания утверждать, что общение Булгарина и Киркора было длительным, имело личный и творческий характер, что и было зафиксировано, в конечном счете, в чрезвычайно доброжелательных воспоминаниях Киркора, опубликованных как при жизни Булгарина, так и после его смерти.

Автор благодарит П.М. Лавринца, Д.Ч. Матвейчика,  
А.И. Рейтблага и Л.Н. Юревича  
за ценные консультации при комментировании  
публикуемых в приложении текстов.

## **Приложение 1**

**А.-Г. Киркор**  
31 декабря 1846 года

### **Тадеуш Булгарин**

День 27 декабря останется надолго в моей памяти. Познакомился с человеком, имя которого звучит от Невы до Аракса, от Вислы до Иртыша. Говорю о Тадеуше Булгарине, знаменитом русском писателе, авторе нескольких сот томов, из которых больше половины переведено на языки польский, французский, немецкий, английский, итальянский, чешский и шведский. Имя его принадлежит сегодня всей Европе. Его литературное влияние сегодня так сильно в России, что мнение его воспринимается как приговор для публики, а для пущей убедительности стоит добавить, что большая часть здешних литераторов является завзятыми его врагами. В течение 25 лет трудится он постоянно с невыразимым прилежанием и терпением в литературной профессии. С 1825 года выпускает вместе с Николаем Гречем, законодателем русского языка, политическо-литературную газету п[од] н[азванием] «Северная пчела», которая сегодня считается важнейшим и самым достоверным [печатным] органом в России. Несколько дней кряду ежедневно встречаясь с этим славным мужем, ничего, однако, до сих пор не сообщал Вам об этом, желая узнать его поближе и глубже. Булгарин всем нам интересен и занимателен как наш сородич (родился в имении своей матери, урожденной Бучинской, герба «Стремя», Перешиво, в губ[ернии] Гродненской, Повете

(А. Контского. – А.Ф.) горшки (во главе их: Адам Киркор – Ян из Сливина)» (цит. по: Moniuszko, S. Listy zebrane. – Kraków, 1969. – S. 200).



Волковысском<sup>16</sup>, в 1789 году). Все у нас о нем говорят, но никто его не знает точно, отсюда, естественно, как и обо всем, тысячи разнообразных вестей и мнений, не совпадающих ни с истиной, ни со [здравым] смыслом.

Булгарин живет на Невском проспекте, напротив Вшивой биржи<sup>17</sup>, в доме купца Меняева, на 3-м этаже. Я застал его в кабинете в огромном вольтеровском кресле, за чисто прибранным столом, с пером в руке, сигарой во рту и в очках; на нем был одет длинный старый стеганый темно-кофейный сюртук, длинная красная жилетка. Волосы, уже седеющие, коротко острижены, черты лица необычайно выразительны, глаза большие, нос и губы выпячены. Рост высокий, телосложение среднее. В целом характер его физиономии и внешности напоминает старого Поляка прошлого века.

Булгарин ведет чрезвычайно упорядоченную жизнь. Встает очень рано и до трех часов постоянно работает, и все это время каждый, у кого к нему есть литературский интерес, может незамедлительно входить, не ожидая часами в приемной, как это случается у некоторых Редакторов. В его обхождении нет шутовского привскакивания [с места] или пустых вежливостей, но чувствуется настоящая старопольская учтивость. От 3 до 4 часов Булгарин чаще всего прогуливается по Невскому, в крылатке и бархатной шапке-конфедератке. Лицо его всегда открыто в самый страшный мороз. Позже он идет домой обедать, где в лоне семьи отдыхает от дневных трудов. На обеде, особенно в воскресенье, всегда есть несколько человек. Вечера проводит чаще всего дома, часть ночи снова посвящает работе. Я удивляюсь, откуда у него берется время столько читать! Булгарин, как славный Кювье<sup>18</sup>, умеет использовать каждую минуту жизни, и ни одна у него не потеряна даром. Редактором, кажется, создала его сама природа! Необычайная деятельность, быстрота мысли, пунктуальность, трудолюбие сделали так, что его «пчела» на протяжении 20 лет всегда была и есть главным изданием в России.

<sup>16</sup> Киркор неточно указывает место рождения Булгарина: Булгарин родился в имении Перышево Минской губернии (ныне Узденский район Минской области).

<sup>17</sup> «Вшивая биржа» – «бойкое место», где шла мелкая розничная торговля; в середине XIX в. располагалась в Петербурге на перекрестке Невского и Литейного проспектов. Само название «Вшивая биржа», по легенде, появилось потому, что здесь же обслуживали своих клиентов бродячие цирюльники.

<sup>18</sup> Кювье Жорж Леопольд Христиан Дагобер (1769–1832) – французский зоолог, один из реформаторов сравнительной анатомии, палеонтолог и систематики животных, один из первых историков естественных наук, член (1795) и непрменный секретарь (1803) Парижской Академии наук, член Французской академии (1818). Занимал ряд государственных должностей при Наполеоне I, а также в периоды Реставрации и Июльской монархии. С 1820 г. барон, с 1831 г. пэр Франции. Кювье создал факультет естественных наук в Парижском университете, организовал ряд университетов и лицеев в городах Франции и присоединенных к ней итальянских и голландских городах, ввел преподавание естественных наук в средней школе.

Только что здесь вышли из типографии 2 тома его воспоминаний, о которых уже упоминал выше. Это произведение неимоверно важное и занимательное.

Боюсь наскучить уважаемому господину Редактору<sup>19</sup> дальнейшей болтовней, а вместе с тем и читателям «Athenaeum'a», если уважаемый г-н [Редактор] сочтет мои мимолетные впечатления достойными их внимания.

*Ян из Сливина*

## Приложение 2

### О литературе братских народов славянских

*Публичные лекции А.-Г. Киркора в Техническо-промышленном музее в Кракове*

*Лекция тринадцатая*

Другой наш сородич<sup>20</sup>, Тадеуш Булгарин, если и не занимал такого блестящего, как Сенковский, научного положения<sup>21</sup>, однако имел в пушкинскую эпоху громкое имя, влияние и большое значение.

Т. Булгарин родился в Минской губернии в 1789 г. На одиннадцатом году жизни был отдан в кадетский корпус в Петербурге, откуда вышел в 1805 г. уланским офицером, отличился в битве при Фридланде<sup>22</sup>, участвовал в шведской войне<sup>23</sup>, затем, получив отставку от военной российской службы, отправился во Францию и пристал к польским легионам<sup>24</sup>, отбыл всю испанскую кампа-

<sup>19</sup> Редактором виленского журнала «Athenaeum», в котором публиковал свои «Петербургские впечатления» А.-Г. Киркор, был Ю.И. Крашевский.

<sup>20</sup> Предшествующая лекция Киркора была посвящена О.И. Сенковскому.

<sup>21</sup> О.И. Сенковский был одним из крупнейших российских ученых-востоковедов, профессором Санкт-Петербургского университета.

<sup>22</sup> Битва при Фридланде состоялась 14 июня 1807 г.: войска французской армии под командованием Наполеона нанесли поражение русской армии, которой командовал Л.Л. Беннигсен.

<sup>23</sup> Речь идет о русско-шведской войне 1808–1809 гг.

<sup>24</sup> Польские легионы были созданы в 1797 г. польским генералом Яном Генриком Домбровским из числа эмигрировавших после поражения А.-Б.-Т. Костюшко и пленных австрийской армии поляков. Они участвовали в борьбе против объединенных русско-австрийских войск (1798–1802), в подавлении антифранцузского восстания на острове Сан-Доминго; во время войны Франции с Пруссией (1806–1807). Всего за 10 лет через польские легионы прошло около 10 000 человек, часть из которых влилась в состав армии Герцогства Варшавского (1807–1814), а другая осталась в составе французской армии. Воспоминания легионеров составили книгу *Dał nam przykład Bonaparte. Wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796–1815*. Т. 1–2. Kraków, 1984. Их судьбе посвящен роман С. Жеромского «Пепел» и одноименный фильм (экра-

нию<sup>25</sup> и затем разделил их общую судьбу<sup>26</sup>, вплоть до прусского плена<sup>27</sup>, однако бежал и был назначен начальником одного из подразделений польских волонтеров. С падением Наполеона закончилась военная карьера Булгарина. Под конец 1814 г. вернулся он в Вильно и тут в тогдашних периодических изданиях печатал на польском языке сатирическую поэзию и юмористические статьи. В 1819 г. перебрался в Петербург<sup>28</sup> и полностью посвятил себя российской литературе. В 1823 г. начал издавать «Северный Архив», а в 1825 г. вместе с Николаем Гречем предпринял издание ежедневной большого формата газеты «Северная пчела»; издавал ее вплоть до смерти, до 1859 г., т.е. почти 30 лет.

У Булгарина не было глубокой научной подготовки<sup>29</sup>; однако ему хватало исторических познаний, работал он также и над статистикой, и над этнографией. Врожденные способности, совершенное владение пером, а главное – общая энергичность прокладывали ему дорогу. Это были тяжелые времена для литературы: появлялись все новые издания, и либо сами они закрывались, либо их запрещало правительство. Булгарин умел поддерживать добрые отношения и с III Отделением<sup>30</sup>, и с цензурой. Раз лишь попал в

---

низация романа С. Жеромского) А. Вайды. Но главным памятником легионерам стала так называемая «Мазурка Домбровского» (автор Ю. Выбицкий), разделившая судьбу «Марсельезы» Руже де Лилля, – ныне это гимн Польши.

<sup>25</sup> Французско-испанская война началась в 1809 г. и фактически длилась до 1814 г.

<sup>26</sup> В результате начавшейся в Испании партизанской войны и ожесточенного сопротивления остатков испанской армии французы так и не смогли взять Испанию под свой полный контроль. Брат Наполеона, Жозеф Бонапарт, провозглашенный королем Испании, был вынужден отречься от испанского престола. Булгарин активно сражался в составе польских легионов в Испании и позже посвятил этому одно из своих первых произведений на русском языке – «Воспоминания об Испании» (1821).

<sup>27</sup> Н.И. Греч в своем известном мемуарном очерке описывает сцену встречи пленного Булгарина с его бывшим товарищем по Кадетскому корпусу П.И. Кошкулем (см.: Греч, Н.И. Фаддей Булгарин // Н.И. Греч. Записки о моей жизни. – М.–Л., 1930. – С. 676–679).

<sup>28</sup> Переезд Булгарина в Петербург был связан с выполнением им обязанностей ходатая по делам его родственника П. Булгарина, дело которого рассматривалось в Сенате. Выигрыш по делу, которого добился Ф.В. Булгарин, и полученный им за это гонорар позволили будущему редактору «Северной пчелы» начать самостоятельную литературную и журналистскую карьеру.

<sup>29</sup> Ф.В. Булгарин действительно не получил иного систематического образования, кроме военного. После возвращения в Вильно он посещал в качестве вольнослушателя лекции в Виленском университете.

<sup>30</sup> III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии существовало с 1826-го по 1880 г. Орган государственного управления Российской империи, осуществлявший сыск и следствие по политическим делам, ведавший вопросами раскола, поделки денежных знаков, слежки за иностранцами и подозрительными людьми, а также (с 1842 г.) театральной цензурой.

тяжелое положение, это было в 1847 г.<sup>31</sup>. То ли по невнимательности, а может, желая уступить желанию известной в то время и громкой поэтессе гр. Ростопчиной<sup>32</sup>, опубликовал в «Пчеле» стихотворение п[од] н[азванием] «Муж и Жена». Мужем была Россия, а женой Польша, и эта жена говорила горькие слова правды мужу и делала ему болезненные упреки. Цензура не поняла, о каком неравном браке идет речь, и позволила печатать. Лишь через несколько дней обратили внимание на это стихотворение, и был отдан приказ изъять экземпляры от подписчиков по всей России. Булгарин, однако, выкрутился. Говорят, что, будучи вызван к знаменитому в свое время Дубельту, начальнику тайной канцелярии, объяснял, что не понял, о чем идет речь<sup>33</sup>. На что Дубельт ответил, что в таком случае поступит с ним, как с тем, кто не выучил урока, и приказал ему стать в угол, лицом к стене. Старый, обрюзгший Булгарин должен был так стоять несколько часов<sup>34</sup>.

В то время во всей России выходило лишь четыре газеты: в Петербурге – «Академические ведомости», издаваемые тем самым Краевским, который сейчас издает «Голос»<sup>35</sup>, а редактором был Очкин<sup>36</sup>; «Русский Инвалид», газета для военных<sup>37</sup>, и «Пчела»; в Москве лишь в одиночестве «Московские ведомости»<sup>38</sup>. «Пчела» была лучше редактирована и имела наилучшее положение. Булгарин сам писал фельетоны, а они были единственным украше-

<sup>31</sup> Стихотворение Е.П. Ростопчиной «Муж и Жена» было опубликовано в № 284 за 17 декабря 1846 г.

<sup>32</sup> Ростопчина Евдокия Петровна (1811–1858) – поэтесса.

<sup>33</sup> Ср.: «Государь был очень недоволен и велел было запретить Булгарину издавать “Пчелу”. Но его защитил граф Орлов (шеф III Отделения. – А.Ф.), объяснив, что Булгарин не понял смысла стихов. Говорят, что на это замечание графа последовал ответ:

– Если он [Булгарин] не виноват как поляк, то виноват как дурак!

Однако этим и кончилось» (Никитенко, А.В. Дневник: в 3 т. – Л., 1955. – Т. 1. – С. 300–301).

<sup>34</sup> Анекдот широко распространенный и, возможно, имевший под собой некоторую основу. См. его пересказ, в частности: Каратыгин, П.П. Бенкендорф и Дубельт // Исторический вестник. 1887. № 10. С. 168. – Однако, как аргументированно указывает исследовавший вопрос А.И. Рейтблат, «в реальности отношения между ними [Булгариным и Дубельтом] носили гораздо более серьезный и сложный характер» (Рейтблат, А.И. Булгарин и Дубельт // Седьмые тыняновские чтения. Материалы для обсуждения. – Рига–М., 1995–1996. – С. 265).

<sup>35</sup> Краевский Андрей Александрович (1810–1889) – журналист и редактор-издатель; издавал газету «Голос» в 1863–1883 гг.

<sup>36</sup> Очкин Амплий Николаевич (1791–1865) – писатель и переводчик, редактор «С.-Петербургских ведомостей» (1837–1862).

<sup>37</sup> «Русский Инвалид» – военная газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге в 1813–1917 гг.

<sup>38</sup> «Московские ведомости» – газета, выходившая в Москве в 1756–1917 гг.

нием издания – потому что газета, кроме правительственных распоряжений и политики, ничего больше печатать не могла. Вступительных статей не было вовсе. Так что фельетоны были выдающимся явлением в издании. Они содержали критику произведений, статьи о театре и концертах, информацию о текущих событиях, о происшествиях и т.д. – самой живой была так называемая «Всякая всячина», написанная искусно и остроумно. Чаще всего Булгарин описывал свои прогулки по городу, напичканные чудаческими приключениями, анекдотами и т.д. На этих фельетонах он неплохо зарабатывал, потому что если уж хотел кого-то похвалить, да ему за это и заплатили, то уж похвал не жалел. Хвалил, однако, лишь то, что действительно заслуживало похвал, – и благодаря этому получал веру у публики. Похвалил, например, какую-то модную лавку – в этот же день пробиться в нее было невозможно. Похвалил вновь прибывшего артиста, и того ждал небывалый успех. Забавный был вид, когда Булгарин переходил улицу, особенно возле Гостиного двора, как купцы выбегали из лавок и буквально силой тянули его к себе, приглашая то на чай, то на икру и водку, то для показа ему нового товара и т.д.

У Булгарина была еще одна слабость, однако вполне объяснимая. Каждый поляк, нуждающийся в его поддержке, будь то в художественной профессии, литературной или даже в специалист в какой-то отрасли, всегда находил помощь; в таких случаях хвалил [Булгарин] безмерно и, разумеется, денег не брал. Дом его также для поляков, особенно из Литвы, был всегда открыт.

Настоящим москалем Булгарин никогда не был; знал Россию великолепно, понимал требования правительства и умел кадить ему до омерзения, но, наверное, что не по убеждениям, а в результате ложного понимания – что так нужно. Собственно, за это пресмыкательство либеральные россияне никогда его не любили, и сегодня с пренебрежением о нем вспоминают, хотя у Булгарина есть определенные заслуги в литературе. Никто, возможно, столько не навредил Булгарину в [общественном] мнении, как Пушкин своими эпиграммами. Мы уже ранее приводили одну о «Выжигине», а вот другая, еще более ехидная:

Не то беда, что ты Поляк;  
Костюшко Лях, Мицкевич Лях.  
Пожалуй, будь себе Татарин,  
И в том не вижу я стыда;  
Будь жид, и то не беда,  
Но то беда – что ты подлец Булгарин!<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Киркор цитирует пушкинскую эпиграмму на Булгарина по памяти, причем в версии самого Булгарина, попытавшегося таким образом свести ее к личному выпадку. Пушкинский текст эпиграммы звучит следующим образом:

Не то беда, что ты поляк:

Из отдельных произведений Булгарина важнейшей является «Россия с точки зрения исторической, статистической, географической и литературной» в четырех томах. Романы, как «Петр» и «Иван Выжигин», «Дмитрий Самозванец», «Мазепа», грешат преувеличениями. Однако имели в свое время большой успех. Все эти произведения были переведены на немецкий язык, а некоторые на французский. Из трудов Булгарина большую ценность имеют его «Воспоминания» в 3 томах<sup>40</sup>, в которых описывает он свою жизнь и приключения. Первый том, в частности, содержит много интересных деталей о литовских происшествиях, о пребывании Станислава Августа в Петербурге и его кончине<sup>41</sup>, о подстолии графе Михаиле Валицком<sup>42</sup> и т.д.

Булгарин не отрекся от своей национальности или веры; имея серьезное влияние и большие связи, был рад он помогать каждому поляку. В литературе занимал в свое время блестящее положение, но пережил себя. Новая школа<sup>43</sup> Гоголя<sup>44</sup> и Белинского<sup>45</sup>, которой уже он ни понять не мог, ни к ней приспособиться, а лишь брюзжал по ее поводу и даже таланта Гоголя никогда не хотел признать, отторгла его, лишила той славы и популярности, которыми он столько лет пользовался. Он и умер как-то бесславно в своем Карлове под Дерптом в 1859 г., и газеты сообщили о его смерти всего лишь в нескольких словах. В этом Карлове в течение своей жизни он собрал настоящие сокровища: богатую библиотеку, рукописи, произведения искусства, археологические находки и т.д.

---

Костюшко лях, Мицкевич лях!  
Пожалуй, будь себе татарин, –  
И тут не вижу я стыда;  
Будь жид – и это не беда;  
Беда, что ты Видок Фиглярин.

(Пушкин, А.С. <На Булгарина>: («Не то беда, что ты поляк...»)) // А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 16 т. – М.–Л., 1937–1959. – Т. 3, кн. 1: Стихотворения, 1826–1836. Сказки. – 1948. – С. 215).

<sup>40</sup> «Воспоминания Фаддея Булгарина. Отрывки из виденного, слышанного и испытанного в жизни» вышли в 6 томах.

<sup>41</sup> Понятовский Станислав Август (1732–1898) – последний король Речи Посполитой (1764–1795). После отречения от престола жил в Петербурге.

<sup>42</sup> Валицкий Михал (Михаил Мартынович) (1742–1828) – граф, карточный игрок, авантюрист, филантроп.

<sup>43</sup> Речь идет о раннем направлении русского литературного реализма – так называемой натуральной школе, термин для обозначения которой был изобретен Ф.В. Булгариным.

<sup>44</sup> Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) – писатель.

<sup>45</sup> Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) – литературный критик и публицист.

Такая же судьба встретила и коллегу Булгарина и его многолетнего приятеля Николая Греча<sup>46</sup>. Они во всем между собой ладили, только Греч не мог стерпеть, что Булгарин всегда превозносит поляков. По этому поводу у них однажды даже вышла ссора *в собственной газете!* Греч в злобной статье протестовал против излишних, как ему казалось, похвал Апол[линарию] Контскому<sup>47</sup>, которого Булгарин, как и Монюшко<sup>48</sup>, Кажинского<sup>49</sup>, Венявского<sup>50</sup>, Самуэля Коссовского<sup>51</sup> и других польских артистов, всегда безмерно превозносил. Однако гениальные способности Апол[линария] Контского и колоссальная слава, снисканная им в России, к чему во многом причастен и Булгарин, вынудила, в конце концов, и Греча самого хвалить Контского.

### Приложение 3

«Северная Пчела», 1846, № 5

#### Русско-польский виленский театр

Польская сцена существует в Вильне постоянно с 1792 года. Первоначальным образователем ее был известный основатель Варшавского театра, знаменитый артист и драматический писатель Богуславский<sup>52</sup>. Сцена Польская в Вильне была содержима антрепренерами из артистов, из коих известнейшими были Моравский<sup>53</sup>, Матвей Кажинский<sup>54</sup> (отец молодого компози-

<sup>46</sup> Греч Николай Иванович (1787–1867) – писатель, журналист, филолог.

<sup>47</sup> Контский Аполлинарий (1824–1879) – скрипач-виртуоз, директор Варшавской консерватории. Н.И. Греч в мемуарном очерке о Булгарине признается: «Я сносил с терпением все его причуды, подозрения и оскорбления, но нередко выходил из терпения: так, в 1853 году не мог не восстать против него всенародно, вследствие его жалкого и подлого идолопоклонства Контским» (Греч, Н.И. Фаддей Булгарин // Н.И. Греч. Записки о моей жизни. – М.–Л., 1930. – С. 692).

<sup>48</sup> Монюшко Станислав (1819–1872) – композитор, создатель польской национальной оперы.

<sup>49</sup> Кажинский Виктор (Виктор Матвеевич) (1812–1870) – музыкант и композитор, с 1843 г. – капельмейстер Александринского театра в Санкт-Петербурге.

<sup>50</sup> Венявский Хенрик (1835–1880) – скрипач-виртуоз.

<sup>51</sup> Коссовский Самуэль (1805–1861) – виолончелист.

<sup>52</sup> Богуславский Войцех Ромуальд (1757–1829) – актер, режиссер, историк театра и драматург, основатель Виленского театра (1785).

<sup>53</sup> Моравский Доминик (1761–1801) – актер, директор Виленского театра (1796–1801).

<sup>54</sup> Кажинский Матей (Матвей) (1767–1823) – актер, певец, директор Виленского театра (1805–1816); отец композитора В. Кажинского.

тора Виктора Кажинского), Роговский<sup>55</sup>, фон Шмидков<sup>56</sup> и др. Было время, когда сцена Виленская пользовалась громкою славою и имела талантливых артистов; но в последние годы она, постепенно слабея и упадая, пришла наконец в самое жалкое положение. Управлявшие ею не понимали своего прямого назначения как руководителей целого общества и как людей, обязанных давать отчет перед публикою в малейших своих действиях. Самые артисты, за исключением весьма немногих, из искусства своего сделали ремесло, и нисколько не соответствовали своему назначению.

В начале 1844 года образовался в Вильне Русский Театр из нескольких Польских артистов. Но малочисленная Виленская публика не была в состоянии поддержать две сцены (Русскую и Польскую). По представлению местного начальства, Государь Император Всемилостивейше пожаловал ежегодно 3,000 рублей серебром на поддержание Виленской сцены. Это дало способ настоящему начальнику Виленской Губернии, Николаю Арсениевичу Жеребцову<sup>57</sup>, истинному знатоку и ценителю драматического искусства, озаботиться устройством постоянной труппы, которая ныне дает еженедельно три представления на Русском и Польском языках. Благодаря ему, мы теперь можем похвастать не только отличным выбором артистов, но и самим зданием театра, который устроен и прекрасно отделан в городской ратуше. Зала не велика, но разукрашена, отоплена и ярко освещена, достоинства, которых прежде Виленская публика совершенно была лишена, а артисты, во время сильных морозов, нередко впадали в сильные недуги.

Из артистов, получающих весьма хорошее содержание, заслуживают особенного внимания: Осип Роговский, ветеран Польской сцены, прошедший длинную, с лишком пятидесятилетнюю стезю драматического поприща. Всю свою жизнь посвятил он искусству, много лет был директором театра, и собственным талантом, равномерно и опытностью, оказал много пользы Театру. В юные годы и в зрелом возрасте играл он героев в драмах и трагедиях, и всегда приводил в восторг публику; но и в последнее время нередко воодушевлял Вильно, также и жены его, пользующейся известностию. Эмиль Деринг<sup>58</sup>, артист Варшавских Театров, находящийся в Вильне временно, весьма замечателен по своему таланту: он очень богат чувствами, и многие роли исполняет неподражаемо. Не ограничиваясь одним драматическим искусством, Деринг известен и в Польской Литературе; некоторые его пиесы, а в особенности *Gwiazdiarka* (Астрономка), приводят в восторг

<sup>55</sup> Роговский Юзеф (Осип) (1776–1846) – актер, певец.

<sup>56</sup> Шмидков Вильгельм Карл Август фон – певец, директор Виленского театра (1737–1842).

<sup>57</sup> Жеребцов Николай Арсениевич (1807–1868) – действительный статский советник, виленский гражданский губернатор (1844–1846).

<sup>58</sup> Деринг Эмиль (1819–1895) – актер, драматург, режиссер, автор мемуаров.



Варшавскую публику. Осип Суевич<sup>59</sup> преимущественно отличается в характерах, противоположных добродетели. Константин Федецкий<sup>60</sup> – весьма счастливый комик. Некоторые сравнивают его с Петербургским Мартыновым<sup>61</sup>, но мы не можем разделять этого мнения; сравнение это скорее можно бы отнести к другому нашему комику, Малевскому<sup>62</sup>, который ежели не обладает таким же великим талантом, как любимец Петербургской публики, то, по крайней мере, всегда оригинален, естествен и умеет отлично обрисовывать каждую роль, тогда как у Федецкого на всем лежит отпечаток подражания и пошлого фарса.

Из артисток достойна особого внимания девица Маевская<sup>63</sup>, бывшая ученица Варшавского Театрального Училища. Юная эта артистка, исполняя первые в драмах роли, приводит в восторг Виленскую публику. Счастливый талант, при прекрасной наружности, дает ей первенство во всяком представлении; глубоко понимая каждую роль, она исполняет их всегда так верно, что лучшего и желать невозможно. Роли «Савоярдки»<sup>64</sup> и Агнесы в «Отцовском проклятии»<sup>65</sup> – лучшие ее роли. К тому же Маевская лучше всех владеет Русским языком. Кроме ее заслуживает внимания девица Марковская<sup>66</sup>, бывшая ученица той же школы. Вообще надо поудивляться правильному произношению и столь скорому изучению нашими артистами русского языка, которым они владеют гораздо лучше, нежели актеры в южных губерниях России.

Выбор пьес, и в особенности обстановка ролей, не всегда бывают удачны, но мы надеемся, что эти неудобства искоренятся назначением нового директора, О.Г. фон Баранова<sup>67</sup>.

К несчастью, в Вильне нет хорошего оркестра; было однако время, когда и этот самый оркестр, под управлением талантливого композитора, Виктора Кажинского, был гораздо совершеннее. В его время самые большие оперы

<sup>59</sup> Суевич Юзеф (Осип) (1805–1892) – актер, режиссер.

<sup>60</sup> Федецкий Константин (1815–1856) – актер.

<sup>61</sup> Мартынов Александр Евстафьевич (1816–1860) – актер, один из основоположников реалистической традиции русской актерской школы.

<sup>62</sup> Малевский Бартоломей Юзеф (?–1868) – актер.

<sup>63</sup> Маевская Хелена Петронелла (1828–1900) – актриса, революционерка. В 1845 г. вышла замуж за А.-Г. Киркора. Истории их бурных отношений посвящены книги: Kirkor, S. *Przeszłość umiera dwa razy*. – Kraków, 1978; Мальдзіс, А. *Восень пасярод вясны*. – Мінск, 1984.

<sup>64</sup> Под таким названием шла пьеса А.-Ф. Деннери и Г. Лемуана «Божья милость, или Новая Фаншон», пользовавшаяся значительной популярностью.

<sup>65</sup> «Отцовское проклятие» – пьеса Ж.Ф.А. Баяра.

<sup>66</sup> Марковская (в замужестве Боравская) Эмилия (1826–1870) – актриса.

<sup>67</sup> Баранов – советник Виленской казенной палаты, назначенный директором Виленского театра в 1845 г.

исполнялись в Вильне с точностью, удивлявшею многих иностранцев. Потеря Кажинского вообще весьма ощутительна для Вильны, а память о нем незабвенна для любителей изящного.

**А.Г. Киркор**

«Северная Пчела», 1846, № 77

*Письмо к издателям из Вильны,*

**О благотворениях и пособиях неимущим в нынешнее время**

Город наш и вся губерния в настоящее время подверглись плачевной участи двухлетних неурожаев, которые породили необыкновенную дороговизну на все вообще жизненные припасы. Не токмо низший класс лишился возможности пропитывать себя и свои семейства, но даже и средний пришел в величайшее затруднение, а престарелые, увечные, бесприютные, не имеющие никаких средств прокормления себя, должны были предать участь свою или, лучше сказать, самую жизнь в руки благотворителей.

Если бы не щедроты великодушного Монарха, если бы не постоянная и редкая заботливость о благе общем Гг. Виленского Военного Губернатора и Генерал-Губернатора Ковенского, Минского и Гродненского, Федора Яковлевича Мирковича<sup>68</sup>, и Начальника Виленской Губернии, Николая Арсеньевича Жеребцова, край наш, и в особенности город Вильно, сделавшийся центром стечения всех неимущих и беспомощных не только из целой Виленской, но даже и из смежных с нею Губерний, представлял бы самую плачевную картину, и тысячи бедных могли бы сделаться жертвою недостатка.

В начале Января, Товарищ Министра Внутренних Дел, Г. Тайный Советник Иван Григорьевич Сенявин<sup>69</sup>, прибывший по Высочайшему повелению для подаяния помощи нуждающимся, убедившись лично о постигшем Виленскую Губернию несчастьи, вручил Г. начальнику губернии дарованную Его Императорским Величеством сумму 5,000 тыс. руб. сер., предназначенную на безвозвратное пособие неимущим. Эта значительная помощь послужила основным камнем спасения многих несчастных семейств и доставила возможность начальнику губернии учредить немедленно во всех уездах временные комитеты призрения бедных под председательством Предводителей Дворянства с целью охранения бедных жителей до будущей жатвы,

<sup>68</sup> Миркович Федор Яковлевич (1789–1866) – генерал от инфантерии, виленский военный губернатор и генерал-губернатор ковенский, минский и гродненский (1840–1850).

<sup>69</sup> Сенявин Иван Григорьевич (1801–1851) – тайный советник, товарищ министра внутренних дел (1844–1851). В 1845–1846 гг. посещал Виленскую губернию для изучения обеспеченности ее населения продовольствием.

т.е. до 1-го будущего Августа, и увеличения капиталов постоянным сбором посильных приношений от благотворительных лиц.

В городе Вильно открыт Комитет 26-го Января под председательством Виленского Губернского Предводителя Дворянства Ф.М. Минейко<sup>70</sup>; членами сего Комитета изъявили желание быть: Действительный Статский Советник Рудомино<sup>71</sup>, Коллежский Советник Князь Л.П. Витгенштейн<sup>72</sup>, Виленский Уездный Предводитель Дворянства Цехановецкий<sup>73</sup>, Попечитель Виленского Еврейского Госпиталя Сидорович<sup>74</sup>, Коллежский Ассесор Шкультецкий, пастор Реформатской Церкви Липинский<sup>75</sup>, Градской Глава Страуз<sup>76</sup> и лекаря Викржицкий и Вихонский.

«На земле нет ничего прекраснее благотворительного женского сердца», – сказал однажды один из издателей «Северной Пчелы»<sup>77</sup>. В самом деле, что может быть благороднее, возвышеннее, прекраснее, как сострадательное женское сердце?.. Оно, как неиссякаемый источник благодеяний, таит в недрах своем всегда готовые помощь, утешение, надежду! Изыскательность женщин в облегчении участи страждущих – необыкновенна, а решимостью и постоянством в приведении в действие благих этих намерений они всегда превосходят мужчин. У нас примером всего этого может служить Ея Превосходительство Амалия Николаевна Миркович<sup>78</sup>, супруга Г. Виленского Военного Губернатора. С нежною заботливостью и материнскою попечительностью постоянно занимаясь судьбою страждущих, в нынешнее время она нашла обильную пищу для своего сострадательного сердца. Не исчисляя множества почти ежедневных случаев, в коих она простирает руку помощи, мы упомянем только о представлении в пользу бедных, устроенном ею заботливостью и старанием из любителей, данном 7-го Февраля на

<sup>70</sup> Минейко Томаш (Фома Михайлович) (1806–1855) – виленский уездный предводитель (1840–1843), затем губернский предводитель дворянства (1843–1846).

<sup>71</sup> Рудомино Иван Станиславович – действительный статский советник, почетный член попечительства виленских детских приютов.

<sup>72</sup> Витгенштейн Лев Петрович (1799–1866) – князь, сын фельдмаршала П.Х. Витгенштейна, наследник (по жене) имений князей Радзивиллов.

<sup>73</sup> Цехановецкий Ян (Иван Казимирович) – виленский уездный предводитель дворянства (1843–1846).

<sup>74</sup> Сидорович Станислав Яковлевич – губернский секретарь, попечитель виленского Еврейского госпиталя.

<sup>75</sup> Липинский Стефан (Степан Осипович) – член евангелико-реформатской коллегии, с 1855 г. – виленский вице-суперинтендант.

<sup>76</sup> Страуз Мартин Христианович – виленский городской голова во второй половине 1840-х – первой половине 1850-х гг., действительный член попечительства детских приютов.

<sup>77</sup> Вероятно, намек на один из фельетонов Ф.В. Булгарина.

<sup>78</sup> Миркович Амалия (Мария-Амалия) Николаевна (урожд. Бодиско) (1799–1857) – жена Ф.Я. Мирковича (с 1817 г.).

здешнем городском театре («Сомнамбулы», комедия в 2-х действиях, соч. Скриба<sup>79</sup>, и нескольких арий из новейших опер, исполненных любителями). Публика умела вполне оценить прекрасную цель благородной покровительницы несчастных, и представление доставило дохода, по отчислении издержек, 305 р. 45 коп. сер.

Пример этот породил общее соревнование. Избранные Комитетом коллекторы, в числе четырнадцати, из молодых дворян собрали благотворительных приношений уже до 1,600 р. сер. Здешнее Дворянское Собрание в залах своих дало два бала, доставивших 399 р. 90 коп. сер.; кроме этого, известный в музыкальном мире талантливый композитор Станислав Моношко устроил концерт, принесший 135 р. с., а Граф Иван Тышкевич<sup>80</sup> пожертвовал единовременно 200 руб. и столько же для бедных Евреев.

Губернский Предводитель Дворянства Г. Минейко и Князь Витгенштейн при содействии целого состава временного Комитета и значительными собственными издержками устроили в городе Вильно, в здании бывшего Анатомического Театра, Временный Дом Приюта для призрения бедных, в котором находят притон и прокормление разного звания и состояния около 300 человек обоего пола и сверх того ежедневно собирается около 600 человек, получающих пищу, а некоторые, совершенно обнаженные, и необходимое платье. Умилительно и трогательно зрелище, когда благородные дамы, из лучшего общества, *сами* раздадут пищу этим несчастным! Комитет с постоянною заботливостию занимается всеми подробностями содержания этого дома и снабжением его всем необходимым. Один из членов всегда присутствует во время обеда, а лекаря из членов Комитета ежедневно посещают недужных, для которых тут же устроена временная больница. Число нищих увеличивается с каждым днем, но вместе с тем почти с каждым же днем возрастают и приношения. Во время масляницы некоторые промышленники пожертвовали в пользу бедных значительное количество говядины и пива; таким образом, нищие в эти дни общего увеселения имели не только необходимую, но даже по их состоянию и роскошную пищу.

Независимо от всех изложенных мер, принятых в отвращение гибельных последствий голода для Христиан, Еврейское Общество в Вильно сделало не менее важные, по соразмерности средств своих, пожертвования в пользу своих единоверцев. Почтенный обыватель города Вильно, купец Манасеевич, подал первую мысль составить коллекту в пользу неимущих собратьей; но дабы облегчить приношения, Еврейское Общество составило раскладку ежемесячных пожертвований, соразмерных со способами и со-

<sup>79</sup> Скриб Огюстен Эжен (1791–1861) – французский драматург.

<sup>80</sup> Возможно, граф Тышкевич Ян-Витольд-Эмануэль (Иван Иосифович) (1830 или 1831–1892) – сын ошмянского уездного предводителя дворянства Ю. Тышкевича, либо его дядя граф Ян Константы Тышкевич (1801–1862).

стоянием каждого; разложенная на сем основании сумма составляет ежемесячно до 800 р. сер. в пользу нищих. Из Всемиловейше пожалованной суммы для безвозвратного пособия уделено для Евреев 200 р. Из этих сумм постоянно призревается 191 ребенок, и сверх того двумстам детям отпускается хлеб на квартиры, и, по мере возможности, уделяется пособие и престарелым или увечным Евреям. Виленские купцы Иохель Данциг и Маркус Страшунский отличаются в особенности своим человеколюбием, как понесенными собственными значительными издержками, так и постоянною заботливостию при сборах и благородном употреблении оных.

При неутомимой бдительности Правительства и благородном соревновании богатейших жителей можно надеяться, что голод, подавленный, так сказать, в самом начале ограждением существования многих находившихся под гнетом судьбы семейств, не расширяет своих губительных следствий, и несчастные жертвы его, благословляя руку дающего, проживут беззаботно на лоне призрения до будущего, столь многими ожидаемого урожая.

«Северная Пчела», 1846, № 84

**Виленские детские приюты**  
(Письмо к издателям)

Позвольте поделиться с вами чувствами, которые невольно овладели моею душою при посещении здешних Детских Приютов. «Северная Пчела», как истинное эхо всего прекрасного и высокого, как могучий двигатель не одного благотворительного предприятия, не откажет, я уверен, в гостеприимстве этим нескольким строкам. «Достоин хвалы», сказал один писатель, «и одно зерно, брошенное на ниву благотворительности». А как знать, может быть, это зерно, мною бросаемое, породит новые приношения, возбудит новое соревнование к облегчению участи угнетенного нуждою *юного поколения?*.. Прочитав отчет по управлению Виленских Детских Приютов в 1845 году, я невольно призадумался. Каким образом до сих пор не пришло мне в голову осмотреть эти заведения, имеющие такую благую цель? И, воспользовавшись первым удобным случаем, я отправился во Второй Приют, в котором в этот день собраны были дети из обоих Приютов по случаю смерти смотрительницы Первого Приюта, Г-жи Брунер<sup>81</sup>.

Моим глазам представилось умильное зрелище: *девятью пять* мальчиков и *сто тринадцать* девочек, от двух до тринадцати лет, стояли чинно и стройно между скамейками, устроенными в виде амфитеатра, и по данному колокольчиком знаку в один голос приветствовали меня: «Здрав-

<sup>81</sup> Брунер (Бруннер) Анна Христиановна (?–1846) – смотрительница Первого Виленского приюта.

ствуйте!» Я всматривался в этих малюток, совершенно одинаково одетых, и никак не мог различить мальчика от девочки, Христианина от Еврея. Смотрительница этого Приюта, Г-жа Анна Цеханович<sup>82</sup>, предложила мне сделать маленькое испытание детям. Я сделал несколько вопросов из Русской Истории, и дети все в один голос отвечали мне безошибочно. Удивительна метода взаимного обучения! Потом я спросил кое-что из Географии, и также получил удовлетворительные ответы.

Я всегда с истинным чувством и восторгом слушаю народный гимн наш: *Боже, Царя храни!* Но никогда еще, кажется, не произвел он на меня такого глубокого впечатления, как в это время, когда он исполнен был малютками. В этой хвале Державному Покровителю своему, юное поколение, казалось, изливало посильную дань благодарения за Его щедроты!

В двенадцать часов дети в стройном порядке отправились в столовую, где после пропетой молитвы сели за стол. Подали суп со сметками и кашу. Я попробовал одно и другое блюдо: вкусно, хорошо. Хлеб тоже очень хороший. В это же время в другой комнате обедали Еврейские дети. Кушанье для них готовится Евреем, согласно обрядам их веры, в особой посуде и из дозволенных им припасов (*кошерных*). Помещение весьма удобное и чистое. На каждом шагу видны заботливость и старания Смотрительницы, женщины весьма образованной и с материнскою нежностью пекущейся о вверенных ее надзору детях. Быть руководительницею младенцев-сирот и несчастных – какое важное и прекрасное назначение! Чтоб покороче познакомить Вас с Виленскими Детскими Приютами, я должен заимствовать некоторые сведения из отчета о них за 1845 год. В городе Вильне, в ведении Попечительства, находятся *два* Детские Приюта. Попечительницею их супруга начальника Виленской Губернии, М.Н. Жеребцова<sup>83</sup>; Директор, Статский Советник А.А. де Роберти<sup>84</sup>; Преподаватели Закона Божия: Вице-Президент Литовской Консистерии Плакид Янковский<sup>85</sup>; Кафедральный Протоиерей Гомолицкий<sup>86</sup>; Каноник Маркевич<sup>87</sup> и Декан города Вильны Вроблевский<sup>88</sup>.

<sup>82</sup> Цеханович Анна Матвеевна – смотрительница Второго Виленского приюта.

<sup>83</sup> Жеребцова Мария Николаевна – жена Н.А. Жеребцова.

<sup>84</sup> Де Роберти Александр Адольфович – статский советник, председатель Виленской казенной палаты.

<sup>85</sup> Янковский Плакид (1810–1872) – польский и белорусский религиозный (униатский) деятель и писатель.

<sup>86</sup> Гомолицкий Виктор – кафедральный протоиерей, член Литовской консистории (либо Гомолицкий Ипполит – также кафедральный протоиерей, член Литовской консистории).

<sup>87</sup> Маркевич Ян – каноник, учитель Закона Божия римско-католического вероисповедания в Первом приюте.

<sup>88</sup> Вроблевский Александр – магистр богословия, декан г. Вильно, учитель Закона Божия римско-католического вероисповедания во Втором приюте.

В Приютах находятся 92 мальчика и 113 девочек. Все они на продовольствии заведений, и получают приличное верхнее платье. Еврейских детей 40 человек. «Сближение их», сказано в отчете, «с детьми Христианских вероисповеданий, искореняя врожденные заблуждения и вкорененные самыми родителями суеверие и предрассудки, много содействует к улучшению их нравственности».

Виленские Детские Приюты получают содержание от щедрот Всемилостивейшего Монарха и из благотворительных приношений. Общий доход Приютов в 1845 году составлял 3,856 р. 5 к. сер., а общий капитал, по отчислении всех издержек, в том же году простирается до 15,117 р. 61 к. сер.

«Вообще», сказано в отчете, «Детские Приюты в городе Вильне в моральном и существенном отношении, достигли полной степени развития и соответствующего цели положения. Жители города Вильны извлекают несомненную пользу из этого благодетельного для них учреждения; польза эта еще явственнее в нынешнее время, когда многие семейства, поверженные в крайнюю нищету, с радостью и чувством признательности, видят чад своих призренными, довольными, здоровыми, врачуемыми и видимо совершенствующимися в первоначальном образовании и нравственности».

«Готовность и желание отдавать детей своих в Приюты равно отличает все сословия, не исключая и Евреев, кои, отбросив на этот раз свой фанатизм, видя счастье детей своих, забывают о тяготеющих над Верою их предрассудках и, подав руку братьям нужды, Христианам, с глубоким чувством вместе с ними хвалят руку дающего!»

С своей стороны мы обязаны прибавить, что Виленские Детские Приюты наиболее обязаны своим благосостоянием постоянной заботливости, сопряженной, так сказать, с некоторым самоотвержением, Ея Превосходительства Марии Николаевны Жеребцовой и Александра Адольфовича де Роберти.

Примите уверения, и проч.

А.Г.К.

#### Приложение 4

#### Письма Ф.В. Булгарина А.-Г. Киркору

Письма Ф.В. Булгарина А.-Г. Киркору публикуются нами по оригиналам, хранящимся в Литовском национальном историческом архиве (Вильнюс) в фонде Общества друзей наук (ф. 1135). Впервые на существование этих писем публикатору было указано И.Н. Запрудским. Письма хранятся вложенными в лист с печаткой известного литератора и коллекционера конца XIX в. Александра Ельского, от которого, вероятно, они и попали в коллекцию Общества.

Письма впервые публикуются полностью. Пользуясь случаем, публикатор благодарит Д.Ч. Матвейчика, оказавшего содействие в расчитывании рукописей и переведшего их на русский язык, а также А.И. Рейтבלата и П.М. Лавринца за консультации.

*LVIA, f. 1135, ap. 2, b. 1, p. 315–316.*  
Милостивый и любимый Государь!

Все статьи, присланные Вами ко мне, сразу же, как Вы могли видеть, были помещены в «Пчеле»<sup>89</sup>. Что же касается выпуска Польского периодического издания в столице, то я не вижу никаких средств, особенно после последних событий на родине<sup>90</sup>, а также я не могу поместить и Вашего очерка Польской Литературы<sup>91</sup>, так как неизвестно, нет ли среди упомянутых живущих писателей скомпрометированных людей, и вообще говоря, Польская Литература в России не является а *progos*<sup>92</sup>. Вы поручили свои дела Кажинскому<sup>93</sup>. Это хороший человек, но ветренный и необыкновенно рассеянный, а теперь, когда он получил место дирижера оркестра в Театре<sup>94</sup>, ему тем более не до дел. Я сильно удивляюсь, что Глюксберг<sup>95</sup> не может напечатать Ваши *Петербургские впечатления*<sup>96</sup>. На родине это удалось бы лучше. Я не видел проспекта, хотя Вы и писали мне, что Кажинский должен был мне показать. Не могли бы Вы прислать мне какой-нибудь отрывок по-русски для «Пчелы»?

Я посылаю Вам полномочия в деле с Гоувальтом<sup>97</sup>. Он лжет, что у него ничего нет кроме пенсии. В любом случае у него есть капиталы, заложенные на Булгариновских владениях на Жмуди – Жогинях Малых. Возможно ли

<sup>89</sup> Вероятно, имеются в виду статьи Киркора, опубликованные в январе – апреле 1846 г. и републикуемые нами в данном издании в приложении № 3 к статье «Земляки».

<sup>90</sup> Скорее всего, речь идет о раскрытой в конце 1830 – начале 1840-х гг. конспиративной сети под руководством Шимона Конарского.

<sup>91</sup> Вероятно, Киркор намеревался дебютировать в русскоязычной журналистике, позиционируясь как польский журналист. Так в свое время дебютировал и сам Булгарин (см.: Краткое обозрение Польской словесности. Статья, помещенная в № 31 и 32 Журнала «Сына Отечества». Сочинение Фадея Булгарина. – СПб., 1820).

<sup>92</sup> Кстати (фр.).

<sup>93</sup> Имеется в виду Виктор Кажинский.

<sup>94</sup> В.М. Кажинский служил дирижером в императорском Александринском театре.

<sup>95</sup> Глюксберг Теофил (1796–1876) – книготорговец, издатель, содержатель типографии.

<sup>96</sup> Имеется в виду цикл очерков А.-Г. Киркора, посвященный его поездке в Петербург. Очерки были опубликованы в журнале Ю.И. Крашевского «Atheneum».

<sup>97</sup> Гоувальт – неустановленное лицо.



продать кому-либо претензию на Гоувальта за наличные деньги? Это было бы лучше всего, а если это невозможно, подайте просьбу, чтоб не окончился срок давности. В любом случае мне Россиенским судом назначена традиция<sup>98</sup> на Жогинях, которые арестованы Гоувальтом за его долг у Булгариных. Поэтому она ненадежна. Попроси почтенного Губернатора<sup>99</sup> вступить за меня. Завтра я выезжаю в свое Карлово около Дерпта на все лето, и буду отсюда писать Губернатору. Будьте любезны, Милостивый и уважаемый Государь, не пренебрегайте этим моим делом. Пишите мне *в Дерпт*.

Если я могу быть Вам полезен, с наибольшим удовольствием я готов на все. Я не знаю, получает ли Глюксберг «Пчелу», я приказывал посылать, хоть и не вижу «Atheneum»<sup>100</sup>. Сделайте одолжение, спросите Глюксберга, не хотел бы он поторговать со мной взамен на Русские книги. Я выпишу из присланного мне каталога те из Польских книг, что мне необходимы, – на такую же цену, за исключением процентов, пришлю Русские книги.

Вверяю себя Вашей дружбе и остаюсь с привязанностью и уважением Вашим слугой  
Булгарин

NB. Ради Бога умоляю, доберитесь хорошенько до Гоувальда. Это большой негодяй и с ним не церемониться нужно, если он говорит, что не хочет платить, а продать имение с публичных торгов.

*LVI A, f. 1135, ap. 2, b. 1, p. 317–318.*  
Милостивый и любимый Государь!

В плохие времена Вы собрались в путешествие по Океану Литературы на Польском корабле! Сейчас не время издавать Польские газеты, когда наши земляки неразумно прилагают усилия, чтобы навлечь несчастья и ненависть господствующих народов не только на все поколение, но и на само Польское имя! Я даже заболел, когда до нас дошла весть о сумасшедших действиях Занеманских Ляхитов! Это настоящая Божья кара за преступления наших предков, потому что, как утверждает польская поговорка, когда Господь хочет покарать человека, то сначала отбирает у него разум! – Однако, из-за настоящей привязанности к Вам, я прилагал усилия, материальные доказательства чего представляю, а в том, что они не имели успеха, нет моей вины. Я не хочу тешить Вас фальшивой надеждой – и скажу открыто, что

<sup>98</sup> Юридический термин от «ex traditione» (лат.) – право занятия имущества должника кредитором по решению суда до момента возврата долга.

<sup>99</sup> Виленским губернатором в данный период был Н.А. Жеребцов.

<sup>100</sup> «Atheneum» – журнал, издававшийся Ю.И. Крашевским в 1841–1851 гг.

я не надеюсь, что хоть когда-нибудь будет разрешен выпуск в Петербурге Польского издания, если же Вы хотите постоянно работать в отечественной Литературе, у Вас есть оружие: *Русский язык*, которым Вы владеете намного лучше многих Русских Литераторов! Правда, сейчас плохие времена и для Русской Литературы, так как толстые газеты поглощают все лучшее, и публика охладела к отдельно выходящим произведениям. Однако с талантом и желанием к прозам можно еще найти надлежащее место в Литературе. Что касается дела с Гоувальтом. – Господин Кристоф Гоувальт (*entre nous soit dit*<sup>101</sup>) – это человек, которому ни в чем нельзя верить, человек без чести и совести. Это черта семьи Гоувальтов! Он будет обещать все, но ничего не делает. Я согласен, чтобы он мне заплатил 1305 рублей серебром<sup>102</sup> по постановлению Россиенского суда – частями, по 300 рублей серебром в год – и без процентов, но пусть он также *напишет на гербовой бумаге*<sup>103</sup>, *зарегистрирует в суде и внесет залог на все свое имение*. Поэтому Вам не требуются никакие полномочия, но если он не захочет дать документ и первой части денег, соизвольте сразу же сообщить мне, и я тогда вышлю полномочия – и буду просить Вас преследовать Гоувальта, как кабана в Беловежской пушче. Он издевается над моей терпеливостью. Я же совсем не имею желания делать подарки Господину Гоувальту, который получил наследство от Булгаринных – и насмехается над Булгаринными.

*Об изъянах Петербурга* – я ничего не слышал от Господина Кажинского. Господина Эйнерлинга<sup>104</sup> я не знаю и даже никогда не видел, но знаю, что он издает только книги *по-Русски*, на продажу. Другие же издатели, как Ольхин<sup>105</sup>, за издание Польской Книги не возьмутся, так как у них нет никаких сношений с провинциями, что говорят по-Польски. Сколько раз здешние издатели пытались завязать отношения с Польскими издателями, столько раз они были обмануты и ободраны Глюксбергами и другими<sup>106</sup>. Когда я сказал

<sup>101</sup> Между нами будет сказано (фр.).

<sup>102</sup> В Российской империи рубль имел две формы хождения – ассигнациями и серебром.

<sup>103</sup> Гербовая бумага – специальная бумага, предназначенная для написания актов. Использовалась также для написания векселей и текстов договоров.

<sup>104</sup> Эйнерлинг Иван Федорович (?–1854) – российский книгоиздатель.

<sup>105</sup> Ольхин Матвей Дмитриевич (1806–1853) – российский книготорговец и издатель.

<sup>106</sup> Отношения между польскими и петербургскими книгоиздателями и книготорговцами действительно не ладилась. В частности, известно, что комиссионером по продвижению польских книг на петербургском рынке пытался быть будущий крупный виленский историк М. Малиновский, в 1824–1829 гг. проживавший в Петербурге (в том числе на квартире у Булгарина). См., например, об этом в его письме И. Лелевелю от 20 июня 1828 г. (*Вл, rkps 4435, k. 591–593*). Потерпел фиаско и такой крупный издатель, как Ю. Завадский: и ему не удалось наладить полноценную книжную торговлю в Петербурге, ограничиваясь пересылкой книг оказией и по почте и книгооб-

Ольхину, он ответил, что если б ему *заплатили*, он не возьмется за издание Польских книг, хотя бы для того, чтоб не обращать на себя внимание, что у него есть какие-то дела с Поляками. – Даже превосходную Вашу статью о Польской Литературе я не могу сейчас печатать в «Пчеле», так как это было бы *mal a propos*<sup>107</sup> в теперешних обстоятельствах.

Говоря вообще, в Русской Литературе, в службе и во многих делах я могу быть Вам полезен, и буду рад, если сделаю что-нибудь хорошее для Вас, но в Польской Литературе – *Nihil*<sup>108!</sup> – Польская Литература воспринимается здесь как Чухонская и Латышская и еще меньше обращает на себя внимания и протекции, так что здесь можно сделать! Хотят, чтобы в Российском государстве писали и говорили по-Русски, а кто этого не желает, должен стоять в стороне. Я пишу Вам открыто, я считаю грехом обманывать лживыми перспективами и обещаниями. Во всем я всегда поступаю искренне. От Камчатки и до Немана – Россия, за Неманом – принадлежащее России Царство Польское. В России *нет иного языка, кроме Русского*, а в Царстве Польском позволяют использовать Польский язык, но и этого я не знаю с точностью. Только молиться можно на каком бы то ни было языке, а потому и Польская Литература – это *явление партикулярное*, не подлежащее опеке правительства, если *Польского языка нет в школах*. Это чистая Логика! Чего же Вы можете ожидать с Польским языком? Благодарите Бога, что он дал Вам знание господствующего языка! – Пиши по-Русски!

---

меном. При этом его комиссионерами выступали преимущественно его и Малиновского виленские знакомые, о чем свидетельствует, в частности, письмо Завадскому от Ф. Малевского (от 23 июля / 4 августа 1836 г.): «...Данных [мне] поручений я не выполнил. Греч на даче, за городом, сюда его вызвать трудно, до сих пор не удалось, поэтому я написал ему письмо. Но это не должно сильно задержать [решение вопроса?]. Греч мне хорошо знаком, обязательно прослежу, чтобы требуемые книги он как можно скорее выслал, чтобы дошли в срок. Утром его обязательно увижу. О скидке, однако, ничего не знаю и сомневаюсь, чтобы была такая же, как немецкая (вероятно, речь идет о скидках немецких партнеров Ю. Завадского. – А.Ф.). Греч статский советник etc. etc. Труднее с поиском человека для дальнейшей книжной корреспонденции. Здесь только два российско-европейских книготорговца, Сленин и Смирдин, особенно первый. <...> Он выражает готовность высылать любые книги за наличные деньги, гораздо менее охотно берет на комиссию. Говорил мне даже, что брал бы польские книги на комиссию и взамен посылать русские, если бы это только происходило регулярно» (цит. по: Archiwum filomatyw. – Listy z zesłania, t. III, Warszawa, 1999. – S. 359).

<sup>107</sup> Здесь – «нежелательно» (фр.).

<sup>108</sup> Ничего (лат.).

Я не читаю «*Dziennik Petersburski*»<sup>109</sup>, потому что он глупый, и польский язык Пшецлавского<sup>110</sup> мне не нравится, потому что он напыщен и преувеличен, но мне сказали, что там объявлено, что мои *Воспоминания* будут переводиться в Варшаве<sup>111</sup>. Я не знаю, правда ли это. Я же даю Вам полное право переводить и делать с моими воспоминаниями, что Вы сами пожелаете. Вы должны были вернуться в Петербург, если осядете, я усыновлю Вас Литературно – и буду делать, что возможно, чтобы Вы нашли себе карьеру, достойную Вашего ума и знаний!

С нетерпением ожидаю ответа.

С большим уважением и привязанностью

имею честь быть настоящим

слугой

Булгарин

*Петербург*

15 Марта 1846 года

*LVI A, f. 1135, ap. 2, b. 1, p. 319.*

Милостивый Государь Благодетель!

Книги – «Памятная книжка Виленской губернии» – я получил, благодарю за них и буду говорить об этой красивой и полезной работе.

Мой друг, один из славных сыновей нашего народа Господин Аполлинарий Контский выехал отсюда в Вильно. На следующий день после его выезда я сильно и неожиданно заболел и не мог выслать брошюрок<sup>112</sup>. Сегодня я высылаю почтой. Но я не знаю, примут ли такой груз. Когда, Господин Благодетель, Вы получите эту посылку, прошу отдать Господину Контскому, если он находится в Вильно, а если выехал, прошу переслать за мой счет туда,

<sup>109</sup> Ф.В. Булгарин спутал название газеты: как следует из контекста, речь идет о газете «*Tygodnik Petersburski*».

<sup>110</sup> Пшецлавский Юзеф Эмманюэль (Пржецлавский Осип Антонович) (1801–1880) – польский журналист и писатель, российский цензор, редактор газеты «*Tygodnik Petersburski*», директор канцелярии Государственного Секретариата Царства Польского в Петербурге, мемуарист.

<sup>111</sup> «Воспоминания» – речь идет о книге «Воспоминания Фаддея Булгарина. Отрывки из виденного, слышанного и испытанного в жизни» (6 ч.), изданных в Петербурге в 1846–1849 гг. К моменту написания данного письма вышли два первых тома. Отдельного издания воспоминаний Булгарина на польском языке не появилось, однако фрагменты публиковались в 1846 г. в «*Roczniku Literackim*» и «*Bibliotece Warszawskiej*».

<sup>112</sup> Речь идет о брошюре Ф.В. Булгарина «Аполлинарий Контский», вышедшей в Петербурге в 1852 г. вторым изданием.

где будет Господин Контский. Он летает, как птица над Землей, и надо быть чертом, чтоб поймать его. Прошу Вас сделать для него, что можно. Это непочтеннейший человек и первый артист в мире, но как артист – разбалованный ребенок. Прошу сообщить мне о получении брошюрок и о пребывании в Вильно Господина Контского.

С должным уважением  
остаюсь  
нижайшим слугой  
Тадеуш Булгарин  
Санкт-Петербург  
1 Мая 1852 года

NB. Остальные брошюрки я перешлю, куда скажет Господин Контский<sup>113</sup>.

*LVIA, f. 1135, ap. 2, b. 1, p. 321–322.*

*из Петербурга, 22 Мая <1852 г.>*

Милостивый и уважаемый Государь!

Когда два Ваши письма пришли в Петербург, я лежал сильно больным. Я был уже немного нездоров и во время проезда через Петербург Господина Контского, но только 8 Мая меня поразила тяжелая болезнь. 24 часа я лежал совершенно без чувств. Теперь мне не слишком плохо и уже 24 Мая в «Пчеле» будет моя статья. До сего времени ничего не было.

Меня весьма потешило известие о триумфе Господина Контского. Это действительно почтенный и благородный Польский шляхтич и к тому же *первый* в мире артист. Пусть Господин Монюшко, хотя и человек с талантом, кричит и верещит с Еврейкой и Еврейчиками Венявскому – только один Паганини<sup>114</sup> может сравниться с Контским! Так о нем судят во всем мире и в России люди, которые не менее сведущи в музыке, чем Господин Монюшко<sup>115</sup>. И Господин Аполлинарий Контский зря делает, когда беспоко-

<sup>113</sup> Надписано по левому полю страницы сверху вниз.

<sup>114</sup> Паганини Никколо (1782–1840) – итальянский скрипач-виртуоз и композитор.

<sup>115</sup> С. Монюшко встречался с Х. Венявским во время гастролей его семьи в Вильно и играл с ним в одних концертах, а затем в Варшаве, где служил дирижером. В целом к семье Венявских Монюшко относился восторженно, чего не скажешь о его отношении к семейству Контских. В частности, в письме А. Валицкому от 11 июня 1852 г. Монюшко с удивлением пишет: «Венявские по сравнению с прошлым годом совершили огромный прогресс: малыши усердно работают. – Но вот несчастье с другой стороны! Хенрик, скрипач, решил выступить вместе с Контским! Что так фатально вынуждает его приспосабливаться к аплодисментам публики, что, несмотря на

ится из-за глупых интриг Еврейчиков<sup>116</sup>. Без интриг и неприятелей не может существовать не только гений, но и талант. Напрасное беспокойство! Надо немного пострадать от Зависти!

Господин Контский при своем гении, хорошей голове и наилучшем сердце является человеком нервным, слабого здоровья, разбалованным публикой и нетерпеливым до наивысшей степени! В последнем письме Вы пишете, что я не должен высылать брошюры с его Биографией, но он мне приказывал высылать!!! Несколько тысяч брошюр лежат где-то на Почте, в глубине России<sup>117</sup>! Господин Контский пишет, высылать ему в тот или иной город – *poste-restante*<sup>118</sup>, а этой *poste-restante* вообще нет в России! Он летает как ветер по земным пространствам и никакое письмо нигде его не словит, так как он нигде не оседает. Я удивляюсь, что Господин Контский просит у меня разрешения перевести мою брошюру на Польский язык! В любом случае, я писал для *его*, а не для *моего* употребления! Переводите хоть на Калмыцкий, лишь бы принесло пользу Контскому. Литографию с портретом Контского я Вам вышлю. Переводя брошюру, добавьте от себя, в роде приложения, как статьи Улыбышева<sup>119</sup> и Князя Голицына<sup>120</sup> – о пребывании Контского в Литве – в общих чертах. Ваша статья напечатана в «Пчеле», но потому как я не мог держать корректуру, была сделана ошибка, которая сегодня исправлена. Посылаю две вырезки из «Пчелы». Письмо о фальсификации Пицци уже напечатано в одной газете. У нас нет обычая, как во Франции, *перепечатывать* статьи из другой газеты, но я расскажу все *своими* словами.

Если любимый Аполлинарий еще находится в Вильно, прошу Вас обнять его от меня и принести поклоны от всей моей семьи, потому что Конт-

грязь, окружающую подобных шарлатанов (а особенно в таком маленьком городе, как Вильно), что и неблагоприятный к талантам суд склоняется, суд... если судом можно назвать бессмысленное посещение или воздержание от посещения концертов. Играли два раза при едва наполовину заполненной зале» (цит. по: Moniuszko, S. Listy zebrane. – Kraków, 1969. – S. 182).

<sup>116</sup> Намек на еврейское происхождение Х. Венявского. Его дед, Гириш Мейер Хельман, был цирюльником в предместье Люблина Веняве. Отец музыканта, Вольф Хельман, сменил имя на Тадеуш Венявский. Матерью Хенрика стала дочь еврейского врача из Варшавы Юзефа Вольфа Регина (сестра проживавшего в Париже музыканта и композитора Эдварда Вольфа и петербургского книготорговца и издателя Морица (Маврикия) Вольфа).

<sup>117</sup> Брошюра Ф.В. Булгарина «Несколько слов об Аполлинарии Контском» вышла в Харькове в 1851 г. – отсюда, вероятно, и слова о том, что она лежит «в глубине России» (указано А.И. Рейтблатом).

<sup>118</sup> Почта до востребования (фр.).

<sup>119</sup> Улыбышев Александр Дмитриевич (1794–1858) – писатель и музыкальный критик.

<sup>120</sup> Голицын Николай Борисович (1794–1866) – князь, переводчик и музыкальный критик.

ского в моем доме любят, как брата, а жена любит его, как сына. [2 нечит.] – я уже устал – так как я еще слаб!

Настоящий слуга и друг  
Тадеуш Булгарин

NB. Когда Вы будете писать мне, то адресуйте не Надворному, а Статскому Советнику<sup>121</sup> – а то письмо отдадут другому Булгарину.

NB NB. На счет Ваших рассуждений в письме ко мне о прежних судьбах Литвы, я придерживаюсь противного мнения. Цивилизация шла с Запада на Север, в Литовские леса и болота. Вильно сделало много для просвещения родины – но шляхта была и есть темной и глупой!

*LVI A, f. 1135, ap. 2, b. 1, p. 324–325.*  
Милостивый Государь!

Я Вам весьма благодарен за Ваше милое письмо и за присланные произведения Господина Ходзьки<sup>122</sup>. Я их читаю с наибольшим удовольствием и признаюсь Вам, что нахожу в Господине Ходзьке большой талант рассказчика и глубокие знания о родине и ее старинных обычаях. У меня даже есть намерение перевести для моей «Пчелы» возвращение товарища из военной экспедиции в родительский дом<sup>123</sup>. Это представлено красиво! Но то, что я прочитал до сего дня, мне все нравится!

Соизвольте, Милостивый Государь, сообщить мне, не является ли этот Господин Ходзько сыном того минского президента, что написал комедию *Ступайло*<sup>124</sup>? Я знал почтенного старика!

У меня есть несколько десятков старых Польских книг, но, не имея никаких сношений ни с Вильно, ни с Варшавой, я не знаю новых исторических произведений, которые меня интересуют. Вы хорошо знаете, что до того времени, как я осел в Петербурге, я провел все время за границей – и в Вильно у меня нет знакомых. Жил у меня в Петербурге и даже под моей

<sup>121</sup> Булгарин был пожалован в статские советники 4 мая 1852 г. и, вероятно, впервые сообщает об этом в письме А.-Г. Киркору, что позволяет датировать письмо 1852 г. (замечено А.И. Рейтблатом).

<sup>122</sup> Ходзька Игнаций (1794 или 1795–1861) – писатель и общественный деятель.

<sup>123</sup> Вероятно, речь идет о рассказе И. Ходзьки «Возвращение наследника» («Powrót dziedzica»).

<sup>124</sup> Ходзька (Борейко-Ходзька) Ян (1777–1851) – писатель и общественный деятель; занимал пост председателя (президента) Главного гражданского суда в Минске (1811–1826). И. Ходзька был сыном двоюродного брата Я. Ходзьки Антония.

опекой Миколай Малиновский, но когда он выехал из Петербурга и сделался [большим] Господином – забыл обо мне и даже ни разу не написал<sup>125</sup>!!! Это сильно меня сразило, и я прекратил всякую корреспонденцию с Вильно. В Петербурге есть Еврейчик Вольф<sup>126</sup>, брат Госпожи Венявской, но тот дерет безбожно за Польские книги – и у него нет того, что мне надо. Очень прошу Вас, Милостивый Государь, прислать мне Историю Литвы Нарбутта<sup>127</sup>, которой у меня есть только *первый том*. Еще недавно я говорил о Нарбутте в «Пчеле» и назвал его известнейшим исследователем Литовских древностей. Также Господин Тышкевич<sup>128</sup> ездил в Стокгольм и описал свое путешествие и исторические акты, которые нашел в Стокгольмском архиве<sup>129</sup>. И об этом произведении я прошу Вас. Прошу написать мне, сколько они будут стоить, а я сразу же вышлю денги, с большой благодарностью, а также почтовые счета. Прошу адресовать: в *Дерпт*. Я буду в Дерпте до Октября, так как мое здоровье здесь поправляется. Не могли бы Вы заглянуть, хоть на краткое время в Дерпт, то есть в Карлово? Из Риги довезет дилижанс, за несколько рублей. Мне было бы приятно принять Вас в моем уголке!

Если у Вас в Вильно есть «Северная Пчела», то Вы должны были читать и свою статью о Контском и о чести, встретившей Контского, когда он стал первым скрипачом – solo Его Величества Императора. Меня это весьма радует, потому что я сердечно люблю Контского. Это совершенно почтенный человек, но шалопай! Он должен был заехать ко мне по дороге в Ригу – он писал об этом из Петербурга и неизвестно где и как опять пропал! У меня даже есть письма к нему, неизвестно откуда и от кого! *Pictoribus et poetis omnia licent*<sup>130</sup>!

<sup>125</sup> Малиновский Миколай (1799–1865) – выпускник Виленского университета, член общества филоматов, историк и архивист. Проживал на квартире у Ф.В. Булгарина в 1827–1828 гг. О его отношениях с бывшим квартирным хозяином см.: Федута, А.И. Квартирант (Письма М. Малиновского И. Лелевелю) // Асоба і час. Беларускі біяграфічны альманах. Вып. 1. Мінск, 2009. С. 30–91.

<sup>126</sup> Вольф Мориц (Маврикий Осипович) (1825–1883) – книготорговец и издатель.

<sup>127</sup> Нарбутт Теодор (Федор Ефимович) (1784–1864) – историк и археолог, автор «Истории литовского народа» (т. 1–9, 1835–1841). Известно письмо Ф.В. Булгарина Т. Нарбутту (см. перевод в изд.: Булгарын, Ф. Выбранае. – Мінск, 2003. – С. 435–436).

<sup>128</sup> Тышкевич Евстахий (Евстафий Пиевич) (1814–1873) – историк и археолог, почетный член Петербургской и Стокгольмской академий наук и Лондонского археологического института.

<sup>129</sup> Речь идет о книге Е. Тышкевича «Письма о Швеции» (т. 1–2, 1846).

<sup>130</sup> «*Pictoribus et poetis omnia licent*» (лат.) – «Художникам и поэтам все дозволено» – переделка пословицы «*Doctoribus atque poetis omnia licent*» («Ученым и поэтам все дозволено»). Оба варианта восходят к Горацию: «*Pictoribus atque poetis quidlibet audendi semper fuit aequa potestas*» («Художникам, как и поэтам, издавна право дано дерзать на все, что угодно» – «Наука поэзии», 9–10, перевод М.Л. Гаспарова).



Простите, что я плохо пишу по-польски, так как у меня нет практики языка, и что я поздно отвечаю на письмо – так как я выезжал из дому. Свидетельствую привязанность и остаюсь с чувством уважения

Милостивого Государя Благодетеля  
покорнейший слуга  
Тадеуш Булгарин  
из Карлова,  
при Дерпте  
12 Июля 1852 года

*LVIA, f. 1135, ap. 2, b. 1, p. 320.*  
Милостивый и любимый Государь!

Мне самому очень жаль, что я так долго не писал Вам, но я был болен и я так занят и «Пчелой», и моей службой при министре, что у меня едва есть время съесть кусок хлеба и поспать пару часов<sup>131</sup>. И это письмо я пишу ночью. Благодарю за красивую статейку о Друскениках, хоть наша Цензура и испортила ее немного. Цензура испугалась мужества Литвинов, которые со своим князем пошли на смерть, но не сдались в неволю. Вот Вам образец нашей Цензуры!!! – Чудеса! Господин Контский показывал мне письмецо Ваше, в котором Вы пишете, чтоб он узнал, какие у меня есть древние Польские произведения в моей Библиотеке. У меня много Русских и Европейских древностей, но Польских – почти нет, и говорю искренне и открыто, что все Польское, что Вы пришлете мне из милости своей, я приму с наибольшей благодарностью и буду стараться отблагодарить. У меня не было возможности собирать польские книги, потому что у меня нет связей ни в Литве, ни в Польше. Моя семья в Литве занимается не писательством, а сельским хозяйством. А потому Ваш дар будет манной для карловской Библиотеки!

У Вас в Вильно находится виолончелист Господин Коссовский<sup>132</sup>. У меня есть для него ноты. Ко мне приходил какой-то полячок, сын виленского или варшавского доктора, чтобы взять ноты, но я тогда заболел и у меня не было нот. Теперь, когда они есть, Полячок пропал. Пусть Господин Коссовский напишет ему, чтоб он явился ко мне, или пусть напишет мне, как его зовут. Теперь в дьявольское время жизнь небезопасна – может, он умер. Мне тяжело пересылать, так как мне не хватает времени.

<sup>131</sup> В 1844–1857 гг. Ф.В. Булгарин занимал должность члена-корреспондента специальной комиссии коннозаводства.

<sup>132</sup> Речь идет о Самуэле Коссовском.

У нашего Господина Аполлинария Контского здесь все время триумфы. Даже противная ему партия уступила и примирилась с ним. Я хочу выехать в Киев, но не знаю, выпустят ли<sup>133</sup>.

У нас здесь весьма тоскливо. Время самое отвратительное – вода на улицах, и Нева страшно угрожает выступить из своих берегов, и холера, и траур по князе Лейхтенбергском. Будьте здоровы и благосклонны ко мне, а я навсегда остаюсь с искренней привязанностью слуга и друг

Тадеуш Булгарин  
19 Декабря 1852  
Петербург

*LXIA, f. 1135, ap. 2, b. 1, p. 326.*  
Милостивый и любимый Господин Адам!

Я уже месяц в Карлове, где теперь повешен и Ваш портрет. У меня нет надежды видеть Вас когда-нибудь в Карлове – я нахожусь под тяжестью обстоятельств!

Если Вы найдете какие-либо старые исторические Польские книги, будьте любезны, купите на мой счет. С благодарностью я возмещу затрату!

В моем Карлове я как на небе! Двое моих сыновей окончили университетский курс и оба стали кандидатами, а теперь они при мне. Отличные парни, моя радость в старости!

Сегодня у меня много работы и нет времени писать, но прошу Вас, ради мук Христовых, узнать, где теперь Миколай Малиновский, который управлял делами Витгенштейна<sup>134</sup>, прошу надписать адрес на письме и сразу же отослать ему, так как это письмо *деловое*. Вы меня этим сильно обяжете!

Друг и слуга  
Тадеуш Булгарин  
27 Июня 1854 года  
Карлово, около Дерпта

<sup>133</sup> В 1852 г. А. Контский выступал на контрактах (на ярмарке) в Киеве.

<sup>134</sup> М. Малиновский в 1831–1840 гг. служил прокуратором так называемой Радзивилловской комиссии (Радзивилловской массы), уполномоченной разбираться в запутанных вопросах по наследству Д. Радзивилла, зятем которого был князь Л.П. Витгенштейн.

*LVIA, f. 1135, ap. 2, b. 1, p. 323.*

Милостивый и уважаемый Государь!

Я не знаю, как благодарить Вас за присланные автографы! Это моя страсть – и если когда-нибудь я буду так счастлив, что увижу Вас в Карлове, то покажу мое небольшое собрание автографов и старых книг. Я готов идти пешком в Вильно, чтобы поблагодарить Вас и найпокорнейше просить *прислать дублиеты и старые книги*, которые Вы найдете. Я же пришлю Вам желаемые Вами Русские автографы!

«Северную Пчелу» Вы будете получать. За присланных бобров весьма благодарю, но я боюсь, не слишком ли это дорогая штука. Напишите, сколько стоят, я верну с благодарностью. Я просил несколько воротников, а на дорожные вещи не рассчитывал. С множеством детей у меня много расходов.

В день именин моей жены 18 Августа в Карлове *ни одной посылки из Вильно мы не получили* и я первый раз слышу об этом! Ради Бога, скажите мне, что это было – и не украли ли на почте? – Надо разобраться с кражей!

С Господами Кеппеном<sup>135</sup>, Веселовским<sup>136</sup> и Устряловым<sup>137</sup> я сам увижусь, и обо всем узнаю, а что можно сделать с тем же самым Устряловым – то я сделаю, если дело еще не закончилось.

О Вашей статье для «Вестника Географ[ического] Общества»<sup>138</sup> я буду говорить в «Пчеле».

Повторяю свою самую искреннюю благодарность за присланные автографы и бобров и остаюсь навсегда искренним и верным другом

Тадеуш Булгарин  
28 Ноября 1854 года  
из Петербурга

NB. Вся моя семья посылает поклоны и приглашает на все лето, с женой и детьми, в Карлово. Места и хлеба достаточно – дружбы еще больше.

<sup>135</sup> Кеппен Петр Иванович (1798–1864) – статистик, академик Петербургской Академии наук (1843).

<sup>136</sup> Веселовский Константин Степанович (1819–1901) – экономист и статистик, непреходящий секретарь Петербургской Академии наук (1857–1900).

<sup>137</sup> Устрялов Николай Герасимович (1805–1870) – историк, академик Петербургской Академии наук (1837).

<sup>138</sup> Речь идет о «Записках Императорского Русского Географического общества» – журнале, выходившем с 1846 г.

Двое моих старших сыновей закончили Университет кандидатами<sup>139</sup>, третий повышен до офицера в уланах<sup>140</sup>, а младший сын и доченька<sup>141</sup> остаются в сердце – и все Вам кланяются!

---

<sup>139</sup> Старшие сыновья Булгарина Болеслав (1832 – после 1881) и Владислав (1834 – после 1893) в 1854 г. закончили Петербургский университет со степенью кандидатов, после чего Болеслав поступил на службу в III Отделение, а Владислав – в канцелярию военного министра.

<sup>140</sup> Булгарин Мечислав (1836–1880) служил в лейб-гвардии Уланском наследника цесаревича полку, потом в линейном батальоне в Петербурге.

<sup>141</sup> Речь о Святославе (1840–1874) и Елене (1838–?) Булгариных.

## ПОСЛАНИЕ «БУЛГАРИНУ» Е.А. БОРАТЫНСКОГО: авторские редакции и литературный контекст

Вопрос о внетекстовой обусловленности авторского вторжения в текст известного послания Е.А. Боратынского «Булгарину» в свое время был снят с рассмотрения в силу одиозности адресата первой редакции<sup>1</sup>. Советское и постсоветское литературоведение за немногими исключениями четко разделяло Булгарина – «случайного» попутчика декабристов (до 1825 г.) и Булгарина – эксперта и агента III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии (с 1826 г.). Первым исследователем, рассмотревшим вопрос о роли Булгарина в литературном процессе первой трети XIX в. без использования устоявшихся идеологических клише, был В.Э. Вацуру<sup>2</sup>. Вместе с тем и для него вопроса о причинах редактирования послания Боратынского не было.

Однако сопоставление текстов всех трех опубликованных редакций послания показывает, что автор не ограничился элементарным изъятием фамилии ставшего оппонентом бывшего приятеля. Текст подвергся и иным корректировкам. Проследим суть этих корректировок и попытаемся сопоставить вносимые автором изменения с литературным контекстом каждой из трех редакций<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> См., например: «Решение Боратынского изменить заглавие стихотворения и исключить имя Булгарина из текста связано с радикальным изменением отношения поэта к адресату послания» (Фризман, Л.Г. Примечания // Е.А. Боратынский. Стихотворения. Поэмы. – М., 1983. – С. 606).

<sup>2</sup> См.: Вацуру, В.Э. «Северные Цветы». История альманаха Дельвига – Пушкина. – М., 1978. – С. 21–44 и др.

<sup>3</sup> Ссылки на редакции приводятся непосредственно в тексте в круглых скобках после цитаты с указанием римской цифрой соответственно номера редакции и арабской цифрой – цитируемой

Первое изменение, бесспорно, связано со снятием указания на адресата:  
НѢтъ, нѢтъ, Булгаринъ! ты не правъ (I, 1);  
НѢтъ, нѢтъ! мой Менторъ, ты неправъ (II, 1);  
Пріятель строгой, ты не прав (III, 1).

Очевидно, что редактирование идет в направлении максимально возможного снятия конкретности. В первой редакции адресат назван по имени, то есть изначально подразумевается, что послание имеет конкретный повод – определенные разногласия между Е.А. Боратынским и Ф.В. Булгариным. Во второй редакции имя Булгарина заменено на имя персонажа античного мифа Ментора – мудрого наставника, воспитателя героев. Вместе с тем греческие имена широко использовались для иноказательного обозначения реальных людей (Аристипп, Клит, Бавий и т.д.). Несмотря на очевидную ироничность в параллели «Ментор – Булгарин» (Булгарин, известный своей вспыльчивостью и отнюдь не добродетельным образом жизни, никак не подходил на роль умудренного жизненным опытом кроткого старца Ментора), текст читается в этом случае как ответ ученика учителю. Третий вариант строки, где имя Ментора заменяется указанием на «приятеля строгого», восстанавливает отношение равенства между автором и адресатом послания, снимает иронию и одновременно включает адресата послания (уже не реальное лицо, а воображаемого читателя) в более широкий литературный контекст. Прежде всего – в контекст пушкинских произведений, в частности – романа в стихах «Евгеній ОнѢгинъ»: Пушкин неоднократно подчеркивает приятельские отношения с собственным героем, а также употребляет характеристику «приятель», противопоставляя по смыслу ее характеристике «друг»:

ОнѢгинъ, добрый мой пріятель<sup>4</sup>;  
Вы согласитесь, мой читатель,  
Что очень мило поступилъ  
С печальной Таней наш пріятель (4, XVIII);  
...Если вашимъ пистолетомъ  
Сраженъ пріятель молодой (6, XXXIV);  
Кто бъ ни былъ ты, о мой читатель,

---

строки. Под редакцией I мы подразумеваем редакцию до июня 1821 г., под редакцией II – редакцию 1823–1826 гг., под редакцией III – редакцию конца 1832–1833 гг. Тексты приводятся по изд.: Боратынский, Е.А. Полное собрание сочинений и писем. Т. 1: Стихотворения 1818–1822 годов / Е.А. Боратынский; ред.: А.Р. Зарецкий, А.М. Песков, И.А. Пильщиков. – М., 2002.

<sup>4</sup> Текст романа «Евгеній ОнѢгинъ» цит. по изд.: Евгеній ОнѢгинъ, романъ в стихахъ. Сочиненіе Александра Пушкина. – СПб., 1837. – С. 2. – Далее ссылки на данное издание см. непосредственно после цитаты в тексте в круглых скобках, где арабская цифра указывает на главу романа, а римская – на строфу.

Другъ, недругъ, я хочу съ тобой  
Разстаться нынче какъ пріятель (8, XLIX).

«Словарь языка Пушкина» толкует слово «пріятель» как «человек, с которым состоят в дружеских, коротких отношениях, близкий знакомый»<sup>5</sup>. Одновременно на значение данного слова в тексте окончательной редакции послания Боратынского накладывает отпечаток его близость в рамках одного обращения со словом «строгой». Здесь вновь следует вспомнить о контексте употребления этого слова Пушкиным:

Но тише! Слышишь! Критикъ строгой  
Повелѣвает сбросить намъ  
Элегіи вѣнокъ убогой  
И нашей братьѣ рюмачамъ  
Кричить... (4, XXXII).

Как будет следовать из дальнейшего текста послания, предмет спора Боратынского с «пріятелемъ строгимъ» по сути своей совпадает с предметом разногласий, существующих между автором «Евгенія Онѣгина» и «критика строгаго».

Следующее существенное расхождение в редакциях послания Боратынского:

Из своеволія страстей –  
Съ себя мы правилъ не слагали... (I, 5–6);  
Изъ своеволія страстей  
Себѣ мы правилъ не слагали... (II, 5–6);  
По своеволію страстей  
Себѣ мы правилъ не слагали... (III, 5–6).

Если в тексте первой редакции «правила» – это оковы, которые можно снять с себя (сложить с себя), и предполагаемая вина автора послания и тех, от чьего имени он говорит, в глазах адресата может состоять в попытке отказаться от этих правил, то уже во второй редакции акцент изменен: воображаемый оппонент обвиняет автора в том, что тот сложил себе новые правила. Соответственно в этом контексте меняется и содержание предшествующей, пятой строки. В первой редакции тире разделяет пятую и шестую строки, и «своеволіе страстей» можно толковать как причину предполагаемого отказа от правил. Во второй редакции появляется излишняя двусмысленность: «своеволіе страстей» выступает и как причина отказа от правил, и как новая система правил, принятая, по мнению адресата, автором. В третьей редакции Боратынский устраняет эту двусмысленность, заменив родительный падеж дательным и однозначно указав, что «своеволіе страстей» является потенциальной причиной изменения правил.

<sup>5</sup> Словарь языка Пушкина: в 4 т. – М., 1959. – Т. 3. – С. 790.

И за роскошные дары  
Младую жизнь боготворили (I, 12–13);  
И за роскошные дары  
Младую жизнь благодарили (II, 12–13; III, 12–13).

Очевидна разница в акцентах: «боготворить» – «восхищаться, обожествлять» не то же самое, что «благодарить». Во второй и третьей редакции автор и его сторонники принимают дары «младой жизни» без ее обожествления.

Во имя Вакха и Киприды  
Мы пѣли нѣгу, шумъ пировъ,  
Не замѣчая крикуновъ  
И ихъ ревнивыя обиды.  
Мы пѣли счастье дней младыхъ (I, 14–18);  
Во имя лучшихъ изъ боговъ,  
Во имя Вакха и Киприды  
Мы пѣли счастье шалуновъ;  
Сердечно презря крикуновъ  
И ихъ ревнивыя обиды,  
Мы пѣли счастье дней младыхъ (II, 14–19);  
Во имя лучшихъ изъ боговъ,  
Во имя Вакха и Киприды  
Мы пѣли счастье шалуновъ,  
Сердечно презря крикуновъ  
И ихъ ревнивыя обиды.  
Мы пѣли счастье дней младыхъ (III, 14–19).

Показательно, что во второй редакции появляется характеристика Вакха и Киприды как «лучшихъ изъ боговъ». (В так называемой десятой главе «Евгенія Онѣгина» рядом с ними появится еще и Марс – в характеристике декабриста М.С. Лунина. Но Марс характерен именно для декабристов, большая часть которых была профессиональными военными либо участниками Отечественной войны. Для Боратынского солдатчина – наказание, его счастье – счастье частного человека.) Там же, во второй редакции, автор меняет предмет воспевания: на смену «нѣге, шуму пировъ» в тексте появляется «счастье шалуновъ», то есть беззаботных мальчишек. Для художественного мира Боратынского это оправдано, поскольку «пир, один из ведущих мотивов его поэзии, служит у него горьким напоминанием об упущенном Золотом Веке»<sup>6</sup>, а в молодости вспоминать еще не о чем.

Кроме того, в приведенных фрагментах весьма существенна различная разбивка текста на предложения. В первой редакции обиженные «крикуны»

<sup>6</sup> Сендерович, С. Вино, похмелье и жанры романтической лирики // Русские пиры (Альманах «Канун». Вып. 3). – СПб., 1998. – С. 111.



присутствуют как незамеченное препятствие, противостоящее воспеванию Вакха и Киприды автором. Здесь характеристика «ревнивые обиды» может быть вызвана тем, что гимны автора просто более угодны богам, нежели гимны «крикунов». Но во второй редакции автор по-иному разбивает текст послания: «крикуны», отношение к которым уже меняется на презрение («Сердечно презря крикуновъ»), переходят во вторую часть предложения, и предметом их ревнивой обиды на этот раз становится воспевание «счастья дней младыхъ». В третьей же редакции автор сохраняет характеристику, данную отношению к «крикунам» во второй, но возвращается к той причине их ревности, которая приведена в первой редакции. Таким образом, в третьей редакции этот фрагмент предполагает большую угодность богам тех гимнов, которые воссылают им «шалуны», нежели презираемые ими «крикуны».

Душа примѣтно отцвѣтала;  
Въ усталомъ сердцѣ пламень гасъ,  
И за стаканомъ въ добрый часъ,  
Безпечныхъ Опытность застала (I, 23–26);  
Въ душѣ, больной от пищи многой,  
Въ душѣ усталой, пламень гасъ  
И за стаканомъ, в добрый часъ  
Засталь насъ какъ-то опытъ строгой (II, 23–26);  
Въ душѣ больной от пищи многой,  
Въ душѣ усталой пламень гасъ  
И за стаканомъ, в добрый часъ  
Засталь насъ какъ-то опытъ строгой (III, 23–26).

В редакциях этого четверостишия два значимых расхождения. В первых, во второй и третьей редакциях названа причина душевной болезни (душевной усталости) автора – «пища многая», то есть избыток жизненных впечатлений. Второе расхождение – характеристика нового этапа жизни автора: «Опытность» в первой редакции и «опытъ строгой» – во второй и третьей редакциях. Очевидно, что в третьей редакции «опытъ строгой» коррелирует с обращением к адресату, названному «приятелемъ строгимъ».

Наперсницъ нашихъ, страстных дѣвъ  
Мы поцѣлуи позабыли,  
И предъ суровой онѣмѣвъ,  
Утѣхи крылья опустили (I, 27–30);  
Наперсницъ нашихъ, страстных дѣвъ  
Мы поцѣлуи позабыли,  
И предъ суровымъ оробѣвъ,  
Утѣхи крылья опустили (II, 27–30; III, 27–30).

Помимо естественной в данном случае замены женского рода прилагательного мужским (в соответствии с заменой «Опытности» на «опытъ»), обращает внимание характеристика произведенного на автора эффекта от вступления в новый этап жизни: в первой редакции автор немеет, лишается дара речи (поэтического дара); во второй редакции автор робеет, что вовсе не предполагает непременно молчание.

Такъ разрѣзвившихся дѣтей,  
Средь ихъ младенческихъ затѣй,  
Приводить вдругъ в остолбенѣнье  
Со строгой важностью очей  
Педанта школы появленье (I, 31–36);  
Такъ разшалившихся дѣтей,  
Среди веселыхъ ихъ затѣй,  
Приводить вдругъ в остолбенѣнье  
С угрюмой важностью очей  
Германца дядьки появленье (II, 31–36).

В третьей редакции послания соответствующий фрагмент отсутствует.

Показательно, что во второй редакции вместо оценки «педантъ школы» вводится указание на национальность лица, останавливающего одним своим появлением детские шалости, – «германецъ дядька».

Наконец, последняя значимая правка текста выглядит следующим образом:

Съ тѣхъ поръ, любезный, не поемъ  
Мы безразсудныя забавы,  
Смиренно жизнь свою ведем  
И ждемъ от свѣта доброй славы (I, 36–39);  
Съ тѣхъ поръ, любезный, не поемъ  
Мы безразсудныя забавы,  
Смиренно дни свои ведем  
И ждемъ от свѣта доброй славы (II, 36–39) (выделено

нами. – А. Ф.).

«Жизнь» перманентна и бесконечна, она не поддается исчислению, «дни» дискретны, и их пересчет возможен, особенно тогда, когда они в тягость живущему, вынужденному отказать от молодых «шалостей» и от воспевания Вакха и Киприды, то есть вина и любви.

Очевидно, что редактирование текста для Боратынского в данном случае – не просто снятие посвящения ставшему одиозным приятелю. Адресат Булгарин даже в первой редакции послания не сводится к одной личности; рядом с ним возникают явно пользующиеся его сочувствием «крикуны». Позиция этой группы реконструируется довольно легко; их позитивная программа – отрицание программы автора послания, вернее, наоборот:

позитивная программа автора послания сформулирована на отрицании программы «крикунов». Это означает, что «крикуны» являются сторонниками нормативной эстетики («правиль»), отрицают «нѢгу» как предмет, достойный воспевания, а вместе с ней и все, чем дорожит молодость: «гостей веселыхъ», «забавы, шалости», «страстныхъ дѢвъ» и т.д. При этом характеристика «крикунов» подразумевает их приверженность «громким» жанрам (вероятно, ораторской, гражданской поэзии). Это тем более вероятно, если учесть, что в этот период первые декабристские организации (Союз Спасения, Союз Благоденствия) начинают формулировать свое отношение к литературному творчеству как к средству преобразования общества и «возбуждения» духа гражданственности. «Громкая» поэзия сродни речи оратора, причем уставом Союза Спасения его членам вменялось в обязанность произнесение пылких речей, направленных на возбуждение духа гражданственности. Не случайно грибоедовский Чацкий, единственным «действием» которого становится его «слово», – выразитель этой эпохи (а «крикун» Репетиллов – пародия на Чацкого).

Здесь следует вспомнить, что вторая редакция послания (1823–1826 гг.) совпадает с полемикой, начатой в «Мнемозине» статьей В.К. Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие». Статья Кюхельбекера – манифест сторонников оды, традиционного «политического» жанра русской поэзии. Статья бьет по поэтической школе В.А. Жуковского, но под удар попадает и молодое поколение русских элгигов, в первую очередь, Пушкин и Боратынский; неслучайно Кюхельбекер вынужден в заключительной ее части особо оговаривать, что «никто в России более меня не порадуется их успехам»<sup>7</sup>. Пушкин в четвертой главе «Евгенія ОнѢгина» выводит Кюхельбекера как «критика строгаго» и, полемически утрируя, пересказывает его позицию, формально отказываясь вместе с тем с ней спорить. Кроме того, следует помнить, что в литературной полемике 20–30-х гг. неоднократно подчеркивалось немецкое происхождение Кюхельбекера<sup>8</sup>, а сам он в качестве гувернера («дядьки», «Ментора») некоторое время преподавал словесность в Благородном пансионе при Главном педагогическом институте. К моменту создания второй редакции

<sup>7</sup> Цит. по изд.: Кюхельбекер, В.К. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие // Декабристы. Эстетика и критика. – М., 1991. – С. 258.

<sup>8</sup> См., например, известную сатиру А.Е. Измайлова «Союз поэтов», где Кюхельбекер выведен под именем Тевтонова: Эпиграмма и сатира. Из истории литературной борьбы XIX века: в 2 т. – М.–Л., 1933. – Т. 1. – С. 408–409. – Ср.: «Кюхельбекер <...> сохранивший в выговоре явные следы немецкого происхождения, сверх того представлявший и по фигуре, и по всем приемам живой тип немца, или того, что мы называем “колбасником”...» (Корф, М.А. Из «Записки о Лицее» // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников: в 2 т. – М., 1980. – Т. 2. – С. 287).

послания полемика с Кюхельбекером, близким другом, входившим наряду с Дельвигом и Боратынским в «Союз поэтов», гораздо более актуальна для Боратынского, нежели полемика с Булгариным. К тому же поводом для послания изначально не мог быть какой-то конкретный спор: Булгарин, сам жизнелюб-эпикурец, вряд ли «ревновал» бы или таил «обиду» по поводу излишнего увлечения Боратынского Вакхом и Кипридой.

Вольно или невольно, в воображении автора в работе над второй редакцией текста послания рядом с заявленным в первой редакции адресатом (Булгарин) появляется второй (Кюхельбекер?)<sup>9</sup>. Третья редакция послания создается на рубеже 1832–1833 г., когда Кюхельбекер оказался «далече», упоминание о нем в открытой печати становится невозможным, а скрытая полемика посвященным может показаться бестактной. В этом случае понятно, почему Боратынский очищает текст послания от малейшего намека на личность и даже отказывается от посвящения «Къ ...», поскольку наличие его предполагает реального адресата.

---

<sup>9</sup> В сознании Боратынского послание «Булгарину» легко трансформируется в послание «Кюхельбекеру» еще и потому, что оба адресата в этот период актуализируются чисто биографически почти одновременно: 19 июня Боратынский и Бестужев у Рылеева обсуждают скандальную историю несостоявшейся дуэли Булгарина с Дельвигом, а 23 июня выходит вторая книжка альманаха «Мнемозина» с программной статьей Кюхельбекера. 24–25 января 1825 г. Боратынский направляет письмо Кюхельбекеру по поводу другой его статьи – «Разговора с Ф.В. Булгариным», опубликованной в третьей книжке «Мнемозины». Это происходит уже после того, как разногласия с Булгариным вылились в знаменитый памфлет «Литературные призраки», в котором Булгарин вывел Боратынского под именем «Неучинского» (см.: Летопись жизни и творчества Е.А. Боратынского. 1800–1844 / сост. А.М. Песков. – М., 1998).

## ЦЕНЗОР ОЦЕНИВАЕТ ИСТОРИКА (неизвестный отзыв о книге Теодора Нарбутта)

Публикуемый нами документ представляет собой отзыв цензора Павла Гаевского о труде известного виленского историка-любителя Теодора Нарбутта «Dzieje Narodu Litewskiego».

Автор отзыва – Павел Иванович Гаевский (16.08.1797 – 12.12.1875) – хорошо знаком историкам русской литературы, причем не только как отец известного пушкиниста и первого главы Литературного Фонда Виктора Гаевского. В качестве цензора Санкт-Петербургского цензурного комитета П.И. Гаевский цензуровал, в частности, «Невский альманах», поэму А.С. Пушкина «Цыганы», альманах «Северные Цветы на 1827 год»<sup>1</sup>. Цензором Гаевский считался строгим и придирчивым<sup>2</sup>.

Сочинение Теодора Нарбутта было направлено к нему на отзыв, поскольку одновременно он был крупным чиновником Министерства просвещения (директором департамента) и знал польский язык (потому, в частности, цензуровал официальный «Tygodnik Petersburski»).

Автор рецензируемого сочинения Теодор Нарбутт (8.11.1784 – 26.11.1864) – уроженец Лидского повета Гродненской губернии (сейчас – Лидский район Гродненской области Республики Беларусь), выпускник отделения математики и инженерии Виленского университета, профессиональный военный инженер-фортификатор (по некоторым

---

<sup>1</sup> См., в частности: Мезьер, А.В. Словарь русских цензоров: Материалы к библиографии по истории русских цензоров. – М., 2000. – С. 36.

<sup>2</sup> См.: Черейский, Л.А. Пушкин и его окружение. – Л., 1989. – С. 92. – См. также примеры: Вацуро, В.Э. «Северные Цветы». История альманаха Дельвига – Пушкина. – М., 1978.

сведениям, в частности, строил Бобруйскую крепость<sup>3</sup>). Историей – вернее, поначалу историческим краеведением – Нарбутт занялся после того, как в 1812 г. вернулся в свое имение после военных походов российской армии, в ходе которых он частично утратил способность слышать.

Его главный труд – «*Dijeje Narodu Litewskiego*» – вышел в 1835–1841 гг. В его основу легло как изучение опубликованных источников, так и собственные разыскания Нарбутта, в частности, археологические и археографические. Фактически это была первая попытка подробно описать историю Литвы, как она понималась современниками Нарбутта – фактически эпоху Великого Княжества Литовского (ВКЛ), входившего вместе с Коронной Польшей в федеративное государство Речь Посполитую, и предшествующий созданию Великого Княжества период. Следует учитывать, что в ВКЛ входили территории современной Литвы (Жмуди), Беларуси (собственно Литвы и Белой Руси), Смоленщины и части украинских земель.

Несмотря на попытки Нарбутта опираться на выявленные документальные и материальные источники, в его труд вкралось множество ошибок, обусловленных в том числе и мифологизированием современного ему знания о ВКЛ. Вместе с тем, несомненно, труд его был серьезным шагом вперед по сравнению с работами его предшественников (в русской историографии, конечно же, это Н.М. Карамзин, в польской – А.С. Нарушевич) и во многом сохранил свою значимость по сей день – в первую очередь, благодаря собственным историко-археологическим разысканиям автора. Нарбутт справедливо считается классиком исторической науки в Польше, Беларуси и Литве.

Три тома сочинения Нарбутта были представлены на рецензирование (фактически на экспертизу) П.И. Гаевскому в связи с намерением автора поднести их императору Николаю I и цесаревичу Александру Николаевичу – будущему императору Александру II. По традиции высочайшие особы благодарили авторов поднесенных книг, получавших из казны денежное вознаграждение либо ценный подарок в виде перстня, табакерки и т.д. Это не свидетельствовало об особой благонадежности награжденных (в конце концов, подобного поощрения удостоились и будущие декабристы К.Ф. Рылеев и А.А. Бестужев<sup>4</sup>), но было знаком внимания императорской

<sup>3</sup> См., в частности: Каханоўскі, Г. Нарбут Тэадор // Асветнікі зямлі Беларускай. – Мінск, 2001. – С. 305–306.

<sup>4</sup> «Издатели (“Полярной Звезды”. – А.Ф.) имели счастье поднести по экземпляру “Звезды” Их Величествам Государыням Императрицам и удостоились Высочайшего внимания. К.Ф. Рылеев получил два бриллиантовых перстня, а А.А. Бестужев золотую прекрасной работы табакерку и бриллиантовый перстень» (см.: Котляревский, Н.А. Декабристы кн. А.И. Одоевский и А.А. Бестужев-Марлинский. Их жизнь и литературная деятельность. – СПб., 1907. – С. 304).

семьи к книгам и формой поощрения авторов, своего рода обозначением «карьерного» успеха<sup>5</sup>.

Ситуация с книгой Нарбутта осложнялась особым отношением Николая I к Польше, польскому языку, всему, что свидетельствовало о польской государственности. Несмотря на то, что император в свое время инициировал изучение наследником престола Александром Николаевичем польского языка и выбрал ему в качестве соученика сына польского аристократа И.М. Виельгорского<sup>6</sup>, сам Николай никогда не разделял полонофильства своего брата и предшественника Александра I, даровавшего Польше Конституцию и автономию в рамках Российской империи. Он постоянно подозревал поляков в нелояльности, а поскольку нюансов отношений между собственно «ляхами» и «литвинами» (то есть жителями Коронной Польши и ВКЛ) император, как и большинство россиян, не видел, польского языка не знал, то и понять суть исторической концепции Нарбутта, в традиционном для Речи Посполитой споре за первенство между Польшей и Литвой отдававшем приоритет Литве, не мог.

Наконец, следует учитывать, что полонофобия Николая резко усилилась после восстания 1830–1831 гг., когда его брат Константин Павлович, фактически управлявший Царством Польским и женатый на польке, был вынужден бежать, подвергая свою жизнь опасности, а усмирить автономию российский император смог лишь выслав на подавление восстания огромную армию. И даже после этого Польша продолжала оставаться в его глазах источником бесконечной смуты, подтверждением чему была, в частности, конспиративная сеть известного революционера Шимона Конарского, охватившая литовско-белорусские земли и Украину.

Принятие сочинения Нарбутта становилось, таким образом, событием знаковым. Николай, остававшийся не только Императором Всероссийским, но и Царем Польским, публично демонстрировал свое благосклонное внимание к истории ненавидимого им народа, признавал его право на собственную историю – отдельную от истории России – пусть даже в пределах эпохи Гедимины. Учитывая тот резонанс, который еще совсем недавно получило подавление польского восстания в Европе (в частности, во Франции), труд Нарбутта был обречен на демонстративную императорскую благосклонность.

П.И. Гаевский, обладавший большими связями и, как и положено чиновнику и цензору, чутко ощущавший веяние времени, относится к рецензируемой им книге вполне доброжелательно. Однако, понимая, что, докладывая

<sup>5</sup> Термин А.И. Рейтблата (см.: Рейтблат, А.И. Литературный альманах 1820–1830-х гг. как социокультурная форма // А.И. Рейтблат. Как Пушкин вышел в гении. Историко-социологические очерки. – М., 2001. – С. 71).

<sup>6</sup> См. о нем: Лямина, Е.Э., Самовер, Н.В. Бедный Жозеф. Жизнь и смерть Иосифа Виельгорского. – М., 1999.

императору о принятом решении, министр просвещения должен иметь и возможность для политического маневра, Гаевский особо подчеркивает выявленную им ошибочную концепцию виленского историка, тем более, касающуюся генеалогии императорского дома.

Впрочем, в судьбе самого Теодора Нарбутта и доброжелательный отзыв П.И. Гаевского, и императорская благосклонность не сыграли практически никакой роли. Во время следующего крупного антирусского восстания (1863–1864 гг.), полыхавшего на территории современных Литвы и Беларуси, имение Нарбутта было уничтожено вместе с его богатейшими археологическими коллекциями. Государственным преступником был объявлен его сын Людвик, активный участник восстания. В 1864 г. не стало и самого историка.

**Отзыв о сочинении Теодора Нарбутта  
«Dzieje Narodu Litewskiego przez Teodora Narbutta».  
Wilno. Tomy 2, 3 i 4. 1837–1838**

В 1836 г. я имел честь представить мнение о 1-ом томе сего сочинения. Ныне, рассмотрев продолжение, составляющее 2, 3 и 4 томы, я должен повторить сказанное прежде, т.е. что хотя содержание книги и не соответствует заглавию, ибо это не История, а только собрание материалов для будущего Историка, при всем том труд Т. Нарбутта заслуживает внимания и, по моему мнению, стоит быть поднесенным Государю Императору и Государю Цесаревичу. 4-й том содержит половину XIV века, и оканчивается Гедимином. Целое сочинение будет, кажется, состоять из 6-ти томов<sup>7</sup>.

Главное достоинство сочинения Т. Нарбутта состоит в обилии материалов, им собранных, хоть и не всегда очищенных историческою критикою. Но, как это не История, а Сборник, то дело Историка будет выбирать из множества материалов то, что окажется справедливым.

Если нужно коснуться до погрешностей, то я не могу не указать здесь на одну, общую почти всем не-Русским генеалогам. Это ошибка о происхождении Дома Романовых от дома Голштейн-Готторпского<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Труд Нарбутта состоит из 9 томов.

<sup>8</sup> Фактически прав в этом заочном споре не Гаевский, а Нарбутт, поскольку по мужской линии наследование в доме Романовых прекратилось со смертью Петра II, а царствующая на момент создания нарбуттовского труда ветвь фамилии Романовых по праву могла считаться, скорее, Голштейн-Готторпскими, поскольку родной дед Николая I, Петр III, был сыном герцога Голштейн-Готторпского.



Но, что забавнее, по приложенной к IV тому таблице, Царствующий Российский Дом, чрез дом Готторпский, показан происходящим от рода Гедимина<sup>9</sup>!

П. Гаевский

20 февраля 1839 г., Санкт-Петербург

ОР РНБ, фонд 831 (цензурные материалы), № 243.

---

<sup>9</sup> Гедимин, великий князь Литовский (правил в 1315–1340 гг.), считался предком целого ряда российских аристократических фамилий – в том числе, состоявших в родстве с династиями Рюриковичей и Романовых, – таких, как князья Голицыны, Трубецкие, Мстиславские. Вместе с тем непосредственное происхождение рода Романовых-Юрьевых от Гедиминовичей и литовских князей в целом российскими генеалогами отрицается (см., например: Петров, П.Н. История родов русского дворянства: в 2 кн. – М., 1991. – Кн. 1. – С. 23).

## КАК ЖУРНАЛИСТ ОСИП ПРЖЕЦЛАВСКИЙ ОТКАЗАЛ ШЕФУ ЖАНДАРМОВ И ЕМУ ЗА ЭТО НИЧЕГО НЕ БЫЛО

В фонде III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии (Государственный архив Российской Федерации, фонд Р-109, оп. 2, д. 228) сохранилась любопытная записка известного польского журналиста, уроженца Слонимского повета Юзефа Эмманюэля Пшецлавского (он же Осип Антонович Пржецлавский) (1799–1879) благодаря его исключительным по информативной насыщенности воспоминаниям. Записка эта (см. приложение) представляет несомненный интерес не только как биографический факт автора одного из самых интересных русских мемуарных текстов XIX в. (достаточно сказать, что в «Калейдоскопе воспоминаний» Ципринус – под этим псевдонимом скрылся Пржецлавский – описывает, например, беседу А.С. Пушкина и А. Мицкевича, единственным свидетелем которой он был). Дело в том, что она проливает свет на остававшуюся вне поля зрения исследователей попытку имперских властей максимально русифицировать польскоязычных подданных России.

Как следует из текста записки, формально толчком к ее написанию послужило пожелание А.Х. Бенкендорфа увидеть редактируемую Пржецлавским официальную газету Царства Польского «Tygodnik Petersburski» двуязычной. Однако можно предположить, что инициатива исходила не от Бенкендорфа, который был довольно далек от национально-языковой проблематики. Близились пятилетие так называемого «ноябрьского восстания» – по сути, второй со времен восстания под руководством А.-Т.-Б. Костюшко попытки поляков восстановить свою государственность, в

ликвидации которой Россия играла ведущую роль. Нет сомнений в том, что эта годовщина неизбежно актуализировала «польский вопрос» в сознании правящей российской элиты.

Есть основания полагать, что «заказчиком» подобной инициативы мог выступать сам император. Николай I никогда не забывал об оскорбительной попытке Сейма Царства Польского объявить о его детронизации. Самодержавный монарх в России не хотел и не мог быть конституционным королем Польши – части империи, жившей по иным законам, исповедовавшей иную веру и говорившей на ином языке. Схожее было и в Финляндии, но финны были лояльными подданными, а поляки нет. Поэтому поляки должны были максимально ассимилироваться с русскоязычными подданными императора.

Одну из предпринятых в этом направлении попыток описал Б.А. Успенский<sup>1</sup>. Это создание в 1844 г. комитета, созданного министром народного просвещения С.С. Уваровым и наместником Царства Польского И.Ф. Паскевичем, целью которого была унификация, а фактически – перевод графики польского языка с латинского алфавита на кириллицу. Во главе комитета стоял директор департамента Министерства народного просвещения, отец будущего известного пушкиниста Павел Иванович Гаевский. Та попытка закончилась конфузом, причем одним из «торпедировавших» идею Уварова и Паскевича (де-факто они лишь озвучили и оформили пожелание императора) лиц был автор публикуемой ниже записки О.А. Пржецлавский, привлеченный в качестве одного из членов комитета, а по сути – эксперта.

Выбор П.И. Гаевского в 1844 г. был далеко не случаен. Сам Павел Иванович был одним из немногих крупных русских чиновников, знавших польский язык. Гаевский переводил с польского<sup>2</sup>, считался экспертом в области польско-литовской истории, но главное – он был одним из цензоров литературы на польском языке, в том числе и газеты, издававшейся О.А. Пржецлавским. И хотя отношения цензора и издателя-редактора «Тыгодника» складывались далеко не безоблачно<sup>3</sup>, Гаевский как никто другой хорошо понимал и уровень компетентности Пржецлавского, и его обреченность на лояльность. И если в 1836 г., как следует из публикуемого текста, Пржецлав-

<sup>1</sup> См.: Успенский, Б.А. Николай I и польский язык (Языковая политика Российской империи в отношении Царства Польского: вопросы орфографии и графики) // Б.А. Успенский. Историко-филологические очерки. – М., 2004. – С. 123–173.

<sup>2</sup> См., в частности, самые крупные его переводы с польского языка: Бернатович, Ф. Поята, дочь Лиздейки, или Литовцы в XIV столетии: в 4 ч. – СПб., 1832; Масальский, Т.Э. Пан Подстолич, уездный роман: в 4 т. – СПб., 1832–1833.

<sup>3</sup> См. об этом: Федута, А.И. Страдания будущего цензора (Письма О.А. Пржецлавского П.И. Гаевскому) // Цензура в России: История и современность: сб. науч. тр. – СПб., 2008. – С. 142–149.

ский осмелился откровенно возражать против позиции одного из наиболее приближенных к императору лиц, каковым был А.Х. Бенкендорф, и после этого его вновь в 1844 г. привлекают для рассмотрения куда более щепетильного вопроса – стало быть, председатель комитета был уверен в его незаменимости и сумел убедить в этом еще более высокопоставленных лиц.

Основания для такой уверенности были. Портреты О.А. Пржецлавского и троих его товарищей по журналистике, активно публиковавшихся в «Тыгоднике» в период «ноябрьского восстания», были в 1832 г. сожжены польскими эмигрантами в Бельгии, приговорившими их за коллаборационизм к смертной казни и приведшими приговор в исполнение таким символическим образом. Сам Пржецлавский, по характеристике своего многолетнего сотрудника и приятеля Ф.В. Булгарина, «человек смирный, образованный и благомыслящий»<sup>4</sup>, много лет спустя признавался: «Никто энергичнее меня не осуждал поведения поляков, жителей Царства, созданного в 1815 году благостью Александра I»<sup>5</sup>, а предавших его изображение казни бывших соотечественников характеризовал как «ожесточенных эмигрантов, помешанных на известных пунктах, с которыми никакое рассуждение на этих пунктах невозможно»<sup>6</sup>. Отступить Пржецлавскому было некуда: сожжение его портрета на Батиньоле всего только засвидетельствовало факт сожжения самим редактором «Тыгодника» символических мостов, которые позволили бы ему в нужный момент перебежать на другую сторону (напомним, скажем, что сделавший гораздо меньше для польской культуры и едва ли не гораздо более лояльный к императорскому правительству Ф.В. Булгарин подобной сомнительной «честью» не удостоился).

Мы не знаем, в какой именно форме предполагалось будущее «двуязычие» «Тыгодника». Опыт «Литовского курьера» свидетельствует о том, что, скорее всего, это был бы просто параллельный выпуск двух газет – на польском и русском языках. Однако очевидно, что в этом случае польскоязычное издание постепенно сокращало бы, а не наращивало свой тираж – в первую очередь сокращало бы в столице Империи, русификация польскоязычных жителей которой была почти неизбежна<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Цит. по изд.: Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф.В. Булгарина в III Отделение. – М., 1998. – С. 397.

<sup>5</sup> Цит. по изд.: Пржецлавский, О.А. Воспоминания // Поляки в Петербурге в первой половине XIX века. – М., 2010. – С. 213. – Далее ссылки на данное издание см.: Поляки в Петербурге... – С. ...

<sup>6</sup> Поляки в Петербурге... – С. 147.

<sup>7</sup> Как указала нам Н.М. Сперанская, любезно ознакомившаяся с данной статьей до передачи ее в печать, был и другой опыт – это «Journal d'Odessa – Одесский вестник», издававшийся в 1827–1831 гг. с параллельными текстами на русском и французском языках. С 1831 г. русская и французская версии газеты выходили самостоятельно. Однако следует учитывать, что французский язык был фактически равноправным

Для императора вопрос перевода официальной газеты Царства Польского, каковой являлся основанный, финансируемый на первом этапе, издаваемый частными лицами «Тыгодник», на русский язык, вероятно, был лишь одним из вопросов, который предстояло решить на пути к полному слиянию бывших польских земель с Россией, а поляков с этническими русскими. Так, в 1833 г. по инициативе Николая I под началом М.М. Сперанского была создана специальная комиссия во главе с министром – статс-секретарем Царства Польского Игнацием Туркулом, в задачу которой входила унификация действовавшего в Царстве Польском законодательства с общеимперскими законами. В 1839 г. на территории Российской империи ликвидируется униатская церковь, то есть подчиненность части христиан греческого обряда Ватикану<sup>8</sup>. В 1844 г., а затем в 1852 г. предпринимаются две последовательные попытки перевести орфографию польского языка на кириллический шрифт.

Но все это были вопросы серьезные, затрагивавшие большие группы людей. В случае же с «Тыгодником» речь шла всего лишь о частной газете с тиражом в 500 экземпляров. Большинство ее читателей прямо или косвенно были ориентированы на имперскую власть, делали свою карьеру благодаря этой власти, знали – или в этот период, по крайней мере, хорошо понимали – русский язык. Знание русского языка становилось необходимым условием этой карьеры. В этом отношении, например, показательно письмо от 18/30 сентября 1826 г. бывшего ректора Виленского университета профессора Шимона Малевского сыну, ближайшему другу Адама Мицкевича со времен обществ филоматов и филаретов, позже – его свойственнику (оба женились на дочерях пианистки Марии Шимановской) Франтишку Малевскому, высланному из Вильны в Петербург: «Письмо твое, написанное по-русски, получил. По нему еще видно, что ты инородец, хотя и в самой столице России. Прошу тебя ко мне никогда не писать иначе, чем по-русски. Ибо ты россиянин»<sup>9</sup>. Примечательно однако, что именно Ф. Малевский, сделавший серьезную чиновничью карьеру и отказавшийся в старости от чина сенатора, и являлся одним из основателей польскоязычного «Тыгодника», редактором которого и стал О.А. Пржецлавский<sup>10</sup>.

литературным языком в сознании читателя (если не сказать, что до определенного времени он попросту доминировал).

<sup>8</sup> На этом, однако, процесс не остановится: уже в царствование Александра II будет предпринята вполне утопическая попытка присоединить католическую церковь в России к православной, переподчинив ее от Ватикана Петербургу (см. об этом: Долбилов, М., Сталюнас, Д. Обратная уния: из истории отношений между католицизмом и православием в Российской империи. 1840–1873. – Вильнюс, 2010).

<sup>9</sup> Цит. по изд.: *Listy z zesłania*, t. 3, Warszawa, 1999. – S. 416.

<sup>10</sup> Несмотря на наметившийся конфликт из-за доходов, приносимых «Тыгодником», и общей направленности газеты, О.А. Пржецлавский вспоминал о Франтишке Малев-

Почему же этот, говоря словами Булгарина, «смирный, образованный и благомыслящий» человек вдруг уперся? Прекрасно понимая, что А.Х. Бенкендорф, скорее всего, озвучивает высочайшее пожелание, Пржецлавский, тем не менее, ведет себя в точности, как «ожесточенный эмигрант», «помешанный на известном пункте» (употребим на этот раз характеристику, данную самим Осипом Антоновичем бывшим компатриотам). Дело в том, на наш взгляд, что как раз «известным пунктом» для Пржецлавского становится проблема польского языка.

Не будем говорить о патриотизме Осипа Антоновича хотя бы потому, что эта черта вряд ли была ему свойственна, скажем, в той степени, как, к примеру, тому же Ф.В. Булгарину или даже графу Генрику Ржевусскому. В этом отношении примечательна та цитата из записки О.А. Пржецлавского – не 1836, а 1844 г., – которую (в пересказе П.И. Гаевского) приводит в своей работе Б.А. Успенский: «Г. Пржецлавский <...> утверждает, что принятие русской азбуки для польского наречия не может соответствовать главному условию всякого нововведения, пользе, и что перемена эта могла бы быть введена *постепенно и со временем*. “Надежнейшею посредницею в том послужила бы самая литература; но для сего нужно, чтобы два соплеменные словесности ознакомились и сблизились к себе взаимно. Теперь еще знакомство это довольно слабо, хотя в последнее время и стали обнаруживаться симптомы вожделенного сближения сего. Должно ожидать, что меры, принятые правительством для распространения в западных губерниях и Царстве Польском русского языка, будут иметь в образуемом поколении полный успех и что труды благонамеренных литераторов довершат дело братского союза словесностей и тогда слияние видов и стремлений породит само собою потребность единства в средствах их выражения”»<sup>11</sup>. Если использовать строки современника и ровесника Пржецлавского, можно сказать, что Осип Антонович

...говорил о временах грядущих,  
Когда народы, распри позабыв,  
В великую семью соединятся<sup>12</sup>.

Правда, автор имел в виду не Пржецлавского, а его однокашника по Виленскому университету Адама Мицкевича.

Вероятно, Пржецлавский осознавал закономерность своей плохой репутации в глазах соотечественников (кто и когда любил коллаборантов?),

---

ском как о «человеке непоколебимой твердости в правилах чести и бескорыстия» (см.: Поляки в Петербурге... – С. 151).

<sup>11</sup> Успенский, Б.А. Николай I и польский язык (Языковая политика Российской империи в отношении Царства Польского: вопросы орфографии и графики) // Б.А. Успенский. Историко-филологические очерки. – М., 2004. – С. 161.

<sup>12</sup> Пушкин, А.С. «Он между нами жил...» // А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 16 т. – М.–Л., 1948. – Т. 3, кн. 1. – С. 331.

а потому находил некоторое утешение в той утопии великого славянского единства, адептом которой изображен Мицкевич в стихах Пушкина. Во всяком случае, приведенная цитата на взгляд любого непредвзятого человека является либо неумелой отговоркой, либо искренним заблуждением. Поскольку у нас нет оснований подозревать Пржецлавского в неумении лавировать, будем считать, что в 1844 г. он был искренен. Либо – что иные аргументы, кроме эмоциональных, с его точки зрения, перестали действовать.

Однако в 1836 г. надежда на действенность рациональных аргументов еще была. Поэтому, когда Пржецлавскому предлагают высказать именно их, он предельно корректно формулирует свою позицию. Основа ее – три пункта.

Во-первых, у газеты отсутствуют авторы, которые могли бы в равной степени успешно писать и на польском, и на русском языках.

Во-вторых, читательская аудитория издания не расширится, а сузится, что, по мнению ее издателя, пойдет во вред делу.

Наконец, в-третьих, это потребует дополнительных затрат, а на это нет средств, ибо газета находится в частной собственности и никаких субсидий от правительства ни в прямой, ни в косвенной форме не получает.

Этот ответ по существу. В переводе на деловой язык с языка, привычного высокопоставленному чиновничеству, это означает: нет кадров, нет людей, и вообще – подумайте, в ваших ли интересах осуществлять этот проект. Ответ четкий, жесткий. Равнозначный безоговорочному отказу. Именно поэтому Пржецлавский решает его «подсластить» и высказывает предложение подвергать свою газету, помимо обычной, еще и специальной цензуре III Отделения. И это при том, что именно так дела и обстояли изначально, по крайней мере, в той части, которая касалась публикаций на внутриимперскую тематику – недаром хорошо осведомленный об условиях существования «Тыгодника» Булгарин писал в своей записке: «Еще до выхода первого номера в свет польской газеты издатель оной и сотрудник его Малевский прибегнули к Булгарину и просили его советов, что им тотчас было доведено до сведения Высшего надзора и сделано условие, чтоб все статьи оригинальные о России, прежде напечатания оных, показывать в III Отделении Собственной Его Величества канцелярии»<sup>13</sup>. Сейчас Пржецлавский готов *всю* газету подвергать высшей политической цензуре, но для того, чтобы сохранить уникальную возможность быть посредником между двумя самыми крупными культурными пластами Империи, что приносит ему не только политические дивиденды (он востребован правительством в качестве влиятельного эксперта по национальному вопросу, а затем и как профессионал, знающий журналистскую проблематику), но и дивиденды вполне реальные – финансовые:

<sup>13</sup> Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф.В. Булгарина в III Отделение. – М., 1998. – С. 398.

как бы ни жаловался Осип Антонович на бедственное положение газеты, «Тыгодник» был вполне рентабельным предприятием.

О том, что отказ услышан, свидетельствует пометка, сделанная на отпуске записки Пржецлавского: «Приказано объявить Г[осподину] Пршеславскому, что при первом разе, когда будет замечена в Тыгоднике какая либо двусмысленность статьи, то статья сия будет воспрещена»<sup>14</sup>. Вероятнее всего, эта пометка отражает настроение А.Н. Мордвинова, представившего себе, как ему придется объясняться с А.Х. Бенкендорфом, вряд ли привыкшим к подобного рода отказам.

Впрочем, на карьере Пржецлавского эта «наглость» не повлияла. Он оказался незаменимым.

### Приложение

[л. 1] Записка к Его Превосходительству Господину Управляющему III-м Отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии, Статс Секретарю, Действительному Статскому Советнику Александру Николаевичу Мордвинову<sup>15</sup>, от Издателя официальной газеты Царства Польского<sup>16</sup> «Tygodnik Petersburski».

Доложено 23 Сентября 1836.

Ваше Превосходительство изволили объявить мне волю Господина Генерал-Адъютанта Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа<sup>17</sup>: чтобы издаваемая мною на польском языке официальная газета Царства Польского: «Tygodnik» печатаема была с будущего года на двух языках: российском и польском. При сем Ваше Превосходительство, упоминая об ожидаемой от того пользе к большему распространению между жителями Царства Польского и Западных Губерний<sup>18</sup> знания российского языка, изволили за-

<sup>14</sup> Фраза «Доложено 23 Сентября 1836.» и резолюция «Приказано объявить Г[осподину] Пршеславскому, что при первом разе, когда будет замечена в Тыгоднике какая либо двусмысленность статьи, то статья сия будет воспрещена» написаны другим почерком.

<sup>15</sup> Мордвинов Александр Николаевич (1792–1869) – с сентября 1831 г. по март 1839 г. управляющий III Отделением.

<sup>16</sup> Официальной газетой считалось издание, обладавшее исключительной привилегией публикации правительственных документов.

<sup>17</sup> Бенкендорф Александр Христофорович (1783–1844) – шеф жандармов и начальник III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии с 1826 г.

<sup>18</sup> Под «западными губерниями» подразумеваются так называемые литовские губернии – Виленская, Гродненская, Минская и Могилевская, не входившие в состав Царства Польского.



метить, что мера сия есть вместе с тем и мерою осторожности, долженствующею обеспечивать Правительство в согласности с его видами содержания газеты и что сие признано нужным по некоторым в течение сего года в Тыгоднике напечатанным статьям.

Как Ваше Превосходительство приказали мне, по соображению с обстоятельствами дать по сему [л. 1 об.] решительный ответ: то я осмеливаюсь представить некоторые мысли как в отношении средств к приведению сего предложения в действо, так и ожидаемых от одного последствий, мысли, внушаемые мне семилетним опытом в издании журнала и наблюдением местным обстоятельством края, для жителей коего он предназначен.

Касательно средств к исполнению сего предположения я должен откровенно сказать что к изданию Тыгодника на двух языках предвидятся важные, и, можно сказать, непреодолимые препятствия, из коих главнейшее состоит в приискании сотрудников, хорошо знающих оба языка. Число таких людей в Петербурге вообще весьма ограничено и все они заняты службою или хождением по делам<sup>19</sup>. Дабы они могли решиться оставить то или другое, и заняться постоянно переводом и сочинением статей для Тыгодника, нужно предложить им [л. 2] выгоды, по крайней мере заменяющие те, которые они теперь имеют, но Тыгодника расходуется только до пятисот экземпляров, а как притом с одной стороны издержки на издание его должны более чем удвоиться, а с другой нельзя предполагать чтобы подписка от того могла усилиться: то ясно, что хотя бы и не настояло недостатка в способных людях, всегда препятствовать будет недостаток в средствах для приобщения их и вознаграждения.

Что же от присоединения российского текста<sup>20</sup> к польскому невозможно ожидать умножения числа подписчиков, тому (отложив все рассуждения *a priori*) видимый пример представляет издаваемый в Вильне на двух языках «Литовский Вестник» (*Kuryer Litewski*)<sup>21</sup>. Для издания сей газеты в таком составе учрежден был Правительством особый Комитет; о сем нововведении

<sup>19</sup> После присоединения к Российской империи бывших земель Речи Посполитой у их жителей возникла необходимость обращаться, прежде всего, в Сенат как высшую судебную инстанцию Империи для решения вопросов, связанных с земельной собственностью и вопросами наследства. Поскольку большинство заинтересованных лиц, как справедливо отмечает Пржецлавский, недостаточно владели русским языком, возникла практика поручения ведения дел специальным ходатаям, постоянно жившим в Петербурге и представлявшим интересы иногда целых уездов (см. о них: Моравский, С. В Петербурге // Поляки в Петербурге... – С. 516–519).

<sup>20</sup> «Российский» здесь употреблено в значении «русский»; явный полонизм словоупотребления.

<sup>21</sup> «Литовский Курьер» – газета, выходившая в 1796–1840 гг. (1796–1797 гг. – в Гродно, затем в Вильне). С 1834 г. печаталась на польском и русском языках.

по всей Империи было опубликовано; Г[осподин] Министр Внутренних дел<sup>22</sup> циркулярными [л. 2 об.] предписаниями поручал всем Гражданским Губернаторам содействовать к собранию подписки; за всем тем, число подписчиков, сколько известно, не умножилось и если издание Литовского Вестника, от увеличения издержек для двойного текста, не прекратилось: то сие приписать надлежит или достаточности прежней подписки на покрытие оных, или более тому, что кроме подписки, Литовский Вестник имеет другой, еще надежнейший и более значительный источник дохода, именно плату за печатаемые в нем судебные публикации, имеющие официальную силу и частные уведомления<sup>23</sup>; Тыгодник же такого источника не имеет.

Как затем существование Тыгодника, никаким сторонним средством неподдерживаемое, зависит единственно от самого содержания его: то упомянув выше о вещественной так сказать невозможности издавать оный здесь на двух языках, позвольте мне Ваше [л. 3] Превосходительство сказать со всю откровенностью несколько слов о влиянии, какое в сем новом виде издание сие могло бы иметь на общее мнение и на зависящее от оногo число подписчиков.

В 1832 году, когда дело шло о обращении Тыгодника в официальную газету, в представленной о том Его Сиятельству Графу Александру Христофоровичу записке, я имел честь изложить некоторые по сему предмету замечания, которые найдены были основательными. Существо их заключалось в следующем:

Неприязненные чувства большей части жителей Царства Польского и Западных Губерний к России, произведшие в горестном последствии плачевные события 1830 года<sup>24</sup>, имеют единственным источником невежество; если бы они знали Россию в настоящем ее положении: то и чувства их были бы другие и самые события никогда бы последовать не могли. Не быв на месте невозможно себе [л. 3 об.] вполне представить, до какой степени легкомысленное невежество сие простирается; жители тамошнего края или усиленно отвергают всякие правильные сведения об Империи, или, большую частью по внушениям злонамеренных людей, составляют себе обо всем ложные и самые неблагоприятные понятия, которые более и более отчуж-

<sup>22</sup> Пост министра внутренних дел занимал в 1828–1831 гг. Арсений Андреевич Закревский (1786–1865).

<sup>23</sup> До мая 1862 г. правом печатать частные объявления обладали лишь «Санкт-Петербургские», «Московские» и «Полицейские ведомости». Предоставление подобного права изданию было исключительным фактом и являлось формой оказания скрытой финансовой поддержки со стороны предоставившего это право правительства.

<sup>24</sup> Речь идет о «ноябрьском восстании» 1830 г., давшем начало фактически освободительной войне поляков 1830–1831 гг.

дают их от Правительства и соделывают массу их истинно в моральном отношении нечастною.

Всякий благонамеренный человек, которому таковое положение вещей известно, не может не пожелать просветить жителей сего края в сем существенном для благоденствия их предмете. Правительство обратило на то полное внимание и одною из решительных принятых им мер, есть распространение в тамошних краях российского языка. Мера их, действующая на образуемое ныне в училищах юношество, должны со временем иметь совершенный [л. 4] успех к сближению двух соплеменных, но столь доселе обстоятельствами отчужденных народов; однако ж мера сия в настоящее время есть только приуготовительна и нельзя не заметить, что на существующее большинство жителей она не может иметь морального влияния и что дабы и на нынешнее поколение действовать постоянно в том же направлении, нужно другое, ближайшее средство.

Единственным такого рода средством представляется благонамеренное, периодическое на польском языке издание, которое имело бы основною целью рассеивать мрак, препятствующий сближению жителей Польши и Западных Губерний с Россиею и Русскими, ознакомлять их с благодетельными видами и действиями Правительства, с ходом законодательства и вообще с настоящим положением России и столь быстрыми успехами ея в общей образованности, науках, [л. 4 об.] словесности, художествах и промышленности. Но издание сие, долженствующее служить некоторого рода посредником между Россиею и Польшею и дать со временем исключительному польскому патриотизму, породившему столько бедствий, более, так сказать, общеславянский, дабы могло достигать таковой цели, должно быть с одной стороны, по разнообразию предметов, довольно привлекательно, а с другой снискивать доверенность читателей, для коих оно предназначено, беспристрастием вообще, чистотою намерений и благородною откровенностию изложения.

Виды сии, относившиеся к Тыгоднику, удостоились одобрения Графа Александра Христофоровича и дабы более упрочить существование сего журнала, Его Сиятельство изволил исходатайствовать в 1832 году Высочайшее повеление, чтобы [л. 5] газета сия признаваема была официальною по публикуемым в оной актам, относящимся к Царству Польскому.

Таковые виды не изменились и доселе и признанная нужда: в постепенном действии подобного издания на образ мыслей в Царстве Польском и Западных Губерниях, существует по прежнему, ибо злонамеренные люди не престают подстрекать умы и сердца, всегда готовые к принятию враждебных внушений, не смотря на принимаемые меры, расходятся по тамошнему краю печатаемые за границу сочинения, в коих намерения и распоряжения Правительства представляются в самом искаженном виде и с самой невы-

годной стороны; а как вредные сии внушения основаны на лжи и обмане и как лучшее противу них средство есть истина: то более чем когда либо нужно противудействовать им посредством журнала [л. 5 об.] который был бы точным и для всех понятным собранием сведений о России и верным указателем действий Правительства.

Я осмеливаюсь сказать, что издание на двух языках: не могло бы достигать таковой цели. В глазах жителей тамошнего края оно потеряло бы отпечаток той независимой приверженности издателя к Правительству, той добросовестности, уверенность в коей со стороны читателей единственно обещать может желаемый успех; оно было бы уже для них не отголоском истины и внутреннего убеждения, а орудием того Правительства, которое они столь мало знают и столь невыгодно себе воображают. Отчуждение их от сего Правительства столь еще сильно, что они не в состоянии ознакомиться с ним непосредственно и действия его по достоинству оценить; для сего [л. 6] им нужен еще посредник, и посредник говорящий на их языке, который руководствовал бы умы их к познанию истину и так сказать противу их воли внушал бы им, как детям, здравые о вещах понятия.

Поэтому нет сомнения, что Тыгодник с российским текстом, теряя в глазах читателей характер независимости мнений и беспристрастия, с одной стороны перестал бы соответствовать существенной своей цели, а с другой, неминуемо, и по той же самой причине, он лишился бы многих подписчиков, а тогда издание его, в моральном отношении уже бесполезное, сделалось бы и невозможным, ибо на подписку российских читателей, при таком изобилии хороших российских журналов, вовсе полагаться нельзя.

За сим рождаются естественно вопросы: издание Тыгодника соответствовало ли доселе [л. 6 об.] изложенным выше началам, и ежели соответствовало: то произвело ли успех?

Сдесь надлежит принять в соображение, что, до появления Тыгодника, не было на польском языке газеты, которая бы постоянно и с желаемую точностью сообщала нужные о России сведения; в особенности Варшавские газеты почти не заключали известий их Империи. В Тыгоднике же известия сии, по самому плану его, составляют главное содержание и в продолжение семилетнего существования своего, газета сия была верною и непрерывною хроникою всего достопримечательного, происшедшего в России. Тыгодник неотступно следовал за всеми незабвенными подвигами, успехами и улучшениями, которыя во всех отношениях столь блистательно ознаменовали сию начальную эпоху достославного настоящего Царствования и одно точное изложение и постоянное помещение [л. 7] известий о них, не могло не иметь хорошего влияния на заблужденныя понятия. Но Тыгодник сим не ограничивался: издатель не упускал никогда из виду главной обязанности своей, и пользовался всяким случаем для высказаня соотечественникам

своим полезных истин; для представления в настоящем виде благих намерений Правительства, которые без того были бы не поняты или сделались бы предметом превратных толкований. Сие стремление Тыгодника замечено было и оценено было скрывшимися за границу Польскими мятежниками; еще в самом начале так называемой эмиграции они помещали в Парижских газетах многие противу Тыгодника выходки и издатель его провозглашен был изменником отечества.

Что касается до других частей внутреннего состава Тыгодника общий дух, всегда в нем господствующий, есть дух порядка и умеренности. В нравственных науках и в области литературы, журнал сей постоянно привоборствует пагубным иностранным нововведениям, общему искажению вкуса а в особенности распространению идей так называемой ново-французской школы.

Какой доселе был непосредственный успех посильных трудов моих: о том с точностию сказать невозможно, ибо успехи сего рода не подлежат вычислению; но с полною уверенностию можно предположить, что Тыгодник имел влияние небезполезное, что он способствовал к искоренению не одного вредного предубеждения, к исправлению не одного ложного понятия; я даже имел многие частные, весьма для меня утешительные тому примеры. Видимая же польза от Тыгодника есть то, что он служит постоянным для Варшавских газет правильных и точных о России известий, которые ими перепечатаются и распространяются по Царству Польскому [л. 8] жители коего, в прежнее время, быть может с намерением, удерживаемы были почти в совершенной неизвестности обо всем, что им нужно и полезно знать об Империи.

В продолжение семи лет существования Тыгодника, издатель подвергся двум, со стороны высшего Начальства замечаниям; но и в сих, немногих случаях, данные им объяснения (честь и хвала Начальству, которое позволяет объясняться) признаны были удовлетворительными и оказалось, что это были одни недоразумения. Как Ваше Превосходительство не изволили указать мне какие именно статьи Тыгодника ныне обратили внимание: то я не могу представить подробного оправдания; но позвольте мне Ваше Превосходительство думать, что и оне принадлежат к тому ж разряду; если же в них, сверх всякаго ожидания, действительно находится что либо противное одобренным [л. 8 об.] началам издания Тыгодника: то сие единственно от неосмотрительности могло случиться, ибо чистота намерений моих никогда не подвергалась сомнению и в том я смело могу сослаться на всю жизнь мою и известный образ мыслей.

Как из всего вышеписанного следует, что издание Тыгодника на двух языках с одной стороны было бы крайне затруднительно (чтобы не сказать невозможно) а с другой что оно перестало бы соответствовать настоящей

цели своего журнала: то я осмеливаюсь покорнейше просить Ваше Превосходительство, вникнув с благосклонным вниманием во все обстоятельства сего предмета употребить ходатайство Ваше об оставлении издания Тыгодника на существующем основании и в настоящем его составе до времени, когда по обстоятельствам признано будет, что изменение образа его издания может принести [л. 9] желаемую пользу. Дабы же и Правительство могло быть твердо обеспечено во всегдашней согласности содержания Тыгодника с видами его и я сам огражден был от неумышленных погрешностей и от недоброжелательных толкований позвольте мне Ваше Превосходительство представить Вам на благоуважение меру, которая вполне достигать должна сей двоякой цели. Мера сия состоит в том, чтоб статьи (кроме тех, которые не подлежат никакому рассуждению) предполагаемые к помещению в отделениях Наук, Литературы и Смеси и даже почерпнутые из российских газет, но могущие дать повод к какому либо двусмыслию или истолкованию, кроме обыкновенной Цензуры, предварительно просматриваемы были в управляемом Вашим Превосходительством Отделении собственной Его Величества [л. 9 об.] Канцелярии не по правилам общего Цензурного Устава, а по соображениям внутреннего их смысла с действием, какое каждая из сих статей может иметь на понятия читателей Тыгодника.

В заключение осмеливаюсь присовокупить и то, лично меня касающееся обстоятельство, что собственность издания Тыгодника составляет единственное мое имущество<sup>25</sup>, дающее мне средство к содержанию с семейством<sup>26</sup>.

Коллежский Ассесор Осип Пржецлавский

20 Сентября 1836 года.

<sup>25</sup> «Тыгодник» принесил прибыль, и это стало одним из поводов к разрыву Франтишка Малевского с Пржецлавским. З. Судольский в многотомном издании корреспонденции членов тайных студенческих обществ Виленского университета опубликовал черновик письма Ф. Малевского конца 1831 г. О. Пржецлавскому, в котором, в частности, сказано: «Признаю, что был столь глуп, что порукой в получении будущих прибылей и лишь в четвертой их части было для меня только твое слово» (см.: *Listy z zesłania*, t. 3, Warszawa, 1999. – S. 358).

<sup>26</sup> О.А. Пржецлавский женился на своей бывшей квартирной хозяйке, вдове Хвостовой, имевшей от первого брака трех дочерей. От этого брака у него родился сын, Антон Осипович Пржецлавский.

## СТРАДАНИЯ ОТСТАВНОГО ЦЕНЗОРА (К истории публикации воспоминаний О.А. Пржецлавского: по письмам О.А. Пржецлавского к П.И. Бартеневу 1872–1873 гг.)

На одной из конференций, проходивших в РНБ, автору данной публикации довелось сделать доклад «Страдания будущего цензора»<sup>1</sup>, посвященный мытарствам Юзефа Пшецлавского как редактора газеты, столкнувшегося с упорством ее цензора – Павла Гаевского. Доклад основывался на хранящихся в ОР РНБ письмах Пшецлавского. Настоящее сообщение представляет собой вторую часть нашей небольшой историко-эпистолярной диалогии, что видно уже из его названия. Материал представили письма тайного советника Осипа Пржецлавского (поскольку речь идет уже не о польском журналисте, а о российском чиновнике, мы далее будем употреблять именно русифицированную версию его имени) к издателю журнала «Русский Архив» Петру Бартеневу, хранящиеся в РГАЛИ (фонд № 46).

Переписка шла в течение 1872–1873 гг. в связи с публикацией на страницах «Русского Архива» первых глав воспоминаний Осипа Антоновича «Калейдоскоп воспоминаний». Они печатались под именем «Ципринус»: на родовом гербе Пшецлавских был изображен карп, латинское название которого и послужило основанием для псевдонима.

Судя по всему, протекцию Пржецлавскому оказал один из сыновей поэта-партизана Д.В. Давыдова, Василий Денисович Давыдов (1820 или 1822–1882), который напоминает об этом в письме П.И. Бартеневу от 10 октября 1873 г.: «Тому два года судьба натолкнула меня на Ос[ипа] Ант[оновича] Пржецлавского, по его литературным трудам, и доставила

<sup>1</sup> См.: Федута, А.И. Страдания будущего цензора (Письма О.А. Пржецлавского П.И. Гаевскому) // Цензура в России: История и современность: сб. науч. тр. – СПб., 2008. – С. 142–149.

мне случай помочь ему поместить их на страниц. Рус. Архива. Это налагает на меня в некотором роде обязанность принять на себя, по его желанию, звание посредника в недоразумениях возникших между Вами и ним»<sup>2</sup>. К «недоразумениям» мы вернемся чуть позже, поскольку они были следствием как принципиальной позиции мемуариста и издателя, так и вмешательства внешних сил, достаточно влиятельных, чтобы доставить Пржецлавскому массу не предвиденных им переживаний. Скажем лишь, что В.Д. Давыдов был помещиком Торжокского уезда Тверской губернии, вероятней всего, в этом качестве был знаком с Пржецлавским и решил – вполне по-соседски – оказать услугу старику, тем паче, что сам как раз в описываемый период активно публиковал на страницах исторических журналов материалы, связанные с жизнью своего героического отца.

Первая публикация О.А. Пржецлавского на страницах «Русского Архива» – это «Иосафат Огрызко и его польская газета “Слово”»<sup>3</sup>. Эта статья представляла собой ответ Николаю Васильевичу Бергу, недвусмысленно намекавшему в своих «Записках о последнем польском восстании», опубликованных в журнале Бартенева в 1870 г., на то, что некий высокопоставленный поляк покровительствовал И. Огрызко, который лишь благодаря этому смог открыть газету, активно готовившую (по мнению Берга) восстание 1863–1864 гг. Пржецлавский справедливо усмотрел в этих намеках атаку на себя и предпочел кулуарной защите защиту публичную. Семидесятитрехлетний старик продемонстрировал при этом хорошую память и бойкое перо, что вполне удовлетворило редактора: Бартенев предложил Пржецлавскому опубликовать на страницах журнала уже прямые воспоминания.

Судя по всему, первый этап эпистолярного общения редактора с будущим автором «Русского Архива» произвел на последнего несомненное впечатление. Во всяком случае Осип Антонович пишет с нескрываемым удовольствием (письмо от 14 мая 1872 г.): «Много обстоятельств сложилось на то, что я так несвоевременно отвечаю на любезное и искреннее письмо Ваше. Но я дня через 4 или 6 надеюсь приехать в Москву и лично засвидетельствовать Вам мое почтение, переговорить о сотрудничестве, столько для меня важном, к которому изволите меня приглашать. Искренне благодарю за помещение в Архиве моей статьи и присылку гонорара»<sup>4</sup>.

Однако в дальнейшем тон меняется. Несмотря на то, что Пржецлавский с благодарностью отмечает обязательность Бартенева в финансовых расчетах (например: «Я имел честь получить Ваше письмо от 12 сего сентября со включением 120 руб. гонорария за мою статью о Новосильцове; очень бла-

<sup>2</sup> РГАЛИ. Ф. № 46. Оп. 1. Ед. хр. 565. Л. 235.

<sup>3</sup> Русский Архив. 1872. Т. 5. Стлб. 1031–53.

<sup>4</sup> РГАЛИ. Ф. № 46. Оп. 1. Ед. хр. 564. Л. 219.



годарен Вам за аккуратность»<sup>5</sup>), Осип Антонович всерьез огорчен манерой Бартенева комментировать пришедшиеся ему не по нраву тексты. Например, пассаж в очерке Пржецлавского «Сенковский, разочарованный, озлобленный постоянными неудачами, испытывавший на себе Вергилиево “sic vos pop vobis”, оставил наконец свои честолюбивые затеи и всецело бросился в русскую литературу. Он прекрасно сделал: последствия показали, что такое было истинное его призвание»<sup>6</sup>, Бартенева снабжает следующим комментарием: «Читатели наши чувствуют всю оскорбительность этого замечания и припомнят статью кн. В.Ф. Одоевского о значении Сенковского и Булгарина в русской печати (Р[усский] Арх[ив] 1864, изд. 2-е, с. 1015). Со временем история не оставит без упрека представителей тогдашней нашей словесности за то, что они допустили разных проходимцев распоряжаться судьбами русского печатного слова, и помянет с благодарностью о противодействии, которое хотя отчасти оказывал барон Дельвиг своею “Литературной газетою” и позднее Пушкин “Современником”; но первого из них погубил граф Бенкендорф, а второго – пуля проходимца-француза. П.Б.»<sup>7</sup>.

Разумеется, Пржецлавский, несмотря на крайнее негативное отношение к Сенковскому, немедленно бросается в бой: «Не скрою от Вас, уважаемый Петр Иванович, что и очень удивило и огорчило примечание Ваше в столбце 1933 № 10, начинающееся словами “Читатели наши чувствуют всю оскорбительность (!) этого (то есть, моего) замечания” и т.д. Скажите, на милость, кого я оскорбил сказавши что “Библиотека для чтения” Сенковского имела большой успех? Ведь это во 1-х факт, что он от этого издания нажил порядочное состояние, а во 2-х, как и кто может приписывать мне намерение, которого я не имел? Не есть ли это немного злоупотреблять правом издателя делать примечания к публикуемым им статьям? Я непременно должен ответить, дабы очистить себя пред вашими читателями, к которым Вы обращаетесь и попрошу Вас также непременно напечатать мой ответ. <...> Во избежание на будущее подобных столкновений, которые могут повести нас далеко, я просил бы Вас о следующем: всякий раз, когда Вам будет угодно делать замечания на мои статьи, не премините же возможным сообщать мне их прежде напечатания в номере; ведь для этого будет довольно времени, судя по периодам выхождения номеров Архива. Может случиться, что по обстоятельствам моим, которые я сообщать буду без потери времени, Вы от некоторых примечаний откажетесь, а в других подпишете изменения. Сами писали мне о тех ответах, которые я Вам послал с живым вручением моим

<sup>5</sup> Пржецлавский, О.А. Письмо П.И. Бартенева от 18 сентября 1872 г. // РГАЛИ. Ф. № 46. Оп. 1. Ед. хр. 564. Л. 409.

<sup>6</sup> Пржецлавский, О.А. Калейдоскоп воспоминаний. Гл. II. Адам Мицкевич // Русский Архив. 1872. Стлб. 1933.

<sup>7</sup> Там же.

сыном, показывает, что они были дельны. Средство, предлагаемое мною, предупредило бы такую безысходную и одностороннюю полемику»<sup>8</sup>.

Резон в подобных рассуждениях Пржецлавского есть. Как есть у него и несомненное право оспаривать замечания Бартенева: в конце концов, он в своих воспоминаниях не обязан отвечать за дурную репутацию в глазах части российского общества своих земляков – в том числе О.И. Сенковского. Пржецлавский искренне не понимает, почему вдруг так изменился любезный тон Петра Ивановича, и со всем своим бойцовским темпераментом бросается на него в атаку, надеясь переубедить: «Я записываю известные мне факты и события, но вместе с тем и мысли, и не могу отказаться от мышления, от суждения, правильного или ошибочного, последнего же я не допускаю, покуда это не доказано (Иначе я стараюсь уметь). Между тем я замечаю, что Вы иначе понимаете условия, которых требуете от тех, которые пишут для Вашего издания; манера моя не одобрена Вами, и то одно, то другое находите не соответствующим Вашей программе. Я же не могу привыкнуть к таким стеснениям, да и не могу хорошенько уяснить себе, в чем именно состоят эти рамки, в которые Вы желаете заключить пишущего для Р. Архива. Согласитесь, уважаемый Петр Иванович, что мысль о том, что Вам может не понравиться (из того, что нравится другим и за что меня благодарят), всегда присущая при моей работе, не может не парализовать ее, не удерживать на всяком шагу, для высказывания того, что я считаю уместным и даже нужным. Я много писал для публики, издавал в течение 29 лет газету, и никогда не написал ничего неуместного, ничего такого, чего не мог бы отстоять пред судом здравой критики. Трудно, даже невозможно мне теперь, на старости лет, учиться снова привыкать и писать по такой методе, которую я даже не могу себе уяснить. Вот мое положение в отношении к Вам, обрисованное со всею откровенностью. Что мне остается делать?»<sup>9</sup>.

Пржецлавский даже не подозревает, какое мощное давление оказывается в этот момент на П.И. Бартенева, чтобы тот прекратил любой ценой печатать воспоминания «Ципринуса». Приведем лишь один конкретный пример.

Племянник Бартенева, известный позже историк литературы (в частности, публикатор фрагментов архива М.П. Погодина) Н.П. Барсуков, пишет дядюшке: «Прежде всего, считаю своим долгом Вас уведомить о нижеследующем: На днях я получил из Баден-Бадена (Langestrass, 8) письмо от Кн. П.А. Вяземского, в котором он, как я и ожидал, негодует – за вступление в “Русский Архив”, в сей священный ковчег старины нашей, “враля Бурна-

<sup>8</sup> Пржецлавский, О.А. Письмо П.И. Бартеневу от 21 октября 1872 г. // РГАЛИ. Ф. № 46. Оп. 1. Ед. хр. 572. Л. 488–489.

<sup>9</sup> Пржецлавский, О.А. Письмо П.И. Бартеневу от 25 января 1873 г. // РГАЛИ. Ф. № 46. Оп. 1. Ед. хр. 565 (ч. I). Л. 82 (об.) – 83.

шева”, который прославился своими лживыми и холопскими сплетнями. <...> Негодует и полковник Кропотов, много и долго изучавший и изучающий “Муравьевщину”, за таковое же впускание Пржелавского (sic!), у которого, по словам реченного полковника, что ни слово, то ложь»<sup>10</sup>.

«Реченный полковник» Д.П. Кропотов – известный автор апологетической биографии графа М.Н. Муравьева-Виленского. Очевидно, что публикация воспоминаний поляка, напрямую касающихся времени, описанного в кропотовском труде (он издал лишь первую часть, где М.Н. Муравьев выступает в должности гродненского губернатора), воспринимается полковником как своеобразный вызов.

Но полковника Кропотова с его негодованием Бартенева может кое-как снести: мало ли, в конце концов, полковников, занимающихся историческими трудами. С князем же Вяземским намного сложнее. Бывший товарищ министра просвещения, сенатор, человек с огромными связями и влиятельными родственниками, Вяземский оказывает бартеневскому журналу постоянную протекцию. Именно он обращает внимание на «Русский Архив» императора Александра II. Поссориться с Вяземским – значит, настроиться против себя многих далеко не рядовых читателей. И хотя в цитированном выше письме Барсуков указывает лишь на гнев Вяземского по поводу другого публикуемого Бартеневым мемуариста – В.П. Бурнашева, несколько позже становится понятно: для Вяземского Пржецлавский и Бурнашев – фигуры совершенно одного порядка, и Бартенева обязан прекратить публикацию их текстов. Об этом уполномочен сообщить дядюшке все тот же Н.П. Барсуков: «Ради Христа, любезнейший дядюшка, развяжитесь какнибудь с Бурнашевым и Ципринусом. Кн. Вяземский негодует на Вас за направление, которое принял в последнее время “Р[усский] Архив”, благодаря впусканию этих господ. Негодование это разделяют и все почтенные люди (в том числе и Афан[асий] Фед[орович]<sup>11</sup>). А за Новосильцова Кн. Вяз[емский] на Вас не на шутку разсердился и только своим последним письмом к нему Вы и разжалобили его и обезоружили его гнев. Эти слова помещены в приписке; а в письме весь 9 №<sup>12</sup> Князь назвал “отхожим местом, где испражняются Ципринус и Бурнашев”; а первого он назыв[ает] “польским Бурнашевым”. По поручению Князя препровождаю к Вам его притчу и другие стихи»<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> Барсуков, Н.П. Письмо П.И. Бартенева от 18 сентября 1872 г. // РГАЛИ. Ф. № 46. Оп. 1. Ед. хр. 564. Л. 407–407 (об.).

<sup>11</sup> Имеется в виду академик А.Ф. Бычков, директор Императорской публичной библиотеки.

<sup>12</sup> «За исключением записок Веберна» – примечание Н.П. Барсукова.

<sup>13</sup> Барсуков, Н.П. Письмо П.И. Бартенева от 10 октября 1872 г. // РГАЛИ. Ф. № 46. Оп. 1. Ед. хр. 564. Л. 429.

Очевидно, что совершенно хамские оценки даются П.А. Вяземским с пониманием того, что они будут переданы племянником Бартеневу, и едва ли не с прямым расчетом на то, что они будут ему переданы. Для Вяземского точно вопросом чести становится прекращение публикации в «сем священном ковчеге старины нашей» – «Русском Архиве» – негодных ему авторов.

Поэтому, кроме хамства, для выражения своего крайнего недовольства редакционной политикой Бартенева Вяземский поручает Барсукову переслать дяде свои эпиграммы на фигуры, наиболее раздражающие его в современной исторической журналистике. Под огонь попадают А.Н. Пыпин, Н.И. Костомаров, В.П. Бурнашев и О.А. Пржецлавский. На наш взгляд, именно Пржецлавский является адресатом следующей эпиграммы, или, как выражается Барсуков, «притчи»:

Заштатный уж давно какой-то сивый мерин,  
В журнальной упряжи опять являться стал:  
Но вскоре все нашли, что он в езде так скверен,  
Что на солому вновь в конюшню он попал.  
Он ржанием своим Бартенева пленяет:  
Дай прокачусь на нем, Бартенева порешил,  
В архивный свой рыдван он клячу запрягает  
И думает, что в ход он рысака пустил<sup>14</sup>.

Пржецлавский является, на наш взгляд, главным претендентом на статус адресата этой не слишком вежливой притчи-эпиграммы именно в силу своего возраста: он значительно старше В.П. Бурнашева. Но в данном случае нас интересует другое: зачем Вяземский пересылает Бартеневу – да еще через его племянника! – этот текст, ударяющий по самолюбию редактора «Русского Архива»? Ответ напрашивается сам собой: именно потому, что его цель – ударить больнее. Зная, что Бартенева не сможет защититься от эпиграммы, не пойдя на прямой конфликт с ее автором, князь попросту шантажирует своего друга: докажи, что ты не такой!..

Судя по письмам Пржецлавского, Бартенева все-таки пытался максимально смягчить последствия публикаций воспоминаний «Ципринуса». Об этом, в частности, свидетельствует следующий пассаж: «Я совершенно согласен на Ваше предположение не ставить в статье о Новосильцове полной фамилии нынешней графини Шуваловой, а только начальную букву, хоть впрочем в том, что об ней говорится, нет ничего оскорбительного»<sup>15</sup>. Речь идет о бывшей фаворитке Н.И. Новосильцова Текле Зубовой (урожд. Вален-

<sup>14</sup> Барсуков, Н.П. Письмо П.И. Бартеневу от 10 октября 1872 г. // РГАЛИ. Ф. № 46. Оп. 1. Ед. хр. 564. Л. 429–429 (об.).

<sup>15</sup> Пржецлавский, О.А. Письмо П.И. Бартеневу от 8 июля 1872 г. // РГАЛИ. Ф. № 46. Оп. 1. Ед. хр. 564. Л. 333.

тинович, во втором браке Шуваловой), которой молва приписывала весьма вольное поведение после смерти ее первого супруга князя П.А. Зубова<sup>16</sup>.

Однако дело явно не ограничивалось подобного рода минимализацией эффекта от публикации текста. Судя по всему, редакторские примечания использовались Бартевым именно для того, чтобы дистанцироваться от мемуариста, заявив собственную позицию как альтернативную. Это вызывает буквально душевный вопль Пржецлавского: «Я также никак не могу согласиться с Вашим положением, что ответы на Ваши замечания не входят в программу Вашего издания. Если входит одно, то неминуемо входит и другое. Иначе это был бы какой-то новый, доселе неизвестный в литературе режим, чрезвычайно похожий на деспотизм, чтобы не сказать на тиранию. Сотрудники Ваши составляли бы какое-то безответное, бессловесное стадо,

<sup>16</sup> Профессор Виленского университета И.Н. Лобойко так объясняет сложившуюся ситуацию: «Года за два до начатия им в Вильне следствия княгиня Зубова, оставшись вдовою после князя Платона Зубова, владевшего в Курляндии и Виленской губернии огромными имениями, завела процесс с Жеребцовыми, ближайшими его родственниками. Княгиня Зубова приласкалась к Новосильцову, ища его покровительства для выгодного выдела наследства на свою долю. По наставлению матери своей, виленской небогатой помещицы Валентинович она так нежно обращалась с Новосильцовым, что он возымел надежду на ней жениться и не скрывал от нее этого желания. Мать и дочь ухватились за эту мысль и поддерживали его уверениями в этом мнении. Новосильцову было тогда уже за 70, но он был еще бодр. <...> Надежда жениться на княгине Зубовой и разбогатеть на ее счет казалась Новосильцову столь верною, что он принялся со всею горячностью обрабатывать это дело, считая его своим собственным» (см.: Лобойко, И.Н. Мои воспоминания // Вильна 1823–1824: Перекрестки памяти. – Минск, 2008. – С. 163). – Следует отметить, однако, что в воспоминаниях Пржецлавского (по крайней мере, в их опубликованной версии), действительно, не содержится ничего оскорбительного для экс-княгини – комическим выглядит, скорее, незадачливый ухажер: «Эта его любовная страсть, запоздалый цветок глубокой осени жизни, была для жителей Вильны неисчерпаемым источником смеха. Чтобы прельстить молодую вдову и пленить ее сердце, Новосильцов, забывая свои лета и положение, пускался в невероятные эксцентричности и на них тратил большие деньги. Журнал его ухаживаний за княгинею занял бы немало страниц. Каждый день были новые праздники, сюрпризы, пикники, кавалькады, обеды, балы и т.д. В гимнастической части этих увеселений Новосильцов был первым действующим лицом. Он сделался с лихим наездником, и отчаянным танцором. Вообразите себе Бахуса с седыми волосами, как он трясся на лошади или кружился в танце. В честь княгини он возобновил давно забытый менуэт и воображал себе, что танцует его превосходно. Видя эти упражнения, не выдержал бы и сам Гераклит; неудивительно, что вся Вильна без умолку хохотала, и что эхо этого хохота отзывалось в Петербурге и Варшаве.

Поведение княгини в этом случае было как нельзя более тонко и дипломатично. По-видимому, все это ее забавляло; но сомнительно, чтобы седому ловеласу она подавала какие-либо надежды» (см.: Пржецлавский, О.А. Воспоминания // Поляки в Петербурге в первой половине XIX века. – М., 2010. – С. 110).

которое Вы можете бичевать сколько Вам угодно, а они должны все это терпеть!

И вот к чему это ведет: такие сотрудники, не находя у Вас места для своего оправдания, станут прибегать к другим изданиям, и тогда выйдет небывалый скандал борьбы сотрудников с издателем. Не найдя места для ответа на ваши замечания к статье о Катихизисе, я должен был напечатать его в “С.П.бских Ведомостях” (№ 249). Предлогом для этого послужили мне выходы в “Голосе”, и я, сколько мог, пощадил ваши замечания в моем ответе. Но в другой раз, если Вы, Милостивый Государь, не позволите мне отвечать у Вас же, я прямо уже на Вас пожалуюсь читающей публике и горько пожалуюсь. По необходимости я должен согласиться на помещение моих ответов в “Беседе”, хотя, повторяю, это составляет в литературе пример не заслуживающий подражания, по моему мнению»<sup>17</sup>.

Пржецлавский грозит обратиться к читателям журнала, вынеся за пределы редакции внутривредакционную склоку. Бартенева печатает многочисленные ответы и возражения «Ципринусу», в том числе П.В. Кукольника, Н.В. Берга, очерк П.А. Вяземского «Мицкевич о Пушкине», явно написанный с целью дезавуирования соответствующих страниц воспоминаний Пржецлавского. Самолюбие старика задето. Он пишет редактору «Русского Архива»: «Вы изволите писать мне об упреках, которым подвергаются мои статьи – я бы мог сообщить немало писем из Петербурга и сослаться на многие устные отзывы, до того одобрительные, что мне совестно их повторять пред Вами как пред издателем “Русского Архива”»<sup>18</sup>. Вероятно, основания для такого заявления были: даже в архиве самого Бартенева нам удалось обнаружить одно письмо, автор которого, М. Топильский, просит: «При случае не оставьте, если только можно, сказать мне, для собственного сведения, кто такой Ципринус, которого статьи очень интересны»<sup>19</sup>. Однако это слишком слабый аргумент: основная масса отзывов на тексты Пржецлавского, сохранившихся в архиве Бартенева, носит резко негативный характер.

Пржецлавский прибегает к запрещенным приемам. Он начинает апеллировать к своей старости и состоянию здоровья: «Я заболел глазами и не мог продолжать, даже сейчас еще доктор, под страхом самой грустной перспективы для моих старых глаз, не позволяет работать иначе как с большими промежутками. Это одно и главное; затем я должен откровенно сказать, что возникшие в последнее время натянутые между нами отношения не могут

<sup>17</sup> Пржецлавский, О.А. Письмо П.И. Бартенева от 28 октября 1872 г. // РГАЛИ. Ф. № 46. Оп. 1. Ед. хр. 564. Л. 519 (об.) – 520 (об.).

<sup>18</sup> Пржецлавский, О.А. Письмо П.И. Бартенева от 4 января 1873 г. // РГАЛИ. Ф. № 46. Оп. 1. Ед. хр. 565. Л. 25.

<sup>19</sup> Топильский, М. Письмо П.И. Бартенева от 14 декабря 1872 г. // РГАЛИ. Ф. № 46. Оп. 1. Ед. хр. 564. Л. 525 (об.).

служить к поощрению меня в довольно трудной работе»<sup>20</sup>. При этом натянутые отношения с редактором ставятся в один ряд с болезнью.

Пржецлавский пытается «завлечь» Бартенева значимостью поднимаемых вопросов: «...При первой физической возможности я окончу и пошлю Вам начатую мною главу, озаглавленную Литва десятых и двадцатых годов с Вступлением, в котором я излагаю свои мысли об условиях, необходимых русским, изучающим Польшу и полякам для основательности их суждений, и вообще о междуплеменных отношениях, которые рано или поздно должны прийти из теперешнего ненормального в нормальное положение. Это разсуждение, по мнению моему, как нельзя более современно теперь, после заявлений Чайковского (Садык-паши) в 6 № “Моск. Ведомостей” и после брошюры бывшего министра просвещения в Ц[арстве] П[ольском] Крушвицкого. Издания русской прессы, которые будут способствовать к ускорению момента вождеденного сближения двух соотечественных племен, приобретут себе истинную и у современников и у потомков заслугу, окажутся истинно патриотическими в самом возвышенном понимании этого слова»<sup>21</sup>. Наконец, заканчивает «Ципринус» письмо прямым шантажом: «Если глава о Литве не удостоится Вашего, Милостивый Государь, одобрения, то сами признайте естественным и справедливым, что с дальнейшею моею деятельностью мне придется обратиться в другую сторону»<sup>22</sup>.

Отставной цензор не может понять, что именно этого от него, судя по всему, и добивается Бартенева, уставший и от склочного характера и бойцовского темперамента своего скандального автора, и от давления влиятельных читателей и авторов, с которыми он предпочел бы никак не ссориться ради Осипа Антоновича. Поэтому и вовсе безысходностью дышат строки Пржецлавского, когда он защищает свое человеческое достоинство, сопряженное в его глазах с естественной возможностью на ответ оппонентам: «Прося меня впредь не обращаться к Вам с жалобами, Вы отнимаете у меня право, которое служит всем без исключения человекам и во всех возможных случаях. Вы, многоуважаемый Петр Иванович, забыли на этот раз не терпящую изменения юридическую аксиому: <...> “Жалобу можешь оставить без последствий, но запрещать жаловаться...”»<sup>23</sup>. А в тот момент, когда вспоминаешь биографию автора этих строк, то боровшегося с произволом цензуры, то создававшего себе репутацию жесткого и сурового цензора, думаешь об

<sup>20</sup> Пржецлавский, О.А. Письмо П.И. Бартенева от 25 января 1873 г. // РГАЛИ. Ф. № 46. Оп. 1. Ед. хр. 565 (ч. 1). Л. 82.

<sup>21</sup> Там же. Л. 83–83 (об.).

<sup>22</sup> Там же. Л. 84.

<sup>23</sup> Пржецлавский, О.А. Письмо П.И. Бартенева от 4 января 1873 г. // РГАЛИ. Ф. № 46. Оп. 1. Ед. хр. 565. Л. 24 (об.) – 25.

иронии судьбы и о том, что любимым жанром Истории является трагикомедия.

Василий Давыдов, выступивший когда-то в роли посредника при знакомстве Пржецлавского и Бартенева, просит редактора «Русского Архива»: «Хотя я получил от него (О.А. Пржецлавского. – А.Ф.) весьма подробные об этом сведения, но я не буду ныне входить в разбор справедливости его доводов, но позволю себе обратиться к Вам с покорнейшею просьбою, если нет исключительных, мне не известных обстоятельств, покончить с ним дело следующим образом.

Все его желание состоит в том, чтобы получить от Вас высланной им первой части его статьи “Литва в 1810 и 1820 годах” вместе с уничтожением его обязательства печатать исключительно в “Рус[ском] Арх[иве]” свои воспоминания на том основании, что договор, сделанный между вами относительно его сотрудничества по силе обстоятельств развалился сам собою и перестал быть обязательным. Это дает средство г. Пржецлавскому печатать в других изданиях свои труды. Что же касается обязательства не печатать “Калейдоскопа” в форме книги не ранее года со дня напечатания в Архиве последней его главы, то он сохраняет свою силу несмотря на уничтоженный договор ваш.

Вот почтеннейший Петр Иванович, просьба наша общая с г. Пржецлавским. Мне кажется, она вполне может быть Вами принята, если нет других препятствий. Сколько мне сдается, Вы не имеете уже намерения печатать у себя его “Воспоминаний” в виду их небытностей<sup>24</sup> (?) и потому какая может быть Вам в них польза? И почему Вам не возвратить его рукопись и уничтожить с ним договор, который имел свою силу прежде, но ныне перестанет иметь пользы. Этот слабый старик, даже больной, ждет свои рукописи от Вас; он имеет намерения напечатать свои повествования. Не мешайте ему и доставьте его рукопись и договор племяннику его, Владимиру Савельевичу Пржецлавскому на Петровский бульвар в собственный дом. Если моя искренняя об этом просьба может чем-то иметь влияние на Ваше решение, то я буду счастлив помочь мирному разрешению»<sup>25</sup>.

Желание отставного цензора было исполнено. Как и условлено было с Бартеневым, публиковавшиеся на часть гонорарных сумм отдельные оттиски его статей были переплетены и вышли в свет как «Калейдоскоп воспоминаний Ципринуса. Выпуск 1». Второго выпуска не последовало. Не осмелился Пржецлавский включить в первый выпуск «Калейдоскопа» и

<sup>24</sup> Вероятно, имеется в виду, что у Пржецлавского больше нет законченных мемуарных текстов и все, предназначавшееся для печати, уже опубликовано.

<sup>25</sup> Давыдов, В.Д. Письмо П.И. Бартенеvu от 10 октября 1873 г. // РГАЛИ. Ф. № 46. Оп. 1. Ед. хр. 565 (ч. II). Л. 235–236 (об.).



наиболее скандальный из своих мемуарных текстов, вызвавший целый залп печатных критических оценок, – очерк о Н.Н. Новосильцове.

П.И. Бартенев распрощался с «Ципринусом» чрезвычайно некрасиво. Перечисляя провинности незадачливого мемуариста, редактор «Русского Архива» завершает текст под заглавием «По поводу воспоминаний г-на Ципринуса» следующим обоснованием публикации скандальных очерков: «Теперь, мы думаем, становится понятною та цель, с которою мы печатали эти статьи. О ней мы не упоминали прежде, чтобы не предубеждать читателей, чтобы они, читая статьи с полною непосредственностью, сами на себе испытали силу впечатлений, сами поняли, как легко поддаются влиянию отравы, когда она подносится в таком изящном, замаскированном рецепте, с таким очаровательным ароматом откровенности. Для большинства русских читателей это новая, еще неведомая азбука, которой надобно поучиться и поучиться, чтобы потом без ошибки разбирать некоторые мудреные документы русско-польской истории. <...> Русская натура крепко устоит против открытого врага, будет ли он физический или нравственный враг; но слаба она, чересчур слаба, когда этот враг подступает к ней с медоточивыми устами, с выражением покорности своей судьбе, со словами примирения. Вот почему верно прикладываются к русскому человеку, по-видимому, парадоксальные слова: избавьте меня от друзей, а с врагами я сам как-нибудь управлюсь»<sup>26</sup>.

Попытка напечатать текст воспоминаний при жизни автора в других изданиях – в частности, у М.И. Семевского в «Русской Старине» – также не принесла Осипу Антоновичу ни славы, ни денег. Впрочем, как нам кажется, он не искал ни того, ни другого. Он был уже в том возрасте, когда, по словам его оппонента, другого бывшего видного цензора, Павла Кукольника, «если может возникнуть некоторое сомнение по той причине что я, особенно в начале статьи, говорю о себе, лице живущем еще, то вспомните, что, судя по моим летам, в скором времени и меня сдадут в архив!!»<sup>27</sup>.

Архив Осипа Антоновича Пржецлавского не сохранился.

<sup>26</sup> Бартенев, П.И. По поводу воспоминаний г-на Ципринуса // Русский архив. 1873. № 1. Стлб. 1056.

<sup>27</sup> Кукольник, П.В. Письмо П.И. Бартенева от 15 сентября 1873 г. // РГАЛИ. Ф. № 46. Оп. 1. Ед. хр. 565 (ч. II). Л. 137.

## НЕВСТРЕЧА (Эва Фелиньская и Надежда Дурова)

Памяти В.Э. Вацууро

27 июля 1841 г., переезжая из Березова в Саратов, к новому месту ссылки, польская писательница и общественная деятельница Эва Фелиньская останавливается в Перми и делает в своих дневниках наброски, которые позже, при подготовке их печати, будут переделаны, дописаны и обретут концептуальный вид, заняв в издании травелога Фелиньской 1852 г. чуть больше четырех страниц. Предоставим читателям возможность познакомиться с ними в нашем переводе на русский язык<sup>1</sup>:

«Одной из пермских достопримечательностей является г-жа Дурова, часто здесь бывающая. У меня возникло большое желание познакомиться с ней, и я глубоко сожалела, что мне это не удалось.

История ее жизни необычна: я читала в Березове ее воспоминания под названием *Kawalerist-dewitsa*, и читала их с восхищением.

Родилась она в деревне недалеко от Перми. В детстве потеряла мать, отец женился во второй раз, воспитание ее было пущено на самотек, росла она свободно, почти без всякого надзора.

В семье имела немного неприятностей, что, возможно, повлияло на ее последующее поведение.

Шел ей пятнадцатый или шестнадцатый год, когда через их деревню проходило воинское подразделение, шед-

---

<sup>1</sup> Перевод выполнен нами по изд.: *Wspomnienia z podróży do Syberii, pobytu w Berezowie i Saratowie spisane przez Ewę Felińską*. – Wilno, 1852. – S. 88–92.

шее в Европу. Молодая девушка выразила смелое намерение, которое и исполнила.

Передевшись в мужскую одежду, оседлав коня, догнала она подразделение в нескольких верстах от своей деревни и заявила, что хочет добровольцем поступить на службу.

Была принята и записана как мужчина.

Было это в 1806 или 1807.

Служила она в полку, как мне кажется, конно-польско-уланском, или же в татарско-уланском. Не помню, как следует.

Полк этот размещался в Литве, потом в Домбровицах на Полесье Волынском. Называет она в своих воспоминаниях дома, где бывала, имена людей, с которыми была знакома, и упоминает разные приключения, случавшиеся с ней из-за ее исключительного положения.

Воспоминания ее весьма примечательны, потому что несут на себе отпечаток правды, нет в них самохвальства. Наш улан не хочет представить себя бравым солдатом, наоборот, в ее военном поведении пробивается слабость женской натуры, мундир и эполеты не слишком ее переделали.

Однако же как-то участвовала она в кампаниях и схватках.

В конце концов, секрет ее пола не должен был слишком серьезно охраняться, ибо во время пребывания в армии императора Александра кто-то ему об этом случае сообщил.

Император приказал позвать к себе нашу героиню, спросил, правду ли говорят о поле ее, а когда она призналась в своей тайне, император объявил ей свое покровительство, если бы хотела она покинуть армию или же в ней остаться.

Женщина-улан заявила, что хочет служить, как служила, привыкнув уже к этому образу жизни.

Его Величество решил объявить, что не лишит ее своего покровительства, пока только будет заслуживать его своим поведением, и позволил ей обращаться непосредственно к себе, если будет в том нужда.

Притом дал ей фамилию Александров, которую она начала носить с тех пор.

Видно, что наша героиня имела склонность к транжирству, потому что несколько раз делала долги и прибегала к щедрости императора, который приказывал их оплатить.

По окончании кампании 1812 года вышла она в отставку и вернулась домой. Последний период своей службы обрисовала она в своих воспоминаниях довольно смутно. Позже вышла замуж.

Говорил мне г-н Мархоцкий, что во время пребывания своего в Перми, не помню, какого года, будучи гостем в одном доме, застал он там несколь-

ких офицеров, одним из которых была госпожа Дурова, не оставившая своей мужской одежды.

Зная наверняка, что г-н Мархоцкий поляк, подошла она к нему и начала говорить по-польски и о Польше.

Когда покинула комнату, г-н Мархоцкий спросил кого-то, что это за офицер.

Ответили ему, что это женщина, и вкратце рассказали ее историю.

Когда госпожа Дурова вернулась в комнату, г-н Мархоцкий, зная уже ее тайну, начал оказывать ей небольшие знаки внимания как женщине, что так разгневало госпожу Дурову, что она не захотела больше пребывать в этом обществе. Едва упросили ее, чтобы она вернулась.

Госпожа Дурова занимает также не последнее место в русской литературе. Я читала несколько ее повестей, написаны они слогом легким и приятным. Во всяком случае, те из них, что я знаю, содержание черпают из событий польских.

Несмотря на то, что г-н Александров (всегда видела подписанным это имя) знал, похоже, польскую местность, однако не слишком вникал в дух обычаев польских, а потому не раз чувствуется фальшь.

Однако г-н Александров намного меньше фальшивит, говоря об этих обычаях, нежели другие российские авторы-романисты, которые, не зная свободы, которой пользуются польки в дружеском общении, рисуют их временами чудачками.

Изображают польских женщин весьма эмоциональными и отдающимися свободно первому приливу чувства, которое Бог весть откуда взялось.

Героиня под влиянием этого чувства бросается на шею незнакомого мужчины, признаваясь ему в своей любви, и так появляется взаимная любовь, при том очень невинная.

В другой раз молодая барышня, очень хорошо воспитанная, к тому же графская дочь, в богатом доме своего отца знакомится с молодым офицером, входит с ним в доверительные отношения, дает понять, что пришелец ей по сердцу, и, желая еще крепче завязать знакомство, вручает ему руку без жеманности и отправляются вдвоем на прогулку в одинокий лесок.

Все подобное поведение, которое само по себе вполне невинно, никого вообще не удивляет, потому что в духе нравов, но кружит голову бедному офицеру, который становится героем романа.

Картинки, нарисованные подобным образом, выглядят очень смешно в глазах людей, хорошо знакомых с духом наших обычаев и знающих, какой деликатной границей приличия умеют польки окружить свою свободу и что никому не позволено перейти эту границу.

Чтобы нарисовать точно очерк нравов какой-либо местности, нужно быть окончательно допущенным в теснейшее общество класса, который

описывается. Каждый сорт общества имеет отличные понятия, проявляющиеся в его обычаях. Переноса пусть даже правдивые очерки с одного класса на другой, не только не создашь похожего образа, но нарисуешь карикатуру, а скорее, нечто, ни на что не похожее.

Желая нарисовать картину нравов более образованного класса, нужно быть допущенным к его домашней жизни, видеть ее не только в поверхностных отношениях, но познать внутренние пружины ее жизни. Тогда только можно уловить ту деликатную нить, которая ограждает отношения двух полов, несмотря на свободу их дружеского общения».

В общем-то, следует учесть, что даже тем россиянам, с кем Фелинская смогла встретиться в реальности, она уделила значительно меньше внимания на страницах своих мемуаров. Здесь же речь идет пусть и о бесспорной знаменитости – но все-таки той знаменитости, встреча с которой не состоялась. И если автор так много внимания уделяет не встретившей ее Надежде Дуровой, стало быть, ее образ очень важен для Фелинской. Однако чтобы понять всю концептуальность данного текста, нужно вспомнить, кто такая Эва Фелинская<sup>2</sup>.

Эва Вендорф родилась 26 декабря 1793 г. в Слуцком повете Великого Княжества Литовского (ныне Слуцкий район Минской области Республики Беларусь), входившего в состав Речи Посполитой, традиционно именуемой россиянами Польшей. На четвертом году жизни Эва лишилась отца, отчего хозяйство пришло в упадок. Постепенно мать встала перед необходимостью передать дочь под опеку более богатых родственников, у которых Эва оказалась на положении воспитанницы – положение, хорошо знакомое, вероятно, читателям по русской литературе. Все образование девочки закончилось к одиннадцати годам, сведясь, в соответствии с обычаями того времени, к получению начальных знаний, а также изучению французского языка и музыки. В восемнадцать лет Эва Вендорф вышла замуж за Герарда Фелинского, брата известного литератора и директора Кременецкого лицея Алоизия Фелинского, и через двадцать два года, в 1833 г., овдовела, оставшись с парализованной матерью и шестью детьми на руках, старшей из которых, дочери Паулине, исполнилось лишь двенадцать лет.

Дальнейшая жизнь Эвы Фелинской равнозначна повседневному подвигу. Добросовестное исполнение материнских обязанностей (дети сохраняют теплую память о матери; нравственным примером стала она, в частности, для сына Зигмунда Щенсного (Феликса) Фелинского, позже архиепископа

<sup>2</sup> Основные факты жизни Эвы Фелинской приводятся нами по биограмме из фундаментального справочника В. Сьливовской «Польские ссыльные в Российской империи в первой половине XIX века» (см.: Śliwowska, W. Zesłancy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku. – Warszawa, 1998. – S. 156–160).

Варшавского, также со временем познавшего тягости ссылки<sup>3</sup>) сочетает она с участием в конспиративной деятельности. Познакомившись в 1836 г. с выдающимся деятелем национально-освободительного движения Шимоном Конарским, Фелиньская становится фактически ответственным секретарем его конспиративной сети. Именно она ведет огромную переписку тайного Общества Польского Народа (*Stowarzyszenie Ludu Polskiego*), создает его женскую секцию, пишет основные уставные и программные документы этой тайной организации.

19 июля 1838 г. Фелиньскую арестовывают. Начинается длительное следствие, причем Фелиньская не называет ни одного нового факта или имени, ограничиваясь лишь подтверждением того, что и так известно следователям из показаний других арестованных. В результате киевский губернатор Д.Г. Бибииков признает ее одним из наиболее деятельных участников движения «конарщиков», и лишь личное вмешательство императора Николая I избавляет Фелиньскую от военного суда, который неизбежно закончился бы для многолетней матери расстрелом. Но начинаются шесть лет ссылки – вначале в Березове Тобольской губернии<sup>4</sup>, затем в Саратове.

Лишенная возможности общаться с детьми, Эва Фелиньская обращается к литературному творчеству. Она публикуется в наиболее влиятельном польскоязычном периодическом издании Российской империи – газете «*Tygodnik Petersburski*». Ведет записи, которые лягут в основу рассказа о ее ссылке и странствиях. Начинает вести активную переписку с крупнейшим польским писателем эпохи Ю.И. Крашевским<sup>5</sup>. В ссылке написала Фелиньская и свою первую повесть – «Герсилия» (опубликована в 1849 г.). Замечательным литературным памятником стали пять томов ее воспоминаний.

Умерла Эва Фелиньская 20 декабря 1859 г.

Как видим, автор приведенного выше фрагмента – натура, которую можно назвать незаурядной в той же степени, что и его героиню – Надежду

<sup>3</sup> В октябре 2009 г. папа Бенедикт XIV завершил процесс его канонизации и объявил Зигмунда Фелиньского святым римско-католической церкви. В своих воспоминаниях З.И. Фелиньский оставил трогательные и уважительные страницы, посвященные матери.

<sup>4</sup> Э. Фелиньской довелось проводить начальный период своей ссылки в историческом для России месте: в Березове отбывали ссылку и умерли А.Д. Меньшиков, А.И. Остерман; отсюда был вызван на пытки и казнь ссыльный фаворит Петра III И.А. Долгорукий. Могилу Меньшикова Фелиньская посещала и описывает ее в своих воспоминаниях.

<sup>5</sup> Об отношениях, сложившихся между Э. Фелиньской и Ю.И. Крашевским, см.: Sudolski, Z. *Sybiraczka i jej mecenas (Ewa z Wendorffów Felińska 1793–1859)* // Z. Sudolski. *Tropem detektywa: Studia-Materiały-Sylwetki*. – Warszawa, 2009. – Т. II. – S. 188–198.

Дурову. Что же так задело Фелиньскую в рассказах пермяков (в том числе ссыльных поляков) о Дуровой, что она полемизирует с современницей, с которой судьба не позволила ей встретиться в реальности?

Очевидно, что полемика развивается по вопросу о роли женщины в обществе.

Кавалерист-девица Надежда Дурова представляет собой крайний случай женской эмансипации в первой трети XIX в., когда женщина принимает на себя социальные функции мужчины (как они закреплены в сознании современников) и исполняет их, фактически отказавшись от собственных социальных функций. Борьба с оружием в руках за свободу Отечества, профессия военного невозможны для русской дворянской барышни – современницы Дуровой. И не только для дворянской: вспомним, что легендарная Василиса Кожина, командир партизанского отряда во время 1812 г., хотя и командует мужчинами, но продолжает оставаться женщиной, о чем свидетельствует и ее «бабья» одежда. Дурова же и по окончании опасности, грозящей России, остается в мужской социальной роли, оставаясь на военной службе.

Этого Фелиньская понять и принять не может. Сказанное не означает, что в польской культуре, к которой принадлежит Фелиньская, невозможно столь яркое и необычное для эпохи проявление женского патриотизма: Фелиньская наверняка хорошо помнит о судьбе графини Эмили Плятер<sup>6</sup>, погибшей в мужской одежде и с оружием в руках во время восстания 1830–1831 гг. Вне всякого сомнения, Фелиньская знакома со стихотворением Адама Мицкевича «Смерть полковника», посвященного Э. Плятер, и с его же поэмой «Гражина», где подвиг женщины-воина, ведущей за собой народ на борьбу за свободу, показан с необычайной поэтической силой. Однако сама Фелиньская живет в принципиально иных условиях, ее борьба обретает иные формы, нежели лобовое столкновение с оружием в руках, и модель для нее задана в другом стихотворении Мицкевича – «К польке-матери»:

О полька-мать! Пускай свое призванье  
Твой сын заране знает.  
Заране руки скуй ему цепями,  
Заране к тачке приучай рудничной,  
Чтоб не бледнел пред пыткой темничной,  
Пред петлей, топором и палачами.  
Он не пойдет, как рыцарь в стары годы,  
Бить варваров своим мечом заветным

<sup>6</sup> О легенде, которой было окружено имя Э. Плятер, см., в частности: Barańska, A. Kobiety w powstaniu Listopadowym 1830–1831. – Lublin, 1998. – S. 302–304; Филипович, Х. Дочери Эмили Плятер // Женщины на краю Европы / под ред. Е.И. Гаповой. – Минск, 2003. – С. 334–350.

Иль, как солдат под знаменем трехцветным,  
Полишь своею кровью сев свободы.  
Нет, зов ему пришлет шпион презренный,  
Кривоприсяжный суд задаст сраженье,  
Свершится бой, в трущобе потаенной  
Могучий враг произнесет решенье.  
И памятник ему один могильный –  
Столб виселицы с петлей роковою,  
А славой – женский плач бессильный  
Да грустный шепот земляков порою<sup>7</sup>.

Эта печальная судьба, к которой призывает поэт готовиться своих соотечественниц полностью соответствует традиционной социальной роли матери: полька должна воспитать истинного борца, готового не только пожертвовать собой в бою, будучи увлеченным общим героическим порывом, но и отдать жизнь в результате позорной казни. Причем моделью для нее выступает Богоматерь:

Христос – ребенком в Назарете  
Носил уж крест, залог страдания<sup>8</sup>.

И это вполне естественный мотив для польской литературы эпохи романтизма: не далек час, когда идея мессианского искупления грехов отцов и возрождения через страдание новых поколений овладеет значительной частью польского общества.

Жизнь Фелинской показывает, что освободительная борьба позволяет оставаться женщиной, вовсе не предполагая маскарадной (с точки зрения польской писательницы) истории с переодеванием. Роль матери и роль борца, оказывается, вполне можно сочетать в реальной жизни – и это то, что, как мы знаем, удалось Фелинской и не удалось Дуровой. Счастливая мать любящих ее детей, Фелинская, разумеется, не может принять судьбу, избранную Дуровой, фактически отказавшейся от единственного сына и даже не поддерживавшей с ним каких-либо отношений: именно ради Отечества следует не отказываться от сыновей, а рожать их и воспитывать.

Разумеется, обо всем этом Эва Фелинская написать не может, даже если бы и захотела этого искренне и сильно. Ссылная, она еще более ограничена в своих действиях, нежели любая остающаяся на свободе и вне полицейского надзора ее современница, занимающаяся литературным трудом. Поэтому полемика с Надеждой Дуровой ведется Фелинской иначе: формальным поводом к ней выступают литературные труды Дуровой и, конкретно, изображение в дуровских повестях женщин-полек.

<sup>7</sup> Мицкевич, А. Стихотворения. Поэмы. – М., 1968. – С. 103–104.

<sup>8</sup> Там же. С. 103.



Действительно, то, какими красками рисует Дурова полек и литвинок, никак не может соответствовать ожиданиям Фелиньской. Характеризуя Литву, Дурова, в частности, пишет: «Это тот край, в котором женщина – владычица!.. Женщина – герой, полководец, министр!.. Это тот край, в котором женщина управляет всем, покоряет все единственную, необоримую властью, властью ума, красоты и любезности!.. Сколькo блеска, сколькo жизни, сколькo чарующей таинственности в прелестном краю этом, и как прекрасны места здесь!..»<sup>9</sup>. По мнению современных исследовательниц, в этом фрагменте Дурова «провозглашает свой женский идеал»<sup>10</sup>. Но ведь эти комплиментарные фразы идут от имени женщины, фактически отказавшейся именно от тех достоинств, которые описываются ею; комплимент подобного рода обретает в устах кавалерист-девицы некоторую гендерную двусмысленность – непонятно, исходит он от кавалериста или же все-таки от девицы.

При этом следует учитывать, что Фелиньская идет на своеобразную подтасовку. Подобно тому, как некогда А.С. Шишков в полемике с Н.М. Карамзиным приводит цитаты не из карамзинских произведений, а из трудов его эпигонов, так Фелиньская, отталкиваясь от заочного портрета Н.А. Дуровой, приводит примеры вовсе не из ее произведений. В Литве и Польше происходит действие трех повестей Дуровой – «Игра судьбы, или Противозаконная любовь», «Серный ключ» и «Павильон» (все три опубликованы в 1839 г.), однако описанных Фелиньской сюжетных коллизий в них не содержится. Зато есть устойчиво повторяющийся мотив: женщина – безропотная игрушка в руках мужчин, жертва их страстей и прихотей. В этом отношении повести Дуровой типичны для русского романтизма. И подменяя их сюжеты в тексте, адресованном польскому читателю (напомним, путевые записки и воспоминания Фелиньской выходили исключительно на польском языке), Фелиньская грешит против правды как исторической точности, но ничуть не грешит против истины как точности философской, обобщающей: если Дурова и не изобразила полек так, как пишет Фелиньская, это не означает, что она, Дурова, в принципе не могла бы так поступить – несомненно, могла бы. Косвенно об этом свидетельствует приводимый Фелиньской анекдот, вложенный ею в уста другого ссыльного поляка, осужденного по делу о конспиративной сети Ш. Конарского, Кароля Мархоцкого (1794–1881), и, вероятно, имевший место в действительности. Дурова, испытывающая раздражение при виде поляка, привыкшего подчеркивать собственным поведением «женскость» собеседницы, выглядит более, нежели правдоподобно:

<sup>9</sup> Дурова, Н.А. Гудишки // Избранные сочинения кавалерист-девицы Н.А. Дуровой. – М., 1988. – С. 280.

<sup>10</sup> Павлова, Н.И., Стрoганова, Е.Н. Надежда Андреевна Дурова // Русские писательницы XIX – начала XX века: Тексты и судьбы. – Тверь, 2006. – С. 15.

в ее этической и эстетической системе координат «женскость» равнозначна «слабости», на что боевой офицер Александров (имя, под которым после своего представления императору Александру I воевала Надежда Дурова) попросту не могла согласиться – тем более, что во время этой коллизии Дурова одета в мужскую одежду, да еще и в офицерский мундир.

Но это не означает, в свою очередь, что Фелинская полностью согласна с тем «штампованным» представлением о женщинах-польках, которое приводит и критикует она во второй части своего рассказа о Надежде Дуровой. Она не может принять того, что польки предстают на страницах русской беллетристики как существа легкомысленные, не способные ни на что больше, кроме как увлекать мужчин и смущать их покой. Всей своей нележкой, трагической судьбой Эва Фелинская противостояла именно такому пониманию «женского характера». И не случайно, во многом благодаря Фелинской и многим другим польским патриоткам<sup>11</sup>, на смену стереотипу «ветреной» польки приходит в русскую литературу иной стереотип: женщина-полька как источник политической смуты, мотор политической и революционной борьбы. Достаточно вспомнить образы Эдвиги Стабровской и демонической панны NN из романа И.И. Лажечникова «Внучка панцирного боярина».

Однако следует учитывать и то, что общий контекст, в котором действуют женщины-польки в первой половине XIX в., серьезно отличается от того контекста, в котором живет Надежда Дурова. Миф о сильной женщине, призванной бороться и управлять, не в последнюю очередь был создан мужчинами и «складывался как модель для подражания, а не служил поводом для иронии и маргинализации»<sup>12</sup>.

Судьба, не допустив встречи двух замечательных женщин – Эвы Фелинской и Надежды Дуровой, тем самым избавила их от практически неизбежного личного столкновения. Дело не в принадлежности к двум противостоящим, враждующим на том историческом этапе народам. Дело в различном понимании того, как и ради чего стоит жить женщине.

---

<sup>11</sup> Достаточно вспомнить, какой пламенной патриоткой Польши уже в конце XVIII в. была княгиня Изабелла Чарторижская: считалось, что ее влияние на общественное мнение и политическую жизнь Польши настолько велико, что Екатерина II специально распорядилась прислать к императорскому двору ее старших сыновей, фактически превратив их в заложников лояльности их матери к России.

<sup>12</sup> Любомирски, Л. «Воинственная женщина» в культуре польско-литовского содружества // Женщины на краю Европы. – Минск, 2003. – С. 42.

## РУССКИЕ ПОЭТЫ ГЛАЗАМИ КАТОЛИЧЕСКОГО СВЯТОГО

XIX в. – период расцвета Российской империи – стал не только временем постоянной борьбы завоеванных ею народов за восстановление своей государственности, но и временем попытки реализации утопической идеи интеграции их национальных элит в элиту общеимперскую. Пожалуй, самым ярким примером подобной утопии стала идея Николая I воспитать лояльных подданных из числа представителей нового поколения поляков и литвинов<sup>1</sup>. Одним из элементов претворения в жизнь подобной программы стала, в частности, практика обучения в российских университетах (прежде всего Московском и Петербургском, а также в Харьковском и Святого Владимира в Киеве) молодых людей – выходцев с бывших польских земель. Причем речь шла не только о той молодежи, чьи родители выражали свои верноподданнические чувства к Империи и ее государю. В ряде случаев речь шла о детях ссыльных повстанцев 1830–1831 гг. и участников так называемого «дела Конарского» – активистов конспиративной сети, развернутой на территории современных Литвы, Беларуси и Украины. «Императору преподносились всеподданнейшие доклады, на которых он ставил собственноручную резолюцию. Насколько серьезное внимание уделялось этим делам, следует

<sup>1</sup> Литвинами в первой половине XIX в. называли себя представители славянских народов, не относящихся собственно к польскому этносу и проживавших на территории бывших земель Великого Княжества Литовского (Литвы), входившего в состав Речи Посполитой, и отторженных Россией в ходе ее разделов. Литвинами называли себя, в частности, Адам Мицкевич и Ян-Кристоф-Гадеуш (Фаддей) Булгарин. Согласно одной из версий современных историков, речь идет о такой самопрезентации предков современных белорусов.

из того, что решение о каждом ребенке принималось индивидуально и согласовывалось с императором Николаем I»<sup>2</sup>.

Среди тех, кому довелось получить высшее образование с высочайшего соизволения, оказался Зигмунд Щенсны (Феликс) Фелиньский (1822–1895) – сын известной в будущем писательницы Эвы Фелиньской (1793–1859). Эва Фелиньская оказалась фактически вторым лицом конспиративной сети, созданной Шимоном Конарским, однако, учитывая ее пол и наличие шестерых детей, Фелиньская, по совокупности деяний подлежащая военно-полевому суду, а стало быть – и смертной казни (!), была сослана в Березов, причем спустя два года место ссылки было заменено Саратовом<sup>3</sup>. Несмотря на то, что, по мнению III Отделения, молодой Фелиньский разделял убеждения матери, для получения образования он был в декабре 1839 г. направлен в Московский университет, причем ему дважды, с ведома императора, оказывалась материальная помощь – оба раза в размере 1000 рублей.

Судя по всему, траты правительственных денег в данном случае были хотя и не бесплодными (если оценивать эти траты с учетом высоких способностей молодого человека), но, во всяком случае, ни в коей мере не оправдали надежд на интеграцию Зигмунда Феликса Фелиньского в российскую элиту. Талантливый юноша совершил блестящую духовную карьеру: став в 1855 г. католическим священником, в 1862 г. он был назначен архиепископом митрополитом Варшавским, то есть примасом (главой) католической церкви Царства Польского. И уже в 1863 г., после отказа публично осудить восстание 1863–1864 гг., архиепископ Фелиньский по решению нового императора Александра II был отстранен от исполнения своей пастырской деятельности и сослан в Ярославль, где провел 20 лет, после чего был вынужден осесть в Галиции. Его гражданское мужество и активная просветительская и благотворительная деятельность снискали ему искреннее уважение у современников и потомков. В октябре 2009 г. Зигмунд Фелиньский был канонизирован – причислен Папой Римским Бенедиктом XIV к лику святых римско-католической церкви.

Зигмунд Фелиньский унаследовал от матери несомненный литературный талант. Прежде всего, это проявилось в его блестящих воспоминаниях, дважды изданных еще в XIX в., а также в XX в. и уже в XXI в. В них архиепископ Фелиньский проявил себя как умный и тонкий аналитик; его оценки имперской политики позволяют точнее понять причины многих

<sup>2</sup> Макарова, Г.М. Политические меры российского правительства в отношении семей участников заговора Шимона Конарского (по архивным материалам) // *Stowarzyszenie ludu polskiego na Podolu, Wołyniu i w Guberni Kijowskiej. Szymon Konarski*. – Warszawa, 2009. – S. 56–57.

<sup>3</sup> См. о ней, в частности: Федута, А.И. Невстреча (Эва Фелиньская и Надежда Дурова) // *Славянские чтения*. VIII. – Daugavpils, 2011. – С. 51–58.

конфликтов между русскими и поляками, последствия которых не изжиты до сих пор. Однако, кроме того, в той части, которая посвящена молодости мемуариста, особый интерес представляют фрагменты, посвященные таким известным в истории русской литературы и общественной мысли лицам, как М.А. Бакунин, А.И. Полежаев, др. Иногда Фелиньский опирается на собственные воспоминания, иногда явно пересказывает слухи, которые ходили в современной ему студенческой среде.

### ***1. Пушкин и вельможи***

В данном случае нас интересует фрагмент воспоминаний Фелиньского, в которых рассказываются два анекдота об А.С. Пушкине. Приводим его в нашем переводе, выполненном по последнему польскому изданию: Feliński, Z.Szcz. Pamiętniki. – Warszawa: Pax, 2009. – S. 167–168.

«Хотя император Николай был противником классицизма и западной цивилизации, он заботился по-своему о национальной литературе и старался привлечь к себе лучших писателей. Жуковскому доверил даже воспитание наследника трона, баснописец Крылов часто бывал при дворе; [он] усиленно пытался также привлечь к себе Пушкина, что, однако, плохо удавалось, так как в молодости Пушкин был очень либерален и даже подружился с Мицкевичем. Когда один из лучших художников закончил портрет императора во весь рост, тогдашний министр двора, Адлерберг, призвал Пушкина и, показав ему это полотно, предложил ему, чтобы, по поводу этого портрета, каким-нибудь стихотворением тот почтил все милостивейшего монарха, давая ему одновременно понять, что панегирик не останется без награды. Проба такого подкупа возмутила поэта и вдохновила его на стихи, вовсе министром не ожидаемые. Всмотревшись в атлетическую фигуру, по-солдатски выпрямленную и сжатую клещами тесного мундира, Пушкин сымпровизировал следующее двустишие, позже с восторгом повторявшееся молодежью:

«Se Car? Se Gosudar? Se Otiec?  
Jemu nosit` kiwier, nie wieniec!»

Разгневанный Адлерберг жаловался на вольнодумство поэта и советовал императору, чтобы тот сурово его наказал, однако великодушный монарх заявил, что сам будет цензором Пушкина и запретил вмешиваться в его литературную деятельность. Узнав о том, поэт написал острую сатиру на корыстолюбивого и развратного чиновника, и хотя имени его не назвал, известные всем злоупотребления министра двора делали узнаваемым Адлерберга. Оскорбленный фаворит, прознавши о памфлете, отправился с жалобой к шефу жандармов, прося его о наказании виновного. В конце концов,

Бенкендорф вызвал Пушкина и спросил его, кого тот имел в виду, когда писал эту сатиру.

– Если бы у меня было намерение, – отвечал поэт, – задеть какую-то личность, то я, не колеблясь, вписал бы в заглавие ее имя, но я хотел лишь обличить существующие злоупотребления.

– Однако не может быть, – продолжал шеф жандармов, – чтобы Вы не собирали примеров из реальности. Скажите мне доверительно, кого Вы имели в виду, а я даю Вам слово чести, что Вы не будете привлечены ни к какой ответственности.

– Если Ваше Превосходительство так сильно настаивает, то сознаюсь, что имел в виду именно Вашу особу.

– Как это, меня? – возмутился удивленный шеф жандармов. – Что же тут общего с моим поведением? Вы, вероятно, имели в виду графа Адлерберга, он сам на это жаловался.

– А это, в самом деле, странно, – возразил Пушкин, – что г-н генерал не видит себя в этом портрете, хотя я Вас в этом уверяю, а министр двора узнал себя вопреки утверждениям автора».

Появление А.С. Пушкина на страницах «Воспоминаний» Фелиньского, на наш взгляд, далеко не случайно. Пушкин является в данном случае своего рода символом либерализма. При этом его дружба с Адамом Мицкевичем («даже подружился с Мицкевичем» – подчеркивает Фелиньский) становится для мемуариста своего рода верификационной точкой, призванной убедить читателя-поляка в прогрессивности российского поэта: напомним, что Мицкевич воспринимался как символ борьбы поляков за национальное возрождение.

Первый анекдот очевидно восходит к памятной аудиенции, данной Пушкину Николаем I во время торжеств в Москве по случаю его коронации<sup>4</sup>. Следует отметить, что, если не считать совершенно апокрифического рассказа об эпиграмматической импровизации поэта подле императорского портрета, в целом отношения Пушкина с молодым государем передаются относительно верно: Фелиньский знает, в частности, и о желании царя стать личным цензором Пушкина. Факт же приписывания Пушкину очевидно «непушкинской» эпиграммы вряд ли должен удивлять: для многих современников – в том числе поляков – Пушкин был едва ли не единственным возможным автором всех политически «непроходных» произведений<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Подробно существовавшие интерпретации аудиенции проанализированы Н.Я. Эйдельманом (см.: Эйдельман, Н.Я. Пушкин: Из биографии и творчества. 1826–1837. – М., 1987. – С. 9–64).

<sup>5</sup> См., в частности: Федута, А.И. Пушкин и Лелевель: История одного недоразумения // А.И. Федута. Письма прошедшего времени: Материалы к истории литературы и литературного быта Российской империи. – Минск, 2009. – С. 136–141.

Второй из приведенных анекдотов также вполне узнаваем. Это пересказ известного разговора, имевшего место между А.С. Пушкиным и А.Х. Бенкендорфом по поводу стихотворного памфлета «На выздоровление Лукулла», направленного против министра народного просвещения графа С.С. Уварова. Вот как выглядит та же ситуация в изложении Я.К. Грота:

«Когда в разговоре о стихотворении “На выздоровление Лукулла” Бенкендорф хотел от него (Пушкина. – А.Ф.) добиться, на кого оно написано, тот отвечал: “На вас”, и, видя недоумение усмехнувшегося графа, прибавил: “Вы не верите? Отчего же другой уверен, что это на него?”»<sup>6</sup>.

Эта лаконичная запись развернута в записках почтдиректора А.Я. Булгакова:

«Пушкин был призван к графу Бенкендорфу, управляющему верховною тайною полициею.

– Вы сочинитель стихов на смерть Лукулла?

– Я полагаю признание мое лишним, ибо имя мое не скрыл я.

– На кого вы целите в сочинении сем?

– Ежели вы спрашиваете меня, граф, не как шеф жандармов, а как Бенкендорф, то я вам буду отвечать откровенно.

– Пусть Пушкин отвечает Бенкендорфу.

– Ежели так, то я вам скажу, что я в стихах моих целил на вас, на графа Ал[ександра] Хр[истофоровича] Бенкендорфа.

Как ни было важно начало сего разговора, граф Бенкендорф не мог не рассмеяться, а Пушкин на смех сей отвечал немедленно сими словами: “Вот видите, граф, вы этому смеетесь, а Уварову кажется это совсем не смешно” – Бенкендорфу иное не оставалось, как продолжать смеяться, и объяснение так и кончилось для Пушкина...»<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Цит. по изд.: Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Статьи и материалы Я.К. Грота. – СПб., 1899. – С. 290.

<sup>7</sup> Цит. по изд.: Вацуру, В.Э., Гиллельсон, М.И. Сквозь «умственные плотины»: Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. – М., 1986. – С. 207. – Ср. запись в дневнике А.В. Никитенко от 20 января 1836 г.: «Весь город занят “Выздоровлением Лукулла”. Враги Уварова читают пьесу с восхищением, но большинство образованной публики недовольно своим поэтом. <...> Государь через Бенкендорфа приказал сделать ему строгий выговор» (Никитенко, А.В. Дневник: в 3 т. – Л., 1955. – Т. 1. – С. 180). – Ср. также с аргументацией самого Пушкина в черновике письма А.Х. Бенкендорфу (между 16 и 20 января 1836 г.): «В образе низкого скупца, негодяя, ворующего казенные дрова, подающего жене фальшивые счета, подхалима, ставшего нянькой в домах знатных вельмож и т.д., – публика, говорят, узнала вельможу, человека богатого, человека, удостоенного важной должности. Тем хуже для публики – мне же довольно того, что я (не только не назвал), но даже не намекнул кому бы то ни было, что моя ода... Я прошу только, чтобы мне доказали, что я его назвал, – какая черта

Переputав адресата пушкинского памфлета, Фелиньский вместе с тем довольно точно передает суть коллизии и расшифровывает ее для читателей, которые могут не понять, в чем дело.

Поскольку сам Фелиньский прибыл в Москву уже после гибели Пушкина, очевидно, что он должен был воспользоваться или устными преданиями, или какими-либо печатными источниками. Поэтому для нас принципиально важным является вопрос о датировке его воспоминаний. Как указывает авторитетнейший польский библиографический справочник «Новый Корбут», «Воспоминания» Фелиньского были написаны в 1892–1894 гг. на основе набросков 1882–1883 гг.<sup>8</sup> Поэтому высока вероятность того, что мемуарист, пребывавший в это время в ярославской ссылке, но уже получивший надежду на освобождение (после смерти Александра II) и потому делавший заметки общего и мемуарного характера, мог читать журналы, среди которых наверняка могла быть и «Русская Старина», в номере 8 за 1881 г. которой была опубликована процитированная выше заметка Я.К. Грота. Это объясняет и подмену С.С. Уварова В.Ф. Адлербергом: политкорректный Грот не называет адресата пушкинского памфлета, поэтому Фелиньский, используя его сюжет, вынужден фактически домысливать его – вычислять, кто из вельмож Николаевской эпохи мог попасть под огонь поэтической критики Пушкина. Имя министра двора и многолетнего императорского фаворита, вероятно, просто было у Фелиньского на слуху (еще и потому, что В.Ф. Адлерберга сменил на министерском посту его сын А.В. Адлерберг, что, весьма вероятно, создавало у не слишком внимательно относившегося к министерской чехарде архиепископа впечатление какого-то должностного бессмертия Адлерберга).

Высока вероятность и того, что Фелиньский мог быть знаком с работой П.В. Анненкова «Пушкин в Александровскую эпоху», печатавшейся в «Вестнике Европы», также популярном журнале, а в 1874 г. опубликованной отдельной книгой. Достаточно сравнить текст Фелиньского, например, со следующим фрагментом труда Анненкова:

*«...государь выразил намерение занять Пушкина серьезными трудами, достойными его великого таланта, и объявил, что для успешного продолжения его литературной деятельности, обещающей принести славу России, он сам берет на себя звание цензора его произведений»<sup>9</sup>.*

Не исключено, что именно отсюда Фелиньский узнал о том, что император являлся цензором лучшего поэта России. Таким образом, скорее всего, мы имеем дело уже не столько с интерпретацией слухов, достигнувших

---

моей оды может быть к нему применена, или же, что я намекал...» (цит. по изд.: Пушкин, А.С. Письма последних лет. 1834–1837. – Л., 1969. – С. 120).

<sup>8</sup> См.: Bibliografia literatury polskiej «Nowy Korbut». – Warszawa, 1968. – Т. VII. – С. 324.

<sup>9</sup> Анненков, П.В. Пушкин в Александровскую эпоху. – Минск, 1998. – С. 225.



мемуариста в период его студенческой юности, сколько с пересказом прочитанных ссыльным архиепископом текстов трудов первых пушкинистов П.В. Анненкова и Я.К. Грота, впечатления от которых, впрочем, вполне могли контаминироваться в его сознании с «дней минувших анекдотами».

## 2. Арест и ссылка Александра Полежаева. Вторая версия

История ссылки поэта Александра Полежаева известна сегодня читателям преимущественно по версии А.И. Герцена<sup>10</sup>. Студент Московского университета Герцен излагает ее в приложении к ч. 1 «Былого и дум» довольно верно, хотя и путаясь в некоторых деталях. Имеет смысл сравнить герценовскую версию с воспоминаниями экс-студента Московского университета Фелиньского<sup>11</sup>.

«Насколько необразованные массы любили своего государя, настолько высшие слои общества, особенно молодежь, ненавидели николаевский деспотизм. Император знал об этом и терпеть не мог университетов, которые называл не иначе, как “*łachañ proswieszczeniја*”<sup>12</sup> (ведро, в которое сливают помой просвещения). Изучению древних классиков приписывал он революционные идеи, заливающие Европу, и потому вообще запретил изучение греческого языка в гимназиях, латинский же язык приказал свести к двум часам в неделю, и то начиная с четвертого класса. В Москве, несмотря на то, что университетское здание находилось вблизи от манежа, где проходили военные учения, на которых во время пребывания своего в древней столице император бывал почти каждый день, в университет, тем не менее, не заглянул он ни разу. Неприязнь его к высшему учебному заведению, которое дало столько выдающихся людей, кроме общего предубеждения к университетскому образованию, может быть объяснена неприятным происшествием, которое случилось с этим монархом за несколько лет до моего прибытия в Москву. Это была эпоха, которая дала Герцена, Бакунина и несколько иных талантливых апостолов революции. К этому же кругу может быть причислен также молодой слушатель [отделения] правоведения Полежаев, не менее талантливый, чем упомянутые, но настолько не умевший владеть собой,

<sup>10</sup> Ее практически безоговорочно использует, например, В.С. Киселев-Сергенин в биографическом очерке, предпосланном последнему изданию сочинений Полежаева в большой серии «Библиотеки поэта» (см.: Киселев-Сергенин, В.С. «Бесприютный странник в мире» // А.И. Полежаев. Стихотворения и поэмы. – Л., 1987. – С. 11–12).

<sup>11</sup> Feliński, Z.Szcz. Pamiętniki. – Warszawa, 2009. – S. 169–171.

<sup>12</sup> Мы сохраняем написание в латинской транскрипции русских выражений, употребленных в оригинальном тексте мемуаров З.Щ. Фелиньского.

что предался самым низким наклонностям. Кабаки и грязнейшие притоны были обычным местом его пребывания, и редкий день не был он пьян. Ни во что не веря, циник в привычках своих, гуляка, каких мало, но остроумный, смелый и одаренный большой легкостью рифмоплетства, писал он едкие сатиры на все и на всех, а поскольку был он идолом легкомысленной молодежи, эти скандальные произведения обегали всю страну, охотно читаемые на дружеских вечеринках. Духовенство, чиновничество, армия, весь, наконец, общественный строй огромной империи с несравненным презрением, а иногда и с потрясающей правдой описывались в этих летучих стихах способом, впечатляюще действовавшим на воображение буйной молодежи. Одно из этих произведений, высмеивавшее мерзкую алчность, мракобесие и ограниченность православного духовенства и предлагавшее в качестве крайнего средства лечения этой болезни отдачу в рекруты всей церковной иерархии, начиная от дьяка и пономаря и до архиерея и митрополита, попало в руки тайной полиции и при посредничестве шефа жандармов попало в руки императора с указанием имени автора. Прибыв вскоре в Москву<sup>13</sup>, когда ему представлялись по очереди местные высокопоставленные лица, монарх спросил куратора университета<sup>14</sup>, есть ли в числе студентов Полежаев и как он себя ведет. Застигнутый врасплох куратор сам не знал, что отвечать, ибо не слышал никогда о Полежаеве, однако поскольку в России начальствующий не может не знать, что творится с его подначальными, вынужден он был заявить, что есть и ведет себя хорошо. “Приведите его ко мне рано утром,” – сухо сказал император. Обеспокоенный этим приказом, куратор поспешил в университет и повторил вопрос монарха инспектору. Услышав имя Полежаева, начальник университетской полиции схватился, расстроенный, за голову, возопив, что это величайший бездельник и бунтовщик среди безнаказанной молодежи. Однако выбора не было: приказ императора должен был быть исполнен; поэтому сторожей и педелей разослали с поручением найти и доставить, пусть даже силой, *delikwent`a*. Нашли его, действительно, в кабаке, в состоянии настолько бесчувственном, что вынуждены были принести его в коляску и отвезти в университет. Тут новые хлопоты с ободранным, небритым и обросшим до плеч парнем. Сначала заперли его, чтобы проспался, затем выбрили, постригли, одели в пристойный мундир и, прочтя ему мораль, повезли наконец в Кремль. Когда куратор с Полежаевым встал пред монаршим лицом, их роли точно переменялись: куратор дрожал, как виновный, Полежаев же выглядел триумфатором, столько было довольства и уверенности в себе во всем его поведении. Император, не приветствовав даже кивком головы куратора, достал из кармана вру-

<sup>13</sup> Николай I прибыл в Москву 24 июля 1826 г.; встреча А.И. Полежаева с императором состоялась в ночь 28 июля.

<sup>14</sup> Куратором Московского университета в описываемый период был А.А. Писарев.

ченные ему Бенкендорфом стишки<sup>15</sup> и спросил, показав их Полежаеву: “Это твое произведение?” – и, получив от автора подтверждение, приказал ему громко прочесть свой циничный пасквиль. С несравненной свободой и юношеским задором продекламировал Полежаев свои стихи; когда же дошло до фрагмента “Kak postawim na flanke Preswiatoje Mekeke”, – с такой иронией посмотрел он на присутствовавшего при этом университетского духовника, что взбесившийся от злости протопоп аж за бороду схватился. Завершив чтение, гордый своим вдохновением автор вернул монарху рукопись с таким невероятным спокойствием, как если бы продекламировал гимн “Boze, sacia chranii”. Император лишь сурово взглянул на куратора и вторил ему с иронией его собственные слова: “Хорошо себя ведет”. Наутро куратор подал в отставку<sup>16</sup>. Полежаева же отослали в Сибирь, где он вскоре спился до смерти<sup>17</sup>».

Очевидно, что хронологически история с арестом Полежаева отнесена Фелиньским к более позднему периоду, нежели это было на самом деле: Фелиньский относит ее к эпохе, «которая дала Герцена, Бакунина и несколько иных талантливых апостолов революции». Однако «дело» Полежаева относится к 1826 г., о чем справедливо пишет Герцен, то есть к более раннему времени, и идеологически с Герценом и Бакуниным Полежаев соотносится быть не может. Вместе с тем, следует обратить внимание на гораздо более существенные совпадения и различия между «версией Герцена» и «версией Фелиньского».

Прежде всего, оба мемуариста считают, что «дело Полежаева» было отчасти спровоцировано общим негативным отношением императора к университетскому образованию как таковому. Правда, Фелиньский убежден, что именно столкновение с Полежаевым повлекло за собой предубеждение Николая к университету; у Герцена же император вызывает к себе поэта, пребывая в уже вполне определенном настроении: «Вот князь, – продолжал государь, – вот я вам дам образчик университетского воспитания, я вам покажу, чему учатся там молодые люди»<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> Автором доноса на Полежаева был дальний родственник А.Х. Бенкендорфа, проживавший в Москве жандармский полковник И.П. Бибииков.

<sup>16</sup> Указано неверно: А.А. Писарев пребывал в должности попечителя Московского учебного округа и куратора Московского университета с 1825 г. по 1830 г.

<sup>17</sup> Еще одна неточность: Полежаев после встречи с императором был определен унтер-офицером в Бутырский полк, квартировавший вначале в Рязанской, а затем в Тверской губернии.

<sup>18</sup> Герцен, А.И. Былое и думы // А.И. Герцен. Собрание сочинений: в 8 т. – М., 1975. – Т. 4. – С. 160.

Далее и у Фелинского, и у Герцена отмечается тот энтузиазм, с которым Полежаев читает свои стихи. Разница в том, что Полежаев в интерпретации Фелинского с самого начала чувствует себя триумфатором; Герцен же показывает, как поэт черпает силу по мере чтения собственных стихов: «Сначала ему было трудно читать, потом, одушевляясь более и более, он громко и живо дочитал поэму до конца»<sup>19</sup>.

Наконец, и Фелинский, и Герцен пишут, что университетское начальство дало положительную характеристику студенту Полежаеву. При этом Фелинский приписывает ее куратору университета, а Герцен министру<sup>20</sup>. Есть отличие и в описываемой реакции императора на эту характеристику: если у Герцена Николай пользуется ею для того, чтобы проявить своеобразное «милосердие», то у Фелинского он иронически повторяет ее куратору, превращая тем самым в обвинение против него самого как высшего руководителя университета.

Однако наиболее существенное разногласие возникает там, где речь заходит о стихах, которые читает государю Александр Полежаев. Герцен однозначно утверждает, что речь идет о поэме «Сашка»: «...крик (Николая I. – А.Ф.) воротил силу Полежаеву, он развернул тетрадь. Никогда, говорил он, я не видывал “Сашку” так переписанного и на такой славной бумаге»<sup>21</sup>. Фелинский не называет произведения, читаемого Полежаевым по приказу императора, однако совершенно недвусмысленно воссоздает его содержание. Судя по всему, речь идет о неких антиклерикальных стихах. Сагирическая поэма из студенческой жизни, пусть даже и с сильным вольнолюбивым началом, «Сашка» ничего антиклерикального в себе не содержит. Не исключено, что Фелинский мог иметь в виду другое произведение Полежаева – стихотворение «Новая беда» (1825), действительно направленное против священнослужителей. Однако и здесь возникает проблема.

Прежде всего, это единственное достоверно атрибутированное А.И. Полежаеву антиклерикальное стихотворение содержательно никак не совпадает с пересказом Фелинского: речь в нем идет вовсе не о возможной сдаче священнослужителей в рекруты, а о пристрастии жен и дочерей попов к модным одеждам. Во-вторых, метрически строки, цитируемые Фелинским

<sup>19</sup> Герцен, А.И. Былое и думы // А.И. Герцен. Собрание сочинений: в 8 т. – М., 1975. – Т. 4. – С. 160.

<sup>20</sup> При этом Герцен допускает, в свою очередь, явный анахронизм. По его словам, министром народного просвещения в данный момент был князь К.А. Ливен, в то время, как этот пост занимал адмирал А.С. Шишков.

<sup>21</sup> Герцен, А.И. Былое и думы // А.И. Герцен. Собрание сочинений: в 8 т. – М., 1975. – Т. 4. – С. 160.

(«А как встанет на фланке / Пресвятое Мекеке»), также не могут быть из этого стихотворения, написанного совершенно иным размером:

Беда вам, попадьи, поповичи, поповны!

Попались вы под суд и причет весь церковный!

За что ж? За чепчики, за блонды, кружева...<sup>22</sup>.

Не исключено, что Фелиньский цитирует неизвестное стихотворение Полежаева либо приписанное ему стихотворение другого автора. В любом случае, он пишет не о «Сашке», бывшем, по мнению А.И. Герцена, главным поводом к ссылке молодого поэта.

Таким образом, очевидно, что Фелиньский, создавая свою версию ареста и ссылки Александра Полежаева, имел другие источники информации (напомним, что Герцен ссылается на самого поэта) и не пользовался воспоминаниями Герцена как первоисточником.

---

<sup>22</sup> Полежаев, А.И. Новая беда // А.И. Полежаев. Стихотворения и поэмы. – Л., 1987. – С. 63–64.

## ПРОТЕКЦИЯ ДЛЯ РОМУАЛЬДА ПОДБЕРЕЗСКОГО

В Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) в фонде Вяземских (фонд 195 опись 1 единица хранения 2651 лист 5) хранится письмо к князю Петру Вяземскому графа Генрика Ржевусского, которое мы приводим целиком в оригинале и в переводе на русский язык, любезно выполненном Н.М. Сперанской.

Cher Prince.

Je prends la liberté de vous recommander un auteur laborieux, car c'est un compilateur. M<sup>r</sup> Romuald Podbereski, il n'a pas de rang, et il voudrait le gagner au service. Si vous pouvez lui procurer quelque fonction de taille-plume ou de voyeur de papiers dans votre département faites le, vous obligerez un pauvre hère – Ce sera une œuvre de charité de tendre la main à un homme dont la nec plus ultra de l'ambition est de devenir avocat <?> que de grisonner <2 нрзб>. Vous ne vous en seriez pas douté.

Ayez cher Prince l'assurance du respect de

Votre devoué serviteur

H Rzewuski

9 Mai <?>

Дорогой князь.

Беру на себя смелость рекомендовать Вам трудолюбивого сочинителя, ибо это составитель сборников. Г. Ромуальд Подбереский, у него нет чина, и он хотел бы приобрести его на службе. Если Вы можете доставить ему какое-нибудь место, вроде очинщика перьев или письмоводителя в Вашем департаменте, сделайте это, Вы крайне обяжете беднягу. Это будет жест милосердия, протянуть руку

человеку, *nes plus ultra*<sup>1</sup> притязаний которого – это статья ходатаем по делам <?> скорее, чем поседеть <2 нрзб>. Вы сами никогда бы о том не догадались.

Примите, дорогой князь, уверение в почтении  
вашего преданного слуги

Г. Ржевуского

9 мая <?>

Примечательны личности не только автора и адресата письма, но и того человека, о котором идет речь.

Князь Петр Андреевич Вяземский (1792–1878) в особых представлениях не нуждается. Выдающийся поэт и журналист, друг А.С. Пушкина, соавтор А.С. Грибоедова и шурин Н.М. Карамзина, он совершил серьезную государственную карьеру, дослужившись до должностей сенатора и товарища (заместителя) министра просвещения. В письме речь идет о департаменте, в котором служит Вяземский. Известно, что 21 октября 1832 г. он был назначен исполняющим обязанности вице-директора департамента внешней торговли Министерства финансов и 6 декабря 1833 г. был назначен вице-директором того же департамента, в каковой должности и пребывал до 22 октября 1846 г., когда был назначен управляющим Государственного заемного банка. Таким образом, автор письма ходатайствует перед Вяземским, чтобы его протеже был принят на службу в качестве мелкого клерка все в тот же департамент внешней торговли.

Автор письма – граф Генрик Ржевуский (1791–1866), известный польский писатель и публицист, потомок знатного рода, родной брат нашедших свое место в истории мировой литературы авантюристки Каролины Собаньской и Эвелины Ганской (во втором замужестве – де Бальзак). За кого же и почему хлопочет шурином Бальзака перед шурином Карамзина?

Начинающий польский литератор Ромуальд Подберезский (1812–1856)<sup>2</sup> прибыл в Петербург в 1841 г. Карьера выпускника Виленской гимназии не задалась. Вначале был закрыт Виленский университет, куда он поступил. Учеба в Московском университете на юридическом факультете, где он пытался продолжить свое образование, шла без особых успехов, вероятно, потому, что, как отмечает знавший его коротко в этот период другой студент-поляк Зигмунд Щенский Фелиньский (будущий архиепископ Варшавский), собирался учиться «без искреннего намерения отдаться занятиям юриспруденцией, ибо главным делом своим считал литературу. Не без способности

<sup>1</sup> В значении «предел» (лат.).

<sup>2</sup> Даты жизни Р.А. Подберезского мы приводим по новейшей биографии: Хаўстовіч, М.В. Жыццё і творчасць Рамуальда Падбярэскага. – М., 2008. – С. 43–44. – Отметим также, что Н.В. Хаустович опирается на данные Г.В. Киселева, впервые опубликованного в 1977 г. точную дату смерти ссыльного литератора.

к запоминанию, красноречивый и легко владеющий пером, вообразил он, что обладает неординарным писательским талантом, и на этом пути решил сделать карьеру»<sup>3</sup>.

Литературную карьеру Подберезский начинает с переводов русского фольклора (в первую очередь – сказок), которые он публикует в журнале Ю.И. Крашевского «Athenaeum». Интерес Подберезского к фольклору понятен: в Москве он познакомился с известным собирателем народных песен П.В. Киреевским, даже некоторое время жил у него. При этом Подберезский явно тяготеет к славянофилам, что отмечает тот же З.Щ. Фелиньский: «Корифеями тогдашних славянофилов <...> были в то время [П.В.] Киреевский и [Ю.Ф.] Самарин, с ними и сблизился наш герой, чтобы в личных отношениях почерпнуть вдохновение к предпринятому труду, а так как подавал надежды и стоял с ними на одной почве, то нашел у них теплый прием. Опираясь на эти отношения, начал он далее переписку с нашими литераторами...»<sup>4</sup>.

Вряд ли Фелиньский прав, считая, что личные отношения с вождями российских славянофилов позволили Подберезскому начать строить самостоятельную литературную карьеру. Несомненно, что идейно он ориентировался на труды П.В. Киреевского, однако, если бы отношения действительно были безоблачными, у Подберезского не было бы нужды в рекомендательных письмах на имя Вяземского: напомним, что П.В. Киреевский – племянник В.А. Жуковского, и он вполне мог бы отрекомендовать дядюшке своего нового приятеля.

Скорее всего, визитной карточкой для Подберезского стали именно его труды на ниве польской литературы. Переехав во второй половине 1842 г. из Москвы в Санкт-Петербург, Подберезский начинает активно сотрудничать с «Петербургским еженедельником» («Tygodnik Petersburski»), который редактирует известный польский журналист Юзеф Эмманюэль (Осип Антонович) Пшецлавский (Пржецлавский). Газета становится фактически рупором влиятельного кружка консервативно настроенных польских романтиков, которые разделяют идеи интеграции польской элиты в общеимперскую элиту России<sup>5</sup>. Неформальным лидером этого кружка-«котерии» и был граф Генрик Ржевусский.

Вероятнее всего, с Ржевусским Подберезский познакомился благодаря Ю.И. Крашевскому; во всяком случае, именно Крашевского он спрашивает в письме от 10 октября 1841 г. о «каком-то съезде литераторов», состоявшемся

<sup>3</sup> Feliński, Z.Szcz. Pamiętniki. – Warszawa, 2009. – S. 147.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> См. об этом: Ingot, M. Poglądy koterii petersburskiej w latach 1841–1843. – Wrocław, 1961.



в имени Ржевусского Чуднове, на Украине<sup>6</sup>. Крашевский, позже порвавший с «котерией» и с газетой Пшецлавского, бывшей ее рупором, в этот период вполне мог отрекомендовать молодого товарища по перу Ржевусскому. При этом показательно, что в письме Вяземскому Ржевусский именуется Подберезского «составителем сборников». Скорее всего, речь идет о самом известном издательском проекте Подберезского – сборнике «Rocznik Literacki», четыре тома которого Подберезский издал в 1843, 1844, 1846 и 1849 гг. Таким образом, письмо Ржевусского можно датировать 1844–1846 гг. (учитывая, что в октябре 1846 г. П.А. Вяземский оставил пост вице-директора департамента).

Ржевусский благоволил к землякам, в особенности – к выходцам из литовских губерний: в исторической Литве видел Ржевусский последнее прибежище истинного польского духа<sup>7</sup>. В частности, в уже упоминавшемся Чуднове умер другой видный литератор-«литвин» Ян Борщевский (1794–1851), к главной книге которого – циклу сказок и преданий «Шляхтич Завальня» – Подберезский написал предисловие «Беларусь и Ян Борщевский»<sup>8</sup>. Борщевский крайне нуждался, поэтому Ржевусский предоставил ему фактическую синекуру – должность библиотекаря в имении (имение принадлежало жене графа Юлии, урожденной Грохольской).

Судя по всему, рекомендательное письмо Вяземскому было направлено в тот момент, когда в деньгах нуждался и Подберезский. Известно, что финансовые неприятности у Подберезского начались как раз в 1844 г., когда с ним прервал отношения Ю.И. Крашевский, а сам Подберезский вложил имевшиеся в его распоряжении средства в издание книг земляков – в первую очередь, уже упоминавшегося Яна Борщевского и поэта Тадеуша Лады-Заблоцкого. Доход от продажи этих книг если и был, то, вероятно, оказался значительно меньше предполагавшегося, что дало повод Ладе-Заблоцкому (вложившему в печать и собственные деньги) обвинять Подберезского в финансовой нечистоплотности<sup>9</sup>.

Вместе с тем показательно, что Ржевусский оценивает как предел мечтаний своего протеже статус ходатая по делам. Эта особая категория польско-литовских жителей Петербурга, представлявших интересы своих земляков, ярко описана в воспоминаниях доктора Станислава Моравского. Нужно напомнить также, что именно в таком статусе начинали свою петербургскую карьеру и заложили основу финансового благополучия известные в исто-

<sup>6</sup> См.: Inglot, M. *Poglądy koterii petersburskiej w latach 1841–1843*. – Wrocław, 1961. – S. 15–16.

<sup>7</sup> См.: Федута, А.И. *Нязручны класік // Г. Жавускі. Успаміны Сапліцы*. – Мінск, 2005. – С. 5–14.

<sup>8</sup> *Białoruś i Jan Barszczewski // J. Barszczewski. Szlachcic Zawalnia czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach*. – Petersburg, 1844. – Т. 1. – S. I–XLI.

<sup>9</sup> Хаўстовіч, М.В. *Жыццё і творчасць Рамуальда Падбярэскага*. – М., 2008. – С. 28.

рии литературы деятели Ян-Кристоф-Тадеуш (Фаддей Венедиктович) Булгарин и Юзеф Эмманюэль (Осип Антонович) Пржецлавский, дослужившиеся позже и до солидных чинов. Другой выходец из Вильны, ставший едва ли не символом ходатая, – Гаспар Жельветр, по словам Моравского, «имел, по крайней мере, 6 000 000 польских золотых дохода, но все проел, просадил, промотал и направил по большей части на устройство приемов и угощение земляков»<sup>10</sup>.

Однако вряд ли Подберезский ограничился бы местом мелкого чиновника в департаменте. Подберезский претендовал на значительно большее. Станислав Август Ляхович в письме Юзефу Игнацию Крашевскому от 5 декабря 1842 г. специально подчеркивает амбиции Подберезского, его стремление использовать литературу для утверждения собственного статуса<sup>11</sup>. Да и сам Ромуальд Андреевич, как известно, пытался выводить свою родословную от князей Друцких, что, однако, не получило подтверждения в сенатских документах.

Нет сомнений, что в качестве издателя и литературного критика Подберезский остался в памяти своих соотечественников-белорусов. А публикуемый нами документ показывает, насколько тесными были культурные связи его времени и как волею случая в биографии одного из зачинателей белорусской литературы пытаются сыграть свою роль выдающиеся деятели литературы Польши и России.

---

<sup>10</sup> См.: Моравский, С. В Петербурге // Поляки в Петербурге первой половины XIX века. – М., 2010.

<sup>11</sup> Текст выявлен и опубликован в переводе на белорусский язык Н.В. Хаустовичем в: Хаўстовіч, М.В. Шляхамі да беларускасці: Нарысы, артыкулы, эсэ. – Warszawa, 2010. – S. 457–458.

## **II. БЫВАЮТ СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНИЯ...**

## О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПРОЗВИЩА М.Н. МУРАВЬЕВА-ВИЛЕНСКОГО

В истории многие видные государственные деятели остаются не только под именем, но и под прозвищем, которое не всегда совпадает с официальной их репутацией. Классическим примером такой посмертной судьбы является граф Михаил Николаевич Муравьев-Виленский, совершивший блистательную государственную карьеру, увенчанную общественным признанием: подписи под поздравительным адресом М.Н. Муравьеву по инициативе дочери председателя Комитета министров графини А.Д. Блудовой собирались в высших эшелонах российской власти (причем несмотря на его явную оппозиционность официальному курсу правительства), а телеграммы с поздравлениями шли буквально со всей России. В защиту Муравьева против его оппонентов выступали лучшие поэты Империи – Ф.И. Тютчев и П.А. Вяземский<sup>1</sup>. После его смерти в «усмиренной» им Вильне был открыт музей и поставлен памятник.

Однако все эти почести, в глазах их инициаторов – вполне заслуженные, оказались перечеркнуты в истории клеймом «вешателя». Это связано было с легендой о вступлении М.Н. Муравьева в должность гродненского губернатора. Вот как излагает ее современник Муравьева, бесспорно, информированный, однако не беспристрастный князь Петр Владимирович Долгоруков, политический эмигрант, генеалог и историк правящей элиты Российской империи: «Он после взятия Варшавы (в 1831 г. – А.Ф.) назна-

---

<sup>1</sup> См. об этом: Федута, А.И. «Гуманный внук воинственного деда»: А.А. Суворов-Рымникский в русской поэзии // А.И. Федута. Письма прошедшего времени: Материалы к истории литературы и литературного быта Российской империи. – Минск, 2009. – С. 180–197.

чен был военным губернатором в Гродно, и тут его природная свирепость, подстрекаемая желанием угодить Николаю, превратила его в лютого тирана несчастных поляков. Только что приехав в Гродно, он узнал, что один из тамошних жителей спросил у одного из чиновников: “Наш новый губернатор родня ли моему бывшему знакомому, Сергею Муравьеву-Апостолу, который был повешен в 1826 году?” Муравьев вскипел гневом (кажется, было не из-за чего) и воскликнул: “Скажите этому ляху, что я не из тех Муравьевых, которые были повешены<sup>2</sup>, а из тех, которые вешают!”<sup>3</sup>.

Очерк П.В. Долгорукова был впервые опубликован в его бюллетене «Будущность» (№ 5, 25 декабря 1860 г., с. 35–40; № 6, 15 января 1861 г., с. 43–45). В 1864 г. выпущен с дополнениями брошюрой в Лондоне. Нет сомнения в том, что именно с подачи Долгорукова могла получить хождение столь развернутая версия появления рядом с фамилией бывшего гродненского губернатора прозвища Вешатель. Но само это прозвище употребляет уже А.И. Герцен в 1859 г., обращаясь к полякам: «Неужели вам не приходило на мысль, читая Пушкина, Лермонтова, Гоголя, что, кроме официальной, правительственной России, есть другая, что, кроме Муравьева, который *вешает*, есть Муравьевы, которых *вешают*»<sup>4</sup>. И в последующем редактор «Колокола», не стесняясь в выражениях, бичует тогдашнего министра и будущего «литовского проконсула»<sup>5</sup>, но самой употребительной характеристикой остается

<sup>2</sup> Как справедливо указал нам К.Г. Боленко, которому, пользуясь случаем, мы высказываем искреннюю благодарность за ценные замечания по прочитанному тексту, «последекабрьское» назначение будущего «вешателя» М.Н. Муравьева в губернию, входившую некогда в состав Речи Посполитой, вряд ли могло быть случайным и совершилось, вероятно, «по контрасту» с деятельностью «повешенного Муравьева» – С.И. Муравьева-Апостола, достаточно популярного в среде польской шляхты: напомним, что именно Васильковская управа Южного общества вела переговоры с Польским Патриотическим обществом.

<sup>3</sup> Цит. по изд.: Долгоруков, П.В. Михаил Николаевич Муравьев. Биографический очерк // П.В. Долгоруков. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта 1860–1867. – М.: Новости, 1992. – С. 317–318. – Несколько ранее другой публицист-эмигрант И.Г. Головин писал: «Мне долго не верилось, что [М.Н.] Муравьев министром, он в роде [П.М.] Капцевича, про которого в Сибири говорили, что дерево, на которое он взглянет, высыхает, ибо оно должно бояться, чтоб он его не превратил в виселицу» (см.: Головин, И.Г. Молодая Россия. – Лейпциг, 1859. – С. 29).

<sup>4</sup> Герцен, А.И. Россия и Польша. Ответы статьям, напечатанным в «Przeglądzie Rzeczy Polskich» // А.И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. – М., 1958. – Т. 14. – С. 14. – При этом показательно, что авторы комментариев к данному тому цитируют очерк П.В. Долгорукова, вышедший на год позже (и очевидно, что не Герцен читал Долгорукова, но, скорее всего, наоборот), при этом нигде не указывая возможный источник самого прозвища более раннего происхождения.

<sup>5</sup> См., например, в статье 1864 г.: «Illustrated Times» от 2 января поместил портрет *Муравьева-Вешателя*. Перед этим портретом мы остановились в безмолвном удив-

все та же: «Муравьевы, которые вешают»<sup>6</sup> – и ее различные вариации. Однако ни один из его оппонентов из проправительственного лагеря (П.А. Валуев<sup>7</sup>, Н.А. и Д.А. Милютини, А.А. Суворов-Рымникский и др.) в известных нам эго-текстах не употребляет прозвища Вешатель.

Версия происхождения прозвища, изложенная П.В. Долгоруковым, однако, на наш взгляд, может быть апокрифичной. По сути, у Муравьева, заступавшего на пост гродненского губернатора, не было никакой необходимости демонстрировать свою «свирепость» таким диким образом<sup>8</sup>. Несмотря на то, что по следствию о движении декабристов проходили многие его близкие друзья и родственники, сам Михаил Муравьев покинул ряды тайного общества еще в 1821 г., при этом на волне противостояния П.И. Пестелю. Кроме того, обеление Михаила Николаевича в глазах императора никак не было связано с необходимостью отречения от родственных и дружеских связей: того же не требовали, например, от брата Пестеля и иных продолжавших службу родственников декабристов. Напротив, семейный клан Муравьевых был чрезвычайно дружным; в этом отношении показательны наблюдения одного из видных современных исследователей декабризма П.В. Ильина: «Сам Муравьев занял на следствии четкую и бескомпромиссную позицию,

лени <...> это предел, это граница. Такого художественного соответствия между зверем и его наружностью мы не видели ни в статуях Бонаротти, ни в бронзах Бенвенуто Челлини, ни в клетках зоологического сада... <...> Портрет этот пусть сохранится для того, чтоб дети научились презирать тех отцов, которые в пьяном раболепии телеграфировали любовь и сочувствие этому бесшейному бульдогу, налитому водой, этой жабе с отвислыми щеками, с полузапльвившими глазами, этому калмыку с выражением плотоядной, пересыщенной злобы, достигнувшей какой-то растительной бесчувственности...» (цит. по изд.: Герцен, А.И. Портрет Муравьева // А.И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. – М., 1959. – Т. 15. – С. 34).

<sup>6</sup> Герцен, А.И. Генералы от цензуры и Виктор Гюго на батарее Сальванди // А.И. Герцен. Собрание сочинений: в 30 т. – М., 1958. – Т. 14. – С. 64.

<sup>7</sup> Даже на пике противостояния с М.Н. Муравьевым его бывший протеже, а затем один из ведущих критиков, министр внутренних дел П.А. Валуев не употребляет этого прозвища. При этом Валуев признает: «В Западном крае и в Царстве (Польском. – А.Ф.) повторяются теперь проскрипции древнего Рима времен Мария и Суллы» – и считает распоряжения Муравьева «безрассудными» (цит. по изд.: Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел: в 2 т. – М., 1961. – Т. 1. – С. 259).

<sup>8</sup> М.Д. Долбилов, внимательно изучавший поведение М.Н. Муравьева во время и по окончании следствия по делу 14 декабря, отмечает его весьма достойное поведение: «...он в противоположность, например, своему брату Александру, покинувшему общество еще в 1819 году, нигде не кается, не просит собственно о помиловании, прощении ему грехов и заблуждений». И далее: «...освобожденный подследственный отнюдь не спекулировал на отвращении Николая к заговорщикам и не рядился в тогу “новообращенного”» (см.: Долбилов, М.Д. «...Считал себя обязанным в сем участвовать»: Почему М.Н. Муравьев не отрекся от «Союза благоденствия»? // Декабристы: Актуальные проблемы и новые подходы. – М., 2008. – С. 201, 205).

от которой не отступил до конца расследования. Описывая собственное участие в тайном обществе, Муравьев настаивал на своем кратковременном “заблуждении”, утверждал, что занятия общества ограничивались распространением “добрых нравов” и просвещения, что после 1821 г. никакими сведениями о тайном обществе он не располагал и в действиях его не участвовал. <...> С помощью своих ответов Михаил Муравьев оказал вполне определенное воздействие на членов Комитета; этому способствовали и показания его родственников, состоявших в тайном обществе»<sup>9</sup>. То есть Михаил Муравьев вряд ли выбрался бы из следственной паутины, если бы не дружная позиция его родни.

Вместе с тем, на наш взгляд, мы имеем дело со случаем, когда, как говорят, «дыма без огня не бывает». Свет на происхождение «легенды о Вешателе» проливает небольшой фрагмент из критической заметки декабриста А.Е. Розена «Заметка барона Андрея Евгеньевича Розена, декабриста, относительно жизнеописания графа Михаила Николаевича Муравьева и его автобиографии, напечатанной в “Русской Старине” в конце прошедшего и в начале наступившего 1883 года». Заметка посвящена пояснению истории противостояния «муравьевского клана» в декабристском движении с П.И. Пестелем, в том числе пояснению причин отхода группы членов ранних декабристских организаций от активного в них участия: бывший декабрист Розен использовал для утверждения своей концепции публикации муравьевского биографа-апологета Д.А. Кропотова. А завершает ее А.Е. Розен следующим пассажем: «Надо воздать справедливость и Мих. Н. Муравьеву, что он <...> действовал всегда прямо и, быв назначен губернатором в Гродно, выказал себя начистоту пред созванным дворянством: “Suum cuique!” (Каждому свое (лат.). – А.Ф.)»<sup>10</sup>.

Нет сомнений, что розеновское «Каждому свое!» – если, конечно, мы имеем дело с точным цитированием высказывания Муравьева, а не с вольным пересказом его выступления престарелым декабристом – содержательно совпадает с легендой: новоприбывший гродненский губернатор действительно дистанцируется от казенного родственника или, по крайней мере, не желает рассуждать на тему своего родства (хотя бы потому, что следом неизбежно возникала и тема участия самого Михаила Николаевича в тайном обществе). Однако эмоционально при этом мы видим совершенно иную картину, нежели та, которую рисует язвительное перо Петра Долгокурова.

<sup>9</sup> Ильин, П.В. Новое о декабристах. Прощенные, оправданные и необнаруженные следствием участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг. – СПб., 2004. – С. 60–61.

<sup>10</sup> Цит. по изд.: Розен, А.Е. Записки декабриста. – СПб., 2008. – С. 473–474.

Прежде всего, отличие в обстоятельствах произнесения фразы: согласно версии Долгорукова, Муравьев узнает о вопросе не названного по имени чиновника, свирепеет и велит передать «этому ляху» о своем «принципиальном отличии» от С.И. Муравьева-Апостола и других своих, едва не лишившихся жизни родственников<sup>11</sup>. По версии, обозначенной Розеном, Муравьев не угрожает заочно ничтожному и зависящему от него чиновнику, а «выказывает себя начистоту пред созданным дворянством», то есть обращается как равный к равным. Вероятно, вопрос был действительно задан в какой-то приличествующей случаю форме (вопрос в версии Долгорукова задается совершенно неприлично), отчего губернатор не «свирепеет», а говорит на хорошо понятном собравшимся языке (католическая в большинстве своем польско-литовская шляхта хорошо владела латынью), причем отвечает знакомым всем цицероновским афоризмом, то есть нейтрально, подчеркивая не столько собственную позицию в отношении к наказанию, сколько свой статус справедливо оправданного. Михаил Муравьев противопоставляет не себя лично казненному родственнику, а Жребий и, соответственно, монаршую волю, уготовившие ему и Сергею Муравьеву-Апостолу разные судьбы.

Правда, приведенный А.Е. Розеном латинский афоризм, возможно, использованный М.Н. Муравьевым для ухода от столь неприятного ему напоминания, наполняется дополнительным смыслом, если учесть последующую судьбу вполне нейтрального латинского высказывания. Начертанный на вратах фашистского концлагеря Бухенвальд (уже на немецком языке – «jedem das seine») в новом, XX, веке в качестве насмешки над находящимися в нем узниками, он в смысловом отношении вполне стоит той репутации, которую создали бывшему заговорщику, а позднее «человеку литовской бойни»<sup>12</sup> его противники из либерального лагеря.

Однако следует признать, что повод для подобного прозвища был дан М.Н. Муравьевым задолго до 1863–1864 гг., причем именно в бытность его гродненским губернатором. Мы склонны связывать репутацию «вешателя» с происшедшей в 1833 г. в Гродно казнью эмиссара польской эмиграции Михала Волловича. Воллович был повешен 21 июля (2 августа) по приговору военного суда. Воллович, как известно, был приговорен к четвертованию, однако по инициативе Муравьева, приговор был смягчен: четвертование заменено повешением<sup>13</sup>. Как утверждает автор монографии, специально по-

<sup>11</sup> Согласно приговору Высшего уголовного суда смертная казнь грозила также Н.М. и А.З. Муравьевым.

<sup>12</sup> Герцен, А.И. Собрание сочинений: в 30 т. – М., 1959. – Т. 18. – С. 19.

<sup>13</sup> Как указал в беседе с нами К.Г. Боленко, военные суды, как правило, выносили в полном соответствии с законом максимально возможную меру наказания, представляя вышестоящим инстанциям возможность – в соответствии со сложившейся традицией – смягчать ее. Губернатор, каковым являлся в описываемый период



священной этому эпизоду польского национально-освободительного движения, «казнь произвела ужасающее впечатление. Как сообщает [виленский генерал-губернатор Н.А.] Долгоруков в рапорте военному министру гр[афу А.И.] Чернышеву, прошла она очень торжественно (со всевозможною торжественностью). Среди толпы присутствовавших царила мертвая тишина. «Все были до такой степени потрясены, что, несмотря на такое огромное скопление, абсолютно все люди пребывали в безмолвствии»<sup>14</sup>.

Судя по всему, именно это «народ безмолвствует», а вовсе не хамская автохарактеристика, якобы высказанная в ответ на невинный вопрос безвестного польского чиновника, так громко и отозвалось позднее в прозвище бывшего гродненского губернатора Михаила Муравьева. Тем более, что одной казнью Волловича – пусть даже и столь шокировавшей – расправа над участниками конспиративных сетей, существовавших на бывших польских землях, не ограничивалась: вспомним, как несколько позже, уже после отъезда М.Н. Муравьева из западных губерний, был казнен другой эмиссар польско-литвинской эмиграции Ш. Конарский.

В том случае, если наша версия правомерна, мы получаем ответ на вопрос, кто именно придумал прозвище Михаилу Николаевичу. В предисловии к новому изданию польского перевода записок Муравьева Збигнев Подгужец пишет: «Это не поляки, но современники русские наградили его кличкой “Вешатель”»<sup>15</sup>. Эта точка зрения не вполне, на наш взгляд, соответствует действительности. Да, наиболее яркими «промоутерами» муравьевского прозвища выступили русские П.В. Долгоруков и А.И. Герцен. Но вот придумали его, скорее всего, именно поляки: был повод.

Можно, однако, сказать, что поводом для появления клейма «вешателя» стала не небывалая суровость М.Н. Муравьева, а, скорее, не вполне удачная его попытка проявить некоторую мягкость – в чем как раз не было ничего исключительного. Следует помнить, что в Николаевскую эпоху «спектр возможных решений продолжал колебаться от закрытия дела по воле монарха без всяких последствий для обвиняемого (так сказать, высочайшего досудебного помилования) до осуждения согласно букве устаревших законов. Эта проблема остро встала при кодификации военно-уголовного законодательства, но почти обязательная и, на первый взгляд, абсурдная практика,

---

Михаил Муравьев, таким правом обладал. Кроме него, дальнейшее смягчение приговора могли произвести виленский генерал-губернатор Н.А. Долгоруков и далее, вплоть до императора. Однако в случае с Волловичем правом проявить свое милосердие воспользовался только М.Н. Муравьев.

<sup>14</sup> Sidorowicz-Czerniewska, K. Sprawa emisarjusza Michała Wołowicza z r. 1833. – Grodno, 1934. – S. 56.

<sup>15</sup> Podgórzec, Z. Fenomen Murawiowa // M. Murawio. Wspomnienia. – Warszawa, 1990. – S. 6.

когда высшие инстанции (которые, в отличие от низших военных судов, не обязаны были опираться на Военные артикулы) смягчали первоначальный суровый приговор, все-таки не была изменена»<sup>16</sup>. Впрочем, подобная практика, видимо, существовала и раньше, как по нетяжким преступлениям, так и впоследствии по политическим, что, в частности, нашло свое отражение в воспоминаниях Я.И. Костенецкого: «Военный суд <...> на основании еще петровских артикулов, приговорил кого четвертовать, кого колесовать, а кого только повесить, но всех вообще лишит живота и предать смертной казни. Я и все мы знали, что это решение – только кукольная комедия, со времен Петра постоянно разыгрываемая нашими прежними военными судами и потому нисколько не были смущены таким бесчеловечным решением»<sup>17</sup>,<sup>18</sup>.

Правда, «кукольные комедии» далеко не всегда завершались игрушечными страстями: людей реально предавали смертной казни. И с этой точки зрения, деятельность гродненского губернатора Михаила Муравьева исключением не была. Но и прозвище Вешатель появлялось далеко не у всех российских чиновников.

---

<sup>16</sup> Боровков, А.Д. Александр Дмитриевич Боровков и его автобиографические записки / сообщ. Н.А. Боровков // Русская Старина. 1898. № 12. С. 597–605. – О складывании такой практики еще со второй половины 1810-х гг., после предоставления военным начальникам широких прав по утверждению приговоров военных судов, см.: Столетие Военного министерства: 1802–1902. – СПб., 1914. – Т. 12, кн. 1, ч. 2: Главное военно-судное управление: Исторический очерк / сост. под ред. В.А. Апушкина. – С. 131–132.

<sup>17</sup> Костенецкий, Я.И. Воспоминания из моей студенческой жизни // Русский Архив. 1887. № 6. С. 234.

<sup>18</sup> Боленко, К.Г. Верховный уголовный суд в системе российских судебных учреждений первой половины XIX века: дис. ... канд. ист. наук. – М., 2009. – С. 250–251.

## КОРОВЬЕВ СКАЗАЛ ПРАВДУ! (И.И. Панаев в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»)

Сцена в «Мастере и Маргарите», послужившая поводом для настоящих заметок, памятна всем, кто хоть однажды читал бессмертный булгаковский роман. В 28-й главе, названной «Последние похождения Коровьева и Бегемота», неразлучная парочка пажей-шутов Воланда прибывает в Дом Грибоедова, чтобы окончательно надругаться над звездами МАССОЛИТа. Уполномоченная проверять членские билеты гражданка отрицает за ними право посещения элитарного заведения, однако Арчибальд Арчибальдович, заведующий писательским рестораном, приказывает Софье Павловне (так, совершенно по-грибоедовски, зовут привратницу) пропустить незваных гостей. Та, выполняя приказ начальства, лишь спрашивает фамилии новоявленных литераторов.

«...и Софья Павловна покорно спросила у Коровьева:

– Как Ваша фамилия?

– Панаев, – вежливо ответил тот»<sup>1</sup>.

Как нам кажется, Коровьев не лгал. Или, во всяком случае, сказал почти правду<sup>2</sup>. Попытаемся обосновать свою точку зрения.

Комментаторы булгаковского романа тщательно обходят вопрос о том, почему, собственно говоря, Коровьев представляется Панаевым. Ограничиваются упоминанием Панаева как такового. Так, например, Б.М. Гаспаров

---

<sup>1</sup> Цит. по изд.: Булгаков, М.А. Мастер и Маргарита // М.А. Булгаков. Собрание сочинений: в 5 т. – М., 1990. – Т. 5. – С. 344. – Далее ссылки на данное издание см.: Булгаков... – С. ...

<sup>2</sup> Вопрос о сознательной (для воландовских пажей) путанице Панаева и Скабичевского в данной работе не является предметом рассмотрения.

в работе «Из наблюдений над мотивной структурой романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»» говорит лишь о том, что Панаев и Скабичевский – «два деятеля 60–70-х годов, имеющих довольно близкое отношение к «бесованию»»<sup>3</sup> (исследователя интересует связь романа Булгакова с творчеством Ф.М. Достоевского). И.З. Белобровцева и С. Кульюс подчеркивают, что мемуары И.И. Панаева послужили поводом для возникновения ряда сюжетных коллизий, связанных, например, с темой писательской зависти<sup>4</sup>. При этом, хотя в русской литературе известны Владимир Иванович и Иван Иванович Панаевы, ни в одной из упомянутых работ не говорится, почему Булгаков имеет в виду не дядюшку, а племянника, подразумевая, вероятно, что читатель должен догадаться об аргументации исследователей. В известных комментариях Г.А. Лескиса также не указывается, какой именно из Панаевых имеется в виду. Лишь отмечается: «В русской литературе известны два Панаева: В.И. Панаев (1792–1859), поэт, автор сентиментальных идиллий, и И.И. Панаев (1812–1862), прозаик, один из редакторов журн. «Современник»»<sup>5</sup>. Однако внешность Коровьева не оставляет сомнений: речь идет не о чиновном дядюшке В.И. Панаеве, который не имел права носить усы, поскольку проходил по гражданскому ведомству, а о племяннике – об И.И. Панаеве. Достаточно вспомнить, как описывает Коровьева автор: «Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неизменно, и физиономия, прошу заметить, глумливая. <...> ...и в начинающихся сумерках Берлиоз отчетливо разглядел, что усишки у него, как куриные перья, глазки маленькие, иронические и полупьяные, а брючки клетчатые, подтянутые настолько, что видны грязные белые носки»<sup>6</sup>. Вряд ли отличавшийся с молодости франтоватостью Иван Иванович Панаев носил грязные белые носки, но вот физиономия Коровьева и впрямь напоминает самое известное изображение редактора «Современника» – литографию П. Бореля. На литографии сидит немолодой человек, довольно худой<sup>7</sup>, лохматый, с торчащими в сторону лихо подкрученными усами. Взгляд грустный и ироничный (хотя Иван Иванович, пожалуй, скорее, трезв). Брючки на нем не клетчатые, од-

<sup>3</sup> См.: <http://novruslit.ru/library/?p=25>.

<sup>4</sup> См.: Белобровцева, И., Кульюс, С. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Комментарий. – М., 2007. – С. 255.

<sup>5</sup> Лескис, Г.А. Комментарии // Булгаков... – С. 662–663.

<sup>6</sup> Булгаков... – С. 8, 47.

<sup>7</sup> Худоба, И.И. Панаева отмечается комментаторами булгаковского романа: «Вполне вероятно, что в паре Панаев и Скабичевский представляли пародийную переключку с героями Булгакова по принципу толстый/тонкий: И.И. Панаев на карикатурах изображался тощим и длинным, а Скабичевский – упитанным (указано Ф. Балоновым)» (см.: Белобровцева, И., Кульюс, С. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Комментарий. – М., 2007. – С. 417).

нако в мелкую полосочку. В общем, внешнее сходство между Коровьевым и Панаевым, на наш взгляд, есть.

Как есть и сходство внутреннее. Коровьев – абсолютное, законченное воплощение иронического отношения к жизни, хотя он легко испытывает сострадание, если человек того заслуживает (например, сцена бала у Сатаны, где он явно сочувствует страдающей Маргарите). Но ведь именно ирония характерна для многих произведений И.И. Панаева – классика фельетона и литературной пародии<sup>8</sup>.

Однако гораздо более важно то, что, на наш взгляд, М.А. Булгаков знал Панаева не только по литографии П. Бореля и по имевшемуся в его библиотеке изданию воспоминаний Панаева 1928 г.<sup>9</sup>. Высока вероятность того, что он читал Панаева и даже использовал один из его мотивов в «Мастере и Маргарите».

Как отметил А.И. Рейтблат, во второй половине XIX в. получил широкое распространение «роман литературного краха», в котором повествовалось «о талантливом и “идейном” литераторе, который хочет писать “правду”, осмысляя современную жизнь, просвещая и воспитывая читателя и способствуя социальному прогрессу. <...> Постепенно “идейный” литератор убеждается, что писать так, как хочешь, и то, что хочешь, и при этом прожить на литературный гонорар нельзя, нужно либо “продать” себя, сотрудничая в газете или иллюстрированном журнале и поставляя то, что там пойдет (а то и работая на заказ), либо уйти из литературы (то есть перестать писать, умереть и т.д.)»<sup>10</sup>. Происходит капитуляция: герой либо бросает литературу, либо кончает с собой, либо приспосабливается к жизни. Причем автор, проецируя судьбу своего героя на некий не свершившийся вариант собственной судьбы, искренне сочувствует ему – пусть даже и осуждая неудачника. Среди предтеч этого типа романа А.И. Рейтблат называет, в частности, А.Ф. Писемского с его «Тысячью душ».

Однако значительно ранее «Тысячи душ» (1858) была опубликована повесть И.И. Панаева «Литературная тля» (1843), в которой мы имеем дело с той же, употребляя термин А.И. Рейтבלата, «формулой» «литературного краха». Причем здесь на примере судьбы литератора Кинаревича можно

<sup>8</sup> Мы не рассматриваем подробно литературную позицию и особенности творчества И.И. Панаева, проанализированные в глубоких, не потерявших своего значения работах И.Г. Ямпольского, например: Ямпольский, И.Г. Литературная деятельность И.И. Панаева // Поэты и прозаики. Статьи о русских писателях XIX – начала XX в. – Л., 1986. – С. 23–91.

<sup>9</sup> См.: Белобровцева, И., Кулюс, С. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Комментарий. – М., 2007. – С. 255.

<sup>10</sup> Рейтблат, А.И. «Роман литературного краха» в русской литературе конца XIX – начала XX века // От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. – М., 2009. – С. 319.

увидеть, как зарождается тот вариант решения «формулы», который будет повторен в романе Булгакова.

Бездарный Кинаревич (преобразом которого послужил Л.В. Брант<sup>11</sup>), потрясенный разгромной рецензией главного героя повести Гребешкова, сходит с ума: «Кинаревич совершенно потерялся; он недели две не выходил из дома, не пускал к себе никого и в припадке отчаяния беспрестанно разговаривал сам с собою. <...>

– Это ничего, ничего, – говорил он однажды Скворевичу, часто навещавшему его во время болезни, – я напишу, вот ты увидишь, такое колоссальное произведение, которое подавит всех этих жалких крикунов, завистников моего таланта. В голове моей шевелится теперь такая ядовитая сатира на них...

– И, братец, – перебил Скворевич, прихлебывая ром, – охота же тебе... Что, братец, с ними связываться; плюнь на них...

– Нет, нет!.. – Кинаревич схватил с своего стола гипсовую статушку какого-то великого мужа, бросил ее на пол и начал топтать ногами. – Вот я как раздавлю их!

Скворевич с удивлением посмотрел на него. Кинаревич вдруг зарыдал, как ребенок, и начал бормотать бессмысленные и невнятные речи, указывая на гипсовые обломки... Он был в жару. Скворевич уложил его в постель и послал за доктором. Когда доктор явился, больной принял его за какого-то журналиста, злобно бросился на него и потом, отступив шаг назад и подняв руку вверх, начал читать ему наизусть отрывок из своей брошюры на рецензентов»<sup>12</sup>.

Вероятно, не будь столь очевидной в контексте всей повести (не имеем в виду отдельный процитированный нами фрагмент) авторская ирония Панаева, сыгравшего со своим героем дьявольскую шутку, комментаторы «Мастера и Маргариты» могли бы разглядеть в этой коллизии судьбу булгаковского Мастера, сошедшего с ума после разгромных рецензий на свой роман.

В любом случае, о гениальности романа Мастера мы знаем лишь потому, что смотрим на него глазами то влюбленной Маргариты, то Воланда, то, наконец, оказавшегося в соседней палате психиатрической лечебницы Ивана Бездомного. Вряд ли влюбленная женщина, дьявол и сумасшедший виршеплет могут считаться объективными судьями в споре автора с читателями и критиками. Но, в конце концов, и это не есть доказательство того, что Булгаков читал «Литературную тлю» и списал Мастера с Кинаревича:

<sup>11</sup> См.: Ямпольский, И.Г. Из истории литературной борьбы начала 1840-х годов («Петербургский фельетонист» и «Литературная тля» И.И. Панаева) // И.Г. Ямпольский. Поэты и прозаики. Статьи о русских писателях XIX – начала XX в. – Л., 1986. – С. 101.

<sup>12</sup> Панаев, И.И. Литературная тля // И.И. Панаев. Сочинения. – Л., 1987. – С. 408–409. – В дальнейшем ссылки на это издание см.: Панаев, И.И. – С. ...

не исключено, что он попросту развернул метафору «с ума сойти от такой рецензии можно».

Однако вспомним, что в сумасшедшем доме у Булгакова сидят двое писателей. Одного из них – Ивана Бездомного – туда доставляет его же коллега Александр Рюхин. Но ведь точно так же доставляет в «желтый дом» Кинаревича его собрат по перу Скворевич: «Хлопоты Скворевича после многих препятствий увенчались успехом; он нанял карету и повез несчастного своего приятеля в его последнее убежище»<sup>13</sup>.

И, что еще более важно, ощущение близости к этому «последнему убежищу» и трагизм ситуации способствуют перерождению Скворевича, совсем по-иному оценивающему теперь мир: «Скворевич молчал. Никогда ему не было так тяжело, как в эту минуту. Пасмурное осеннее небо, мелкий дождик, более похожий на туман, по сторонам дороги ветхие заборы и палисадники, обнаженные деревья, да между ними дачи с наглухо заколоченными окнами и человек, сидевший возле него со впалыми щеками, с бессмысленным взглядом и с бессмысленными речами, – все это как-то необыкновенно на него подействовало. Он, может быть, первый раз в жизни тяжело вздохнул и, махнув рукою, прошептал: “Ох, скучно!” Но если б мог понять Скворевич, какой ядовитой и горькой иронией на него был этот бедняк, помешавшийся на литературе и возбуждавший в нем такое сострадание, он, верно, вздохнул бы еще тяжелее»<sup>14</sup>.

Но ведь так же тяжело действуют на булгаковского Рюхина горькие слова, брошенные ему в лицо сданным им в психушку Иванушкой Бездомным. Упрек в бездарности способствует его перерождению – хотя бы временному: «Настроение духа у едущего было ужасно. <...> Да, стихи... Ему – тридцать два года! В самом деле, что же дальше? – И дальше он будет сочинять по несколько стихотворений в год. – До старости? – Да, до старости. – Что же принесут ему эти стихотворения? Славу? “Какой вздор! Не обманывай-то хоть сам себя. Никогда слава не придет к тому, кто сочиняет дурные стихи. Отчего они дурные? Правду, правду сказал! – безжалостно обращался к самому себе Рюхин. – Не верю я ни во что из того, что пишу!..»<sup>15</sup>.

Разумеется, разница есть. В отличие от панаевского Скворевича булгаковский Рюхин способен к саморефлексии: он не просто проецирует судьбу сошедшего с ума Бездомного-Понырева на судьбу собственную, испытывая от этого естественную тяжесть, но и трезво оценивает правдивость услышанного обвинения в бездарности. Однако заканчиваются эпизоды совершенно одинаково – по крайней мере, внешне.

<sup>13</sup> Панаев, И.И. – С. 409.

<sup>14</sup> Там же. С. 409–410.

<sup>15</sup> Булгаков... – С. 72–73.

«...на возвратном пути тяжесть несколько отлегла от сердца Скворевича. Он сказал самому себе: “А что, не выпить ли этак целительного ямайского лоделаванца?” – и заехал в “Марьину Рощу”, что на Петергофской дороге»<sup>16</sup> – так заканчивает эпизод с безумным литератором И.И. Панаев.

А вот как ведет себя Сашка Рюхин в романе М.А. Булгакова после исполнения своей печальной миссии: «Через четверть часа Рюхин, в полном одиночестве, сидел, скорчившись над рыбцом, пил рюмку за рюмкой, понимая и признавая, что исправить в его жизни уже ничего нельзя, а можно только забыть»<sup>17</sup>.

В двух эпизодах безумия и заключения литератора в сумасшедший дом явственно видны и другие элементы сходства.

Скажем, в припадке помешательства панаевский Кинаревич «схватил с своего стола гипсовую статушку какого-то великого мужа, бросил ее на пол и начал топтать ногами»<sup>18</sup>. На наш взгляд, те же самые чувства овладевают булгаковским Рюхиным, когда тот проезжает мимо бронзового памятника Пушкину – с той разницей, что Рюхин ограничивается только словами: «Какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу, все обращалось к его славе! Но что он сделал? Я не постигаю... Что-нибудь особенное есть в этих словах: “Буря мглою...”? Не понимаю!..»<sup>19</sup>.

Наконец, показательно, что «тле» («массолитовцам» XIX века) Панаев недвусмысленно противопоставляет Гоголя: «Уже миновалась пора ее (литературы. – А.Ф.) детских, напыщенных, риторических восторгов и чувствительных вздохов – и появляются среди нее люди, которые “сквозь видимый миру смех и невидимые слезы” начинают вглядываться в окружающую их действительность. Уже нестройные и бессмысленные крики литературных тлей заглушает иногда громкое и могучее слово человека с убеждением»<sup>20</sup>.

Точно так же осуждающим массолитовские гульбища фоном в булгаковском романе встают тени Пушкина, Гоголя и Грибоедова.

Но есть и еще одна существенная деталь, которая и вынесена нами в название наших заметок. Несмотря на кажущуюся взаимозаменяемость фамилий Панаева и Скабического, которыми представляются Коровьев и Бегемот, именно Коровьеву фамилия Панаева, что называется, подходит. Дело даже не в сходстве портретов булгаковского персонажа и некрасовского сподвижника. Дело в роли, которую Коровьев играет в булгаковском романе.

Если мы вспомним, патрон Коровьева – Воланд – тщательно отрицает какую-либо свою причастность к происходившему на сцене московского

<sup>16</sup> Панаев, И.И. – С. 410.

<sup>17</sup> Булгаков... – С. 74.

<sup>18</sup> Панаев, И.И. – С. 408–409.

<sup>19</sup> Булгаков... – С. 73.

<sup>20</sup> Панаев, И.И. – С. 433.



Варьете сеанса черной магии: «Ну вот моя свита <...> и устроила этот сеанс, а я всего лишь сидел и смотрел на москвичей»<sup>21</sup>. Точно так же, в принципе, Воланд не совершает никаких поступков, которые вызывают пожары, скандалы, драки и т.п. «Постановщиком» их – если уж окончательно уподобить описанную в булгаковском романе московскую жизнь театральным подмосткам – является Коровьев. В том числе, именно он фактически «режиссирует» весь сюжет, связанный с реалиями литературного быта советской столицы (если не считать ночного полета Маргариты, к которому причастен другой демон – Азazelло). Именно Коровьев фактически определяет всю линию, связанную с помещением Ивана Бездомного в сумасшедший дом; можно сказать, что он – «автор» этой линии булгаковского романа. Но точно так же Панаев является автором трагикомедии литературного быта России середины XIX в., которую он воссоздал в своих повестях и фельетонах, в том числе в повести «Литературная тля», персонажа которой, Кинаревича, как мы помним, помещают в сумасшедший дом. Причем рисуя совершенно «биологическое» существование «творческой элиты» (писатели у него заняты либо поглощением пищи, либо пожиранием себе подобных), Булгаков также следует заветам Панаева, у которого, скажем, очерк «Петербургский фельетонист» сопровождался подзаголовком «Зоологический очерк». Можно сказать, что в своих экспериментах над москвичами 1920–1930-х гг. шутник Коровьев замечает то, что наблюдал у петербуржцев 1840–1850-х гг., собирая материалы для своих произведений, И.И. Панаев, именем которого паец Сатаны, в конце концов, и воспользовался.

Таким образом, на наш взгляд, в «писательской» сюжетной линии «Мастера и Маргариты» Булгакова чувствуется не только несомненное влияние комедии А.С. Грибоедова, засвидетельствованное автором в названии учреждения, послужившего местом происшествия<sup>22</sup>, но и отражение читательских впечатлений от произведений И.И. Панаева, причем не только текстов, но и самой личности и авторской позиции Панаева.

<sup>21</sup> Булгаков... – С. 202.

<sup>22</sup> См. об этом: Борисов, Ю.Н. Грибоедов в ассоциативном контексте романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Проблемы творчества А.С. Грибоедова. – Смоленск, 1994. – С. 221–230.

## ПИСАТЕЛЬ ОСТАП ИБРАГИМОВИЧ... ШКЛОВСКИЙ?

Борис Эйхенбаум в заметке «О Викторе Шкловском» (1929) особо отмечает статус Шкловского как писателя в современной литературе: «...обсуждают не столько его идеи, стиль или теории, сколько что-то другое – его самого: его поведение, тон, намеки, манеру. Он существует не только как автор, а скорее как литературный персонаж, как герой какого-то ненаписанного романа – и романа проблемного»<sup>1</sup>. Говоря словами современного исследователя, «Шкловский был своего рода воплощением металитературности»<sup>2</sup>.

Б.М. Эйхенбаум прав и неправ одновременно. Уже в это время Виктор Борисович Шкловский был увековечен в романе своего младшего коллеги Вениамина Каверина «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове» (1928) под именем Виктора Некрылова. Была написана «Белая гвардия» (1922–1924) Михаила Булгакова, где Шкловский выступил в качестве прототипа Матвея Шполянского. Впереди его ждали «Сумасшедший корабль» (1930) Ольги Форш и «Алмазный мой венец» (1975–1977) Валентина Катаева.

Это – те произведения, где либо авторы в принципе не скрывают наличия конкретного прототипа своего героя (мы имеем «роман с ключом»), либо сохранились (как в случае с «Белой гвардией») документальные свидетельства, в том числе свидетельства самого Шкловского, позволяющие зафиксировать связь между героем и прототипом. Яркость и оригинальность личности и манер Шкловского

<sup>1</sup> Эйхенбаум, Б.М. О Викторе Шкловском // Б.М. Эйхенбаум. О литературе. Работы разных лет. – М., 1987. – С. 444.

<sup>2</sup> Левченко, Я. История и фикция в текстах В. Шкловского и Б. Эйхенбаума в 1920-е гг. – Tartu, 2003. – С. 95.

давали писателям богатый материал, которым они и пользовались. Собственно говоря, об этом и пишет в процитированном нами выше высказывании Эйхенбаум.

Однако это не означает, что перечень текстов, в которых отразились впечатления их авторов от встреч со Шкловским, исчерпан. Мы предлагаем рассмотреть вполне вероятную, по нашему мнению, связь с личностью и, что, пожалуй, еще более важно для литературоведа, с текстами Виктора Шкловского одного из самых ярких произведений русской советской литературы начала 1930-х гг. – диалоги И.А. Ильфа и Е.П. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».

### **Бендер как Мастер**

Начнем с известного всем эпизода.

В главе XXVI «Золотого тельника» неуклонно приближающийся к заветному корейкинскому миллиону Остап Бендер входит в вагон идущего по Турксибу поезда. В поезде – и в купе, которое осчастлиливает своим пребыванием командор, – едут журналисты.

Собственно говоря, это не журналисты, а писатели. О склонности их к художественному труду свидетельствуют, в частности, две вставные новеллы – «Рассказ господина Гейнриха об Адаме и Еве» и «Рассказ Остапа Бендера о Вечном Жиде».

Однако с творчеством возникает заминка. «Потный вал вдохновения», как называют авторы диалоги XXVIII главу «Золотого тельника», никак не влияет на качество производимых пассажирами литерного вагона текстов. И Бендер прибегает к хорошо, судя по всему, испытанному им способу зарабатывания на жизнь. Вот что он говорит недотепе Ухудшанскому: «Вы, я замечаю, все время терзаетесь муками творчества. Писать, конечно, очень трудно. Я, как старый передовик и ваш собрат по перу, могу это засвидетельствовать. Но я изобрел такую штуку, которая избавляет от необходимости ждать, покуда вас окатит потный вал вдохновения»<sup>3</sup>.

И далее Ухудшанскому предлагается «Торжественный комплект. Незаменимое пособие для сочинения статей, табельных фельетонов, а также парадных стихотворений, од и тропарей» (ЗТ, с. 264). Фактически – пособие о том, как стать писателем.

<sup>3</sup> Ильф, И.А., Петров, Е.П. Золотой теленок / Комментарии к роману Ю.К. Щеглова. – М., 1995. – С. 263–264. – Далее ссылки на это издание см. в круглых скобках после цитаты с указанием страницы: (ЗТ, с. ...).

Бендер не оригинален. Жанр пособия на эту тему был чрезвычайно популярен в 1920–1930-е гг.<sup>4</sup>, причем классиком его и был Виктор Борисович Шкловский. Разумеется, его работы в данном жанре несколько менее лапидарны, нежели «Торжественный комплект» Бендера, однако типологическое сходство между ними несомненно. Так, в известном пособии «Как писать сценарии», вышедшем несколькими изданиями, Шкловский строит процесс заочного обучения своих читателей на примерах сценариев Б. Альтшулера, Е. Виноградской, Б. Леонидова, А. Ржешевского. Точно так же «Торжественный комплект» представляет собой набор образцов передовой статьи, художественного очерка-фельетона, стихотворения и т.д. Как Шкловский разбирает текст сценария до уровня деталей и приемов, так и Бендер препарирует в своем пособии будущий текст своего «ученика» до уровня частей речи, особо останавливаясь (с учетом специфики ситуации) на словах, способных придать тексту ориентальный колорит.

Бендер – и это очевидно – относится к своему «интеллектуальному продукту» с естественной иронией. Это понятно: творческое начало в Остапе Ибрагимовиче очень сильно; по словам же Шкловского, «в искусстве нужнее всего сохранять пафос расстояния <...> не давать себя прикручивать. Нужно сохранять ироническое отношение к своему материалу, нужно не подпускать его к себе. Как в боксе и фехтовании»<sup>5</sup>. Вероятно так же, как Шкловский мог относиться к тому, чем ему приходилось заниматься в процессе подготовки «пособий по ...». В его фонде в РГАЛИ сохранились документы, свидетельствующие об авторской «всеядности» Виктора Борисовича. Частично их тематика оправдана фактами биографии автора: например, очевидно, какими причинами вызвано появление «Инструкции по вождению автомашин и характеристики разных марок автомобилей, составленных для Запасного броневое автомобильного дивизиона» (1915–1918 гг. // РГАЛИ. Ф. 562. Оп. 1. Ед. 809). Но среди них, например, есть «План инструкционных лент для обучения трактористов» (1928–1929 гг. // РГАЛИ. Ф. 562. Оп. 1. Ед. 284. Л. 1–3). В 1947 г. на заседании секции научно-художественной литературы Союза советских писателей обсуждался доклад Шкловского «Как пишут и как писать о технике» (материалы обсуждения см.: РГАЛИ. Ф. 562. Оп. 1. Ед. 216).

Обычно в «Торжественном комплекте» видят не более, чем насмешку авторов «Золотого тельца» над неудачливым журналистом. Но нужно отметить, что Шкловский как ведущий практик жанра подобного пособия относился к нему всерьез. Н.Я. Мандельштам вспоминает: «Шкловский усиленно рекомендовал Мандельштаму свой способ спасения и уговаривал что-нибудь написать для кино. На то, что сценарий пройдет и будет напеча-

<sup>4</sup> См. об этом, в частности: Добренко, Е. Формовка советского писателя. Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры. – СПб., 1999.

<sup>5</sup> Шкловский, В.Б. Пять человек знакомых. – Тифлис, 1927. – С. 12.

тан, надеяться нельзя, объяснял Шкловский, но фабрика платит за все, начиная с заявки и либретто на нескольких страничках. Всем, к кому Шкловский хорошо относился, он давал именно этот совет и предлагал вместе написать сценарий. Такое предложение было у него чем-то вроде объяснения в любви и дружбе. <...> В кино не было идиотов. Там сидели только умные и деловые люди. А Шкловский, соблазняя Мандельштама, придумал даже сюжет для либретто: дворцовый лакей и его дочь, она уходит в революцию, а он сейчас служит в Екатерининском дворце, который стал музеем. «Вы же живете в Царском, – сказал Шкловский, – обыграйте его. Пойдите в музей и придумайте...» Он вел себя, как сирена-соблазнительница»<sup>6</sup>.

Фактически Бендер спасает себя продажей «Торжественного комплекта» от безденежья, но и Ухушанского он спасает своим «Комплектом» от безработицы – как Шкловский предлагает спастись, в конечном счете, О.Э. Мандельштаму от отсутствия средств к существованию (Надежда Яковлевна не случайно обращает внимание на деловой характер его предложения и даже на своеобразный гуманизм этого предложения). Сценарий, предлагаемый Мандельштаму, вполне сродни той бледной курице, которую вынужден съесть голодный Бендер, вторгаясь в литерный вагон (ЗТ, с. 251). При этом О.Э. Мандельштам – отнюдь не единственный, кому Шкловский пытается таким образом помочь. Вс.В. Иванов признавался в письме А.М. Горькому: «Сейчас Шкловский служит на кинофабрике, откуда со всегдашней своей готовностью – устроил мне аванс»<sup>7</sup>. Творческая сторона дела менее важна, чем аванс.

Но Шкловский никогда и не скрывал подобного утилитарного подхода: «Нужно построить жизнь так, чтобы можно было не писать, когда не пишется»<sup>8</sup>. Для этого в пособиях сознательно примитивизируется творческий процесс: «Вот вам совет, который мы, профессиональные писатели, часто даем друг другу: начинайте с середины, с того самого места, которое у вас выходит, в котором вы знаете что написать.

Когда напишете середину, то найдется и начало и конец, или самая середина окажется началом.

<sup>6</sup> Мандельштам, Н.Я. Вторая книга: Воспоминания. – М., 1990. – С. 280. – Это был не единичный случай. О.Б. Эйхенбаум вспоминает: «...Витя помогал нам материально. Он удивительно умел зарабатывать деньги: звонил по издательствам и предлагал – сюда то-то, туда то-то. О чем хотите, что угодно. На “Ленфильме” набирал разных работ, получал деньги и какую-то часть отдавал Боре (Эйхенбауму. – А.Ф.)» (см.: Из воспоминаний О.Б. Эйхенбаум // Б.М. Эйхенбаум. «Мой современник»...: Художественная проза и избранные статьи 20–30-х годов. – СПб., 2001. – С. 624).

<sup>7</sup> Иванов, Вс.В. Переписка с А.М. Горьким. Из дневников и записных книжек. – М., 1969. – С. 31.

<sup>8</sup> Шкловский, В.В. Техника писательского ремесла. – М.–Л., 1930. – С. 7.

Кроме этого, нужно иметь дома заготовки – готовые написанные куски статей, записи фактов, удачных выражений, фактические сведения, – которые всегда найдут себе место в статье и никогда не пропадут даром»<sup>9</sup>.

Шкловский сознательно отходит (в данном жанре) от проблемы оценки талантливости потенциального адресата его «Торжественных комплектов». «Для того, чтобы научить человека работать шаблоном, достаточно несколько недель, если попадется человек умный. Я в одной маленькой редакции научил писать статьи бухгалтера, потому что он мало зарабатывал, но писал он, конечно, плохо, так плохо, как пишет большинство работающих сейчас в газете»<sup>10</sup>. Талант не играет роли – он сводится к умению владеть определенным набором лекал<sup>11</sup>.

Это связано со специфическим отношением Шкловского как теоретика и практика литературы к литературному творчеству. «Велосипеды делают сериями, одинаковыми. Литературные произведения размножают печатанием, но каждое отдельно литературное произведение должно быть изобретением – новым велосипедом, велосипедом другого типа. Изобретая этот велосипед, мы должны представить, для чего на нем колеса, для чего на нем руль. Отчетливое представление работы другого писателя позволяет вам не списывать его, что в литературе запрещено и называется плагиатом, а использовать его метод для обработки нового материала»<sup>12</sup>.

В этом отношении чрезвычайно показательны, какой именно сценарий предлагал Шкловский написать Мандельштаму. Напомним, речь в нем должна была идти о судьбе дочери лакея, перешедшей на сторону революции. Н.Я. Мандельштам подробно пересказывает канву, судя по всему, и сформулированную Шкловским: «Такой сюжет назывался “историческим”,

<sup>9</sup> Шкловский, В.Б. Техника писательского ремесла. – М.–Л., 1930. – С. 24.

<sup>10</sup> Там же. С. 15.

<sup>11</sup> «Сюжетные приемы – это набор лекал, годных не для вычерчивания любой кривой». Шкловский, В. // Как мы пишем. – Vermont, 1983. – С. 215).

<sup>12</sup> Шкловский, В.Б. Техника писательского ремесла. – М.–Л., 1930. – С. 9. – Здесь следует отметить еще один интересный факт. Шкловский воспринимается, говоря сегодняшним языком, как «культурная фигура» известного кружка «Серрапионовых братьев». Как справедливо отмечает Б.Я. Фрезинский, «Шкловский – особый Серрапион: и Брат, и Учитель» (Фрезинский, Б.Я. Судьбы Серрапионов. – СПб., 2003. – С. 163). Приветствием Серрапионов было «Здравствуй, брат, писать очень трудно...» (именно так позднее назвал свою книгу воспоминаний один из членов кружка В.А. Каверин). Но приветствие, адресованное Бендером Ухудшанскому, звучит: «Писать, конечно, очень трудно» (приветствие Брата) – после чего идет совет, как эту «трудность» преодолеть (совет Учителя). Вряд ли И.А. Ильф и Е.П. Петров, признававшие толчком к написанию первой части дилогии шуточную комедию о бриллиантах «Серрапиона» Всеволода Иванова, не подозревали о подобном обращении членов кружка друг к другу.

хотя историей в нем и не пахло. Он был доступнее, чем “современная тема” с кознями заговорщиков и вредителей против революционных рабочих. <...> Рецепт “обыгрывания” был заранее известен: жандармы, тюрьма, а потом ликующие толпы со знаменами. Главное же – психология папаша, у которого два пути. Один – проклясть дочь, а потом горько раскаяться, другой – перейти на ее сторону, оказать ряд услуг будущим победителям и за это получить награду, то есть очутиться рядом с воскресшей дочкой в толпе счастливых демонстрантов. Есть еще вариант: папаша в гневе рушит дворцы, падают камни, бревна и прочие архитектурно-бутафорские предметы, а потом они собираются вместе, воскресает не дочь, а дворец, но в виде “памятника старины”, подлежащего охране, или музея. Все это служило предлогом для показа красот, а что еще прекраснее царскосельских дворцов и парков»<sup>13</sup>.

Совершенно очевидно, что перед нами в данном случае – интерпретация известного библейского сюжета о блудном сыне, пересказанного человеком, читавшим «Станционного смотрителя» А.С. Пушкина, причем не только саму повесть, но и анализ ее, предложенный М.О. Гершензоном<sup>14</sup>. Гершензон обратил, как известно, внимание на вариативность развития сюжета, заложенную непосредственно в пушкинском тексте: картинки с рассказом библейской притчи, висящие на стене в убогом жилище Самсона Вырина, контрастируют с реальной историей Дуни Выриной, обретшей свое счастье фактически вопреки воле отца. Можно сказать, что Шкловский в своей устной «заявке» на совместный с Мандельштамом сценарий, использует не столько библейскую, сколько пушкинскую коллизию (отсюда и дочь, а не сын).

В этом отношении литературное «творчество» героев Ильфа и Петрова значительно скромнее. Показательно однако, что и Гейнрих, и Бендер используют в своих устных импровизациях именно библейские сюжеты.

Следует заметить однако, что авторы дилогии, на наш взгляд, не только опираются (используют?) на наблюдения Шкловского, но и иронизируют над ними совершенно откровенно. Так, Шкловский вспоминает: «Как-то, разбирая корреспондентские письма, я прочитал такую заметку из Уссурийского края: “Тигры мешают сбору профсоюзных взносов, и вот корреспондент сидел в одной сторожевой будке больше суток, пока тигра не махнул на него лапой и не ушел”. Я не говорю, что нужно в корреспонденции рассказывать анекдоты, но корреспонденты не должны описывать все одни и те же вещи, только в обмолвках проговариваясь о реальной обстановке»<sup>15</sup>. И откровенной пародией на эту описанную Шкловским коллизию выглядит

<sup>13</sup> Мандельштам, Н.Я. Вторая книга: Воспоминания. – М., 1990. – С. 280–281.

<sup>14</sup> См.: Гершензон, М.О. Станционный смотритель // М.О. Гершензон. Избранное: в 4 т. – М.–Иерусалим, 2000. – Т. 1. – С. 86–89.

<sup>15</sup> Шкловский, В.Б. Техника писательского ремесла. – М.–Л., 1930. – С. 11.

следующий пассаж из «Золотого теленка». Когда едущая по Турксибу американка снимается, сидя между горбами верблюда, Гейнрих говорит всем присутствующим: «Вы за ней присматривайте, а то она случайно застрянет на станции, и опять будет сенсация в американской прессе: “Отважная корреспондентка в лапах обезумевшего верблюда”» (ЗТ, с. 254).

### ***Поезд жизни и пассажир Шкловский***

На эти детали можно было бы почти не обращать внимания, если бы не одно обстоятельство. Поезд, в котором в «Золотом теленке» едут Ухудшанский, Лавуазьян, Рубашкин, Скамейкин, а также примкнувший к ним случайный пассажир Бендер, на самом деле вез иных пассажиров. В мае 1930 г. по Турксибу совершили свое путешествие Илья Ильф и Евгений Петров. В том же 1930 г. в Госиздате вышла небольшая иллюстрированная книга Виктора Шкловского «Турксиб», а еще ранее, в 1929 г., был выпущен документальный фильм «Турксиб», снятый по сценарию Шкловского и Якова Арона режиссером Виктором Туриным.

«Я проехал через Турксиб. Там было пыльно, жарко, пищали ящерицы. Стояла высокая трава, то полынная, то ковыльная, то жесткая, колючая, трава пустыни, и тамариск, похожий на нерасцветшую сирень.

Там в пресный Балхаш, пресное озеро с солеными заливами, текут осеңью солоноватые реки. Там люди ездят на быках и на лошадях так, как мы в трамваях. Там в ковыле скачут, как будто не ногами, а изгибая одну тонкую как будто из картона вырезанную спину, – киргизские борзые.

В песках ходят козы. В солончаках застревают автомобили на недели. Верблюды тащат телеги. Орлы летят за сотни верст, чтобы сесть на телеграфный столб, потому что в пустыне сесть не на что.

Там строят сейчас Турксиб. Это очень нужно и очень трудно.

Там так жарко, что киргизы ходят в сапогах, одетых сверх тонких валенок, в меховых штанах, в меховых шапках. А называются они не киргизами, а казаками.

Строить дорогу тяжело. Воды мало. Хлеб нужно привезти. Хлеб нужно достать. Хлеб нужно где-нибудь держать. Рабочих много, над каждым нужно построить крышу.

И все же построили»<sup>16</sup>.

Впечатления от увиденного Шкловский описывает в точности по рекомендациям Остапа Бендера – несмотря на то, что до выхода в свет «Золотого теленка» остается еще некоторое время. Скажем, в «Торжественном комплекте» неоднократно упоминается «железный конь» – в общем-то устойчивый образ, характерный для эпохи, когда «железный конь идет на

<sup>16</sup> Шкловский, В. // Как мы пишем. – Vermont, 1983. – С. 214.



смену крестьянской лошадке» (ЗТ, с. 63). Шкловский разворачивает сравнение механизма с живым существом именно в декорациях стройки Турксиба. Он восхищается механизмами, помогающими человеку изменять природу, и описывает эти механизмы как живые существа – разве что, не давая им имени (подобно тому, как автомобиль Адама Козлевича был наречен Бендером Антилопой Гну): «Во многих местах вместо людей работают машины – экскаваторы. Это железные пасти на стальных шеях. Рты у них зубатые. Управляется экскаватор одним механиком. Механик поворачивает тележку экскаватора и опускает шею машины.

Экскаватор открывает стальной рот, вгрызается в песок, берет кубический метр груза, подымает шею.

Песок тонкими струйками сыплется из стальных зубьев.

Экскаватор поворачивается на хвосте, нагибает шею и высыпает грунт на насыпь»<sup>17</sup>.

И чуть дальше: «Подходит экскаватор, открывает стальной рот и набирает в стальную пасть осколки камня, похожие на колотый сахар»<sup>18</sup>.

Шкловский обращает внимание на противоречие между «мирным» («мещанским»?) бытом и героическим характером великой стройки: «Жить в пустыне очень трудно. Рабочий в городе живет в комнате, с кроватью, с примусом, иногда даже у него есть фикус.

В пустыне я раз видел такой фикус.

Рабочего послали в передовой отряд на стройку. Он взял с собой жену, а жена взяла с собой фикус – она не представляла себе, что такое пустыня. И вот, представь себе, лежит пустыня, пески, трава треплется клочьями на буграх, и посреди пустыни стоят два стула и горшок с фикусом.

Для того, чтобы строить дорогу, нужно отказаться от фикуса и от всех навыков городской жизни»<sup>19</sup>.

Жена рабочего с фикусом отзовется позднее в романе В.П. Катаева «Время, вперед!» образом жены инженера Корнеева, требующей от мужа непременно сохранять белыми его парусиновые туфли. В «Золотом теленке» появляется инженер Талмудовский, декларирующий от имени всех сторонников «сохранения фикусов»: «Да! Мы герои! <...> Привет нам, строителям Магистрали! Но каковы условия нашей работы, граждане! Скажу, например, про оклад жалованья. Не спорю, на Магистрали оклад лучше, чем в других местах, но вот культурные удобства! Театра нет! Пустыня! Канализации никакой!.. Нет, я так работать не могу!» (ЗТ, с. 276–277).

Отдельные «термины» из «Торжественного комплекта» разворачиваются у Шкловского в абзацы-новеллы с экзотическим антуражем. Скажем,

<sup>17</sup> Шкловский, В.Б. Турксиб. – М.–Л., 1930. – С. 23.

<sup>18</sup> Там же. С. 25.

<sup>19</sup> Там же. С. 22.

памятное всем «Бай (нехороший человек)» (ЗТ, с. 266) легко сопоставимо со следующей историей: «Многие рабочие приехали на стройку издалека, а многие здешние люди – казаки. Они раньше пасли стада овец. Чужие стада.

Обычно стадо принадлежало богатому человеку – баю. А пасли стадо бедные родственники.

Теперь бедняки ушли на постройку. Строят, учатся, имеют местком.

В степи, где так пустынно, что орлы летали за сотни километров, чтобы сесть на телеграфный столб, потому что не на что сесть в пустыне, – в пустыне сейчас есть месткомы»<sup>20</sup>.

Правда, Виктор Борисович не вспоминает о «Шайтан-Арбе», но другой, вполне сходный экзотизм с легким утилитарным привкусом есть и в его описании путешествия по Турксибу: «Алма-Ата по-казакски означает “отец яблок”. В горах здесь растут дикие яблони. Вокруг Алма-Аты есть культурные сады, выводят крупное, прочное, не боящееся перевозки яблоко опорто. Прежде яблоки из Алма-Аты шли в Сибирь через пустыню на верблюдах. Сейчас они поедут поездом»<sup>21</sup>. Ну а роль Узун-Кулака – Длинного уха – степного телеграфа (ЗТ, с. 274) успешно исполняют орлы, летающие за сотню километров, чтобы сесть на телеграфный столб.

Поездом, однако, едут не только яблоки, но, напомним, и Бендер с Рубашкиным и Скамейкиным, и Шкловский с Ильфом и Петровым.

Поездки писателей по местам эпохальных строек, будь то Турксиб или Беломорско-Балтийский канал, были такой же непременной составляющей литературного быта лояльного к власти писателя, как членство в Союзе советских писателей<sup>22</sup>. Человек с биографией Шкловского был вместе с тем вынужден освещать героике трудовых будней еще интенсивнее и ярче, нежели кто-либо из его коллег. Но Шкловский при этом обращает внимание в своих «репортажах» на некие символические детали, которые остаются незамеченными для других «репортеров»: «Рельсы сперва кладут начерно, прямо на шпалы, без подсыпки. Называется это укладкой. По укладке нерешительно, шатаясь, проходит паровоз, тащит за собой грузы, шпалы, рельсы. Рельсы и шпалы кладут вперед, и паровоз, снова шатаясь, щупая пустыню, нерешительно идет вперед»<sup>23</sup>.

Можно сказать, что шатающийся, щупающий пустыню, нерешительный паровоз Шкловского именно этой своей нерешительностью принципиально отличается от оптимистического паровоза Ильфа и Петрова, мчащегося в светлое «завтра». Но не только ею.

<sup>20</sup> Шкловский, В.Б. Турксиб. – М.–Л., 1930. – С. 26–27.

<sup>21</sup> Там же. С. 24.

<sup>22</sup> См. об этом уже на материале литературной жизни 1930-х гг.: Антипина, В.А. Повседневная жизнь советских писателей. 1930–1950-е. – М., 2005. – С. 103–111.

<sup>23</sup> Шкловский, В.Б. Турксиб. – М.–Л., 1930. – С. 21.

Бендер в тексте диалогии существует в постоянном движении. Он странствует пешком, поездом, теплоходом, автомобилем, снова поездом, верблюдом. Ищет ли Бендер сокровища, спрятанные тещей Воробьянинова или несправедливо накопленные советским миллионером, он перемещается в пространстве и времени. Жизнь командора проходит в движении; смерть настигает его в редкую минуту покоя – точно обычный здоровый сон молодого мужчины под дрожащей рукой старика должен перейти в вечный сон. Но именно так же, в движении, существует и Шкловский как персонаж его собственных книг, прежде всего, «Сентиментальное путешествие» и «ZOO. Письма не о любви, или Третья Элоиза». Поезд становится едва ли не главным средством передвижения для Шкловского: «Я еду по своей звезде и не знаю, на небе ли она или это фонарь в поле. А в поле ветер»<sup>24</sup>. При этом Шкловский, как и Бендер (вернее, Бендер, как и Шкловский), едет в поезде жизни без билета. Отметим сразу, что поезд для него – место вполне привычное еще со времен тревожной военной юности. В своих автобиографических текстах Виктор Борисович точно сакрализует его: «Поезд наполнился людьми и стал похожим на красную колбасу. И вдруг без звонка и не подходя к станции снялся с места и поехал.

А я без билета.

Но дело было не в билете.

Ехали, становились, вылезали, опять ехали. <...>

Поезд ползет.

Ему – что?

Гимназисты-проводники расспрашивают всех о том, как, что, где ценится.

Оказывается, что в Николаеве и около Херсона мука сильно дешевле.

Скажут им что-нибудь такое, а они внезапно запоют: “Славное море, священный Байкал”. Кажется, это<sup>25</sup>.

Вообще, что-то очень неподходящее, но в их исполнении радостное.

А поезд ползет»<sup>26</sup>.

Нужно при этом сразу отметить, что поезд – не единственное средство передвижения, воспетое Ильфом и Петровым и использованное Шклов-

<sup>24</sup> Шкловский, В.Б. Сентиментальное путешествие // В.Б. Шкловский. «Еще ничего не кончилось...» – М., 2002. – С. 197.

<sup>25</sup> Ну, не только это: «Когда поезд, гремя и ухаю, переходил Волгу по Сызранскому мосту, литературные пассажиры неприятными городскими голосами затянули песню о волжском богатыре. При этом они старались не смотреть друг другу в глаза. В соседнем вагоне иностранцы, коим не было точно известно, где и что полагается петь, с воодушевлением исполнили “Эй, полна, полна коробочка” с не менее странным припевом: “Эх, юхнем!”» (ЗТ, с. 250).

<sup>26</sup> Шкловский, В.Б. Сентиментальное путешествие // В.Б. Шкловский. «Еще ничего не кончилось...» – М., 2002. – С. 197.

ским в жизни. Быть пассажиром без билета в советском поезде для Виктора Борисовича, как и для Остапа Ибрагимовича, дело характерное, но не менее характерно и пристрастие к автомобилям.

«Я в качестве корреспондента ехал с Комиссией Турксиба от Семипалатинска до г. Алма-Ата<sup>27</sup>, – пишет Шкловский. – Вероятно, это свыше полутора тысяч верст, считая заезды в сторону.

Автомобильный поезд состоял из двух грузовиков Амо, из одной легковой машины Амо и из легковых Доджей, принадлежавших начальникам участка пути и из одного легкового Доджа, прошедшего половину дороги. В середине дороги машины были сменены на однотипные, но уже другого участка»<sup>28</sup>. Это перечисление автомобилей, разумеется, характерно для любого журналистского репортажа той эпохи, когда добросовестное внимание к подобным деталям приветствовалось – тем более, что автомобиль и сам по себе воспринимается еще как экзотика, ничуть не меньшая, чем звучание названий марок. Но отсюда просто недалеко до памятного замечания шофера-любителя из шестой главы «Золотого тельца»: «Позвольте, – воскликнул он с юношеской назойливостью, – но ведь в пробеге нет никаких “лорен-дитрихов”! Я читал в газете, что идут два “паккарда”, два “фиата” и один “студебеккер» (ЗТ, с. 63). Конечно, вместе с «командором» мы можем отмахнуться от этого факта. Однако в текстах Шкловского мы находим неоднократное, причем весьма пристрастное описание автомобилей.

«Испана-суиза»? Плохая машина. Честная, благородная машина с верным ходом, на которой шофер сидит боком, щеголяя своим бессилием, – это “мерседес-бенц”, “фиат”, “делоне-бельвиль”, “паккард”, “рено”, “делаж” и очень дорогой, но серьезный “роллс-ройс”, обладающий необыкновенно гибким ходом. <...> “Испана” же “суиза” – машина с длинным ходом, то есть у нее

<sup>27</sup> Не единственная агитационная поездка, в которой участвовал Шкловский. Вс.В. Иванов писал А.М. Горькому 7 октября 1925 г.: «Шкловский летом летал на самолете в агитполете до Царицына, участвовал в автомобильном пробеге» (см.: Иванов, Вс.В. Переписка с А.М. Горьким. Из дневников и записных книжек. – М., 1969. – С. 31). Показательно так же, как характеризовал Шкловского Ю.Н. Тынянов в беседах со своими учениками (см. в «Записных книжках» Л.Я. Гинзбург): «Чудесной ночью мы шли четвертом по Фонтанке. Тынянов шел без пальто <...> и со своей немного обезьянней жестикуляцией и с прекрасным, простым пафосом умного человека говорил: “Шкловский прежде всего монтер, механик...”

“И шофер”, – подсказал кто-то из нас.

“Да, и шофер. Он верит в конструкцию. Он думает, что знает, как сделан автомобиль <...>” (Гинзбург, Л.Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. – СПб., 2002. – С. 369). То есть научную позицию Шкловского Тынянов характеризует как позицию шофера или механика.

<sup>28</sup> Шкловский, В.Б. Поденщина. – Л., 1930. – С. 30.

большое расстояние между нижней и верхней мертвой точкой. Это машина высокооборотная, форсированная, так сказать, – нанюхавшаяся кокаина. Ее мотор высокий и узкий»<sup>29</sup>.

Становится понятным, какая именно страсть заставляет Бендера дать имя автомобилю Адама Козлевича – этому «Арго» советской литературы 1930-х гг.: «– Адам! – закричал он, покрывая скрежет мотора. – Как зовут вашу тележку?

– “Лорен-дитрих”, – ответил Козлевич.

– Ну, что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш “лорен-дитрих” отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий. Посему предлагаю присвоит машине название – “Антилопа-Гну”. Кто против? Единогласно» (ЗТ, с. 38).

Добавим, что шоферов Шкловский описывал, точно имея в виду Адама Козлевича: «Я знал шоферов, которые так и остались на своих машинах, не брали ничего, кроме керосина со своей машины, и очень любили Россию, не спали ночи от мыслей о ней»<sup>30</sup>.

Понятно, что такие шоферы «кроме того, не любили уже начинающий слагаться тип комиссара; они возили его и ненавидели»<sup>31</sup>. Соавторы дилогии разворачивают эту тему в блестящий эпизод: «Владелец “Эх, прокачу!” рассорился со всем городом. Он уже ни с кем не раскланивался, стал нервным и злым. Завидя какого-нибудь совслужа в длинной кавказской рубашке с баллонными рукавами, он подъезжал к нему сзади и с горьким смехом кричал:

– Мошенники! А вот я вас сейчас под показательный подведу! Под сто девятую статью.

Совслуж вздрагивал, индифферентно оправлял на себе поясок с серебряным набором, каким обычно украшают сбрую ломовых лошадей, и, делая вид, что крики относятся не к нему, ускорял шаг. Но мстительный Козлевич продолжал ехать рядом и дразнить врага монотонным чтением карманного уголовного требника...» (ЗТ, с. 35)

Шкловский как вполне «автомобильный» человек имел все основания не любить совслужащих и комиссаров. И, как свидетельствует его биография, они отвечали ему тем же. Бывший член партии эсеров Шкловский был вынужден бежать после засады, устроенной на него на квартире его друзей Тыняновых. Вот как описывает эту ситуацию В.А. Каверин: «Как нарисовать психологическую картину, сложившуюся в доме Тыняновых за эти трое суток? Люди, остановившиеся с разбега перед неожиданностью, перевернув-

<sup>29</sup> Шкловский, В.Б. ZOO. Письма не о любви, или Третья Элоиза // В.Б. Шкловский. «Еще ничего не кончилось...» – М., 2002. – С. 326.

<sup>30</sup> Шкловский, В.Б. Сентиментальное путешествие // В.Б. Шкловский. «Еще ничего не кончилось...» – М., 2002. – С. 152.

<sup>31</sup> Там же. С. 145.

шей их планы, одни, встретившие эту опасную неожиданность спокойно, другие – с очевидным, хотя и скрываемым волнением, были, как это ни странно, чем-то объединены. Среди них не нашлось равнодушных. Никто не желал, чтобы Шкловский, которому грозила смертельная опасность, явился и был схвачен на наших глазах. Невысказанное, где-то глубоко спрятанное чувство подсказывало, что готовится несправедливость. Ни у кого не было и тени досады – потеряно время, обеспокоены близкие. Более того, все были как бы вовлечены в некую “общественную совокупность”. Правда, у этой “совокупности” было только одно право: молчать. Но молчание было выразительное. Молчание было предсказывающее. От этого молчания начали отсчитываться не дни или месяцы, а десятилетия. И еще одно: к концу вторых суток в квартире находились двадцать три человека. В наше время невозможно представить себе, что отношения между этими знакомыми, полужнакомыми, незнакомыми были основаны на полном, безусловном доверии»<sup>32</sup>.

Люди, находившиеся в квартире Ю.Н. Тынянова, молчат, разумеется, во все не так, как молчат люди, собравшиеся в квартире Елены Станиславовны Боур, и денег, необходимых для «продолжения предприятия» Шкловского, не собирают. Но вот бежит Шкловский именно так, как бежал бы Бендер.

«Для побега нужны были деньги, и он (В.Б. Шкловский. – А.Ф.) на трамвае поехал в Госиздат, на Невский, 28, где все его знали, где изумились, увидев его, потому что он был *отторжен* и, следовательно, не имел права получить гонорар, который ему причитался. Но в административной инерции к тому времени еще не установилась полная ясность. Бухгалтер испугался, увидев Шкловского, но выписал счет, потому что между формулами существования Госиздата и Чека отсутствовала объединяющая связь.

Кассир тоже испугался, но заплатил – он тоже имел право не знать, что лицу, имеющему быть арестованным, не полагается выдавать государственные деньги. Впрочем, не только эти чиновники были ошеломлены смелостью Шкловского. Весь Госиздат окаменел бы, если бы у него хватило на это времени. Но времени не хватило. Шкловский сразу же ушел – на всякий случай через запасной выход: на Невском его могли ждать чекисты»<sup>33</sup>.

Кстати, схожим способом находит деньги и Бендер, пользуясь неразберихой на предприятии, где позднее работал Шкловский, – на кинофабрике: «– Короче. Сколько вам следует?

– У меня какой-то глухой...

– Товарищ! Если вы сейчас же не скажете, сколько вам следует, то я попрошу вас выйти. Мне некогда.

– Девятьсот рублей, – пробормотал великий комбинатор.

<sup>32</sup> Каверин, В.А. Эпизод. – М., 1997. – С. 28.

<sup>33</sup> Там же. С. 31.

– Триста! – категорически заявил Супругов. – Получите и уходите. И имейте в виду, вы украли у меня лишних полторы минуты.

Супругов размашистым почерком накатал записку в бухгалтерию, передал ее Остапу и ухватился за телефонную трубку» (ЗТ, с. 227).

При этом вполне «деловой человек» Супругов оплачивает, как и обещал Шкловский, соблазняя сценарной деятельностью нуждающегося в деньгах Мандельштама, не сценарий даже, а заявку – листок с памятным всем читателям Ильфа и Петрова названием «Шея»<sup>34</sup>.

Однако это бегство ни к чему не приводит. Шкловский возвращается назад. Он капитулирует перед победителями, что и отмечает Н.Я. Мандельштам, по мнению которой, эта капитуляция носит символический для времени характер: «Психологически всех толкал на капитуляцию страх остаться в одиночестве и в стороне от общего движения, да еще потребность в так называемом целостном и органическом мировоззрении, приложимом ко всем сторонам жизни, а также вера в прочность победы и в вечность победителей. Но самое главное это то, что у самих капитулянтов ничего за душой не было. Эту поразительную пустоту лучше всех, пожалуй, выразил Шкловский в “Зоо”, злосчастной книжке, где он слезно просит победителей взять его под опеку»<sup>35</sup>.

Надежда Яковлевна имеет в виду заключительный пассаж «злосчастной книжки»: «Все, что было, – прошло, молодость и самоуверенность сняты с меня двенадцатью железными мостами.

Я поднимаю руку и сдаюсь.

Впустите в Россию меня и весь мой нехитрый багаж: шесть рубашек (три у меня, три в стирке), желтые сапоги, по ошибке вычищенные черной ваксой, синие старые брюки, на которых я тщетно пытался нагладить складку.

И галстук, который мне подарили.

А на мне брюки со складкой. Она образовалась тогда, когда меня раздавило в лепешку»<sup>36</sup>.

Ее волнует поднятая рука как символ сдачи. Если бы она была внимательней, как, впрочем, и комментаторы дилогии Ильфа и Петрова, они неизбежно сопоставили с «нехитрым багажом» Шкловского одежду «великого

<sup>34</sup> Кстати, «прописанность» Шкловского «по ведомству кинофабрики» была соавторам дилогии о Бендере не просто хорошо известна: они писали о «лысом весельчаке» по имени Виктор Борисович в фельетоне «Пташечка из Межрабпомфильма» (1929) (заодно упомянув и Осипа Максимовича – явно подразумевая соратника Шкловского по ЛЕФу О.М. Брика) (см.: Ильф, И.А., Петров, Е.П. Пташечка из Межрабпомфильма // И.А. Ильф, Е.П. Петров. Собрание сочинений: в 5 т. – М., 1961. – Т. 2. – С. 455–458). – Благодарим Т.В. Чернякевича за указание на этот фельетон.

<sup>35</sup> Мандельштам, Н.Я. Воспоминания. – М., 1999. – С. 195.

<sup>36</sup> Шкловский, В.Б. ЗОО. Письма не о любви, или Третья Элоиза // В.Б. Шкловский. «Еще ничего не кончилось...» – М., 2002. – С. 329.

комбинатора»: «В город молодой человек вошел в зеленом в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было»<sup>37</sup>.

Или: «Остап сиял. На нем были новые малиновые башмаки, к каблукам которых были привинчены круглые резиновые набойки, шахматные носки в зеленую и черную клетку, кремовая кепка и полшелковый шарф румынского оттенка» [ДС, с. 185].

И если в «Двенадцати стульях» отзываются неестественного цвета сапоги Шкловского, то прощание с читателем Остапа Ибрагимовича Бендера в точности вызывает в памяти прощание с читателями автора «Писем не о любви»: «Через десять минут на советский берег вышел странный человек без шапки и в одном сапоге. Ни к кому не обращаясь, он громко сказал:

– Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы» (ЗТ, с. 328).

Так гениальный теоретик и несостоявшийся писатель<sup>38</sup> переквалифицируется в бойкого сценариста, подвигающегося на кинофабрике.

Но главное, на наш взгляд, – стиль. Стиль текстов Шкловского охарактеризовал еще В.А. Каверин: «У него (В.Б. Шкловского. – А.Ф.) была своя стилевая манера, и, если даже не он, а Влас Дорошевич первым стал писать почти без придаточных предложений, одними главными (между которыми читателю представлялась полная возможность перекинуть мост), все же именно в прозе Шкловского эта манера утвердилась в полной мере и в разных жанрах»<sup>39</sup>.

<sup>37</sup> Ильф, И.А., Петров, Е.П. Двенадцать стульев / комментарии к роману Ю.К. Щеглова. – М., 1995. – С. 131. – Далее ссылки на данное издание см. в тексте в квадратных скобках после приведенной цитаты с указанием страницы: [ДС, с. ...].

<sup>38</sup> Г.В. Адамович вспоминал, как первый раз увидел Шкловского: «Кажется, это было в 1912 году. <...> грубиян Маяковский, весь будто преобразившись, вытащил на эстраду студента, в помятом сюртуке, с огромным, выпуклым, блестящим черепом, и в каких-то необычайно-лестных, почти подобострастных выражениях представил его публике. Кажется, он даже произнес слово “гений”. <...> Маяковский ошибся, назвав Шкловского гением, но ошибка его вполне понятна. <...> В книгах Шкловского, сквозь слабость чисто литературного дара, безвкусию, бахвальство, неврастению, беспомощность, просвечивает некая душевная щедрость, богатство и роскошь жизненной энергии, та самая личная необычайность, которая у него неотъемлема. <...> В Шкловском есть в этом смысле что-то от Байрона» (см.: Адамович, Г.В. <«Третья фабрика» В. Шкловского> // Г.В. Адамович. Литературные беседы. – СПб., 1998. – Кн. 2. – С. 111–113).

<sup>39</sup> Каверин, В.А. Эпилег. – М., 1997. – С. 36.



Перечитайте разлетевшиеся афоризмами новой эпохи реплики Остапа Бендера, и вы поймете, что их писал (говорил?) едва ли не тот же человек, чья фамилия стоит на обложке «Третьей фабрики».

### **Бывают «странные сближения»?**

Трудно утверждать достоверно, был ли В.Б. Шкловский реальным прототипом Остапа Бендера. Разумеется, он был знаком с авторами дилогии о Бендере, номер его телефона дважды значится в записных книжках И.А. Ильфа – что уже дает повод думать о том, что этим номером пользовались<sup>40</sup>. Их взаимный интерес, на наш взгляд, мог быть не в последнюю очередь обусловлен и сферой научных интересов Шкловского.

Дилогия И.А. Ильфа и Е.П. Петрова строится в полном соответствии с законами жанра. Этот жанр хорошо известен – это плутовской роман (пикареска), в центре которого стоит история главного героя-плута, его странствий, в ходе которых проявляются те или иные его черты, и, наконец, его победы или крушения. Перед нами история жизни, в которой плут одновременно – и слуга, и хозяин.

Пикареской активно занимались русские формалисты, одним из лидеров которых и был Шкловский. Его интересовал жанр как застывшая и одновременно активная, подвижная форма, продуктивная, несмотря на длительную историю своего существования. Он и к романам о Бендере подходит с меркой жанровой. Исследователь, осознавший, как сделан «Дон-Кихот», и описавший механизмы воздействия стерновского «Тристрама Шенди» на пушкинского «Евгения Онегина», не мог не обратить внимание на типологическое сходство романов об Остапе Бендере и Жиль Блазе или Гусмане де Альфараче. Может быть, потому, что он узнавал в этом типе собственный тип.

«В схеме, предложенной Катаевым, Остапа Бендера не было. Героем был задуман Воробьянинов и, вероятно, дьякон, который теперь почти исчез из романа.

Бендер вырос на событиях, из спутника героя, из традиционного слуги, разрешающего традиционные затруднения основного героя. Бендер сделался стихией романа, мотивировкой приключений.

Несмотря на смерть, он, как настоящий удавшийся герой, ожил. Он был убит, но не исчерпан.

Герои же романов приключений могут быть только исчерпаны, а не убиты.

---

<sup>40</sup> Ильф, И.А. Записные книжки. 1925–1937. – М., 2000. – С. 277 (запись за январь–март 1930), с. 318 (запись за июль–ноябрь 1930).

Он ожил в «Золотом теленке»<sup>41</sup>.

Ожил – значит, вернулся. Как сам Шкловский под воздействием не воровьяниновской бритвы, а политических обстоятельств ушел в небытие, в вынужденную эмиграцию, а затем вернулся в СССР. При этом возвращение (оживание) становится очевидным признанием поражения – в точности, как у Бендера.

Вероятно, было и другое. Было общее видение мира. Шкловского и соавторов «бендерианы», обращающих внимание на одни и те же детали. Иначе трудно объяснить ряд мелких совпадений, поражающих людей, хорошо знающих текст романов Ильфа и Петрова, но плохо знакомых с «поденщиной» Шкловского 1920–1930-х гг.

Приведем несколько из них. Например, описание встречи «сыновей лейтенанта Шмидта» в кабинете предисполкома: «– Вася! – закричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. – Родной братик! Узнаешь брата Колю?

И первый сын заключил второго сына в объятия.

– Узнаю! – воскликнул прозревший Вася. – Узнаю брата Колю» (ЗТ, с. 14).

А вот коллизия, описанная Шкловским: «Мобилизовали моего брата. Он лежал в собачьей солдатской палатке. Мама искала его и кричала:

– Коля, Коля!

Когда она ушла, сосед поглядел на брата и, поднявшись на локте, сказал:

– Жалко мне тебя, Коля»<sup>42</sup>.

Разница в выходе из коллизии. У Шкловского мать не узнает его брата Колю, а у Ильфа и Петрова один лжесын «узнает» другого лжесына.

Шкловский, сам привыкший к газетной поденщине, предрекает: «Время повернулось, и анекдотом мы скоро будем считать не остроумное сообщение, а те факты, которые печатаем в отделе мелочей в газетах»<sup>43</sup>. Факт, изложенный в газете «Станок», превращается в анекдот благодаря комментарию Бендера: «Это извозчик отделался легким испугом, а не я» – к двухстрочной заметке «Попал под лошадь» [ДС, с. 299].

Шкловский резонирует: «Брак на старой женщине – судьба многих авантюристически живущих людей, я видал десятки примеров»<sup>44</sup>. Но что это, как не описание истории брака Бендера и мадам Грицацуевой?

Шкловский проявляет великолепную осведомленность в деталях работы ЗАГСов: «Вы о похоронах?

<sup>41</sup> Шкловский, В.Б. Перекресток // В.Б. Шкловский. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). – М., 1990. – С. 473.

<sup>42</sup> Шкловский, В.Б. Третья фабрика // В.Б. Шкловский. «Еще ничего не кончилось...» – М., 2002. – С. 354.

<sup>43</sup> Там же. С. 337.

<sup>44</sup> Шкловский, В.Б. Сентиментальное путешествие // В.Б. Шкловский. «Еще ничего не кончилось...» – М., 2002. – С. 152.

Расписываться? А он не пришел? Опаздывает? Работает?

Как смешно, что браки и похороны за одним барбером.

Посмотрите, у них и дощечки одинаковые.

Что же вы не отвечаете?

А я тоже не на похороны. Я разводиться.

Жить невозможно.

Вот вы незнакомый человек и мне не отвечаете, а я вам расскажу.

Посмотрите, опять расписываются»<sup>45</sup>.

Даже чувство бесконечного уважения к читателям нашего исследования, несомненно, помнящим столь яркие детали, не мешает нам процитировать ставший классическим роман: «Люди в городе N умирали редко, и Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в загсе, где ведал столом регистрации смертей и браков» [ДС, с. 108].

Но самым поразительным является следующее совпадение (если, конечно, это совпадение). Возвращение Ипполита Матвеевича в родной город сопровождается феерической сценой его попытки изменить внешность: «Нагнув голову, словно желая забодать зеркальце, несчастный увидел, что радикальный черный цвет еще господствовал в центре каре, но по краям был обсажен той же травянистой каймой. <...> Остап <...> внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, главный руководитель работ и технический директор содрогался, хватался за спинку кровати, кричал: “Не могу!” – и снова бушевал» [ДС, с. 142–143]. Если не считать разницы в цветовой гамме, то конспект этой сцены есть и в биографическом тексте Шкловского: «Попал к одному товарищу (который политикой не занимался), красился у него, вышел лиловым. Очень смеялись. Пришлось бриться. Ночевать у него было нельзя»<sup>46</sup>.

Трагикомедия жизни реального писателя оборачивается трагикомедией жизни литературного героя. Обоим больно.

<sup>45</sup> Шкловский, В.Б. Поиски оптимизма. – М., 1931. – С. 6. – Глава называется «ЗАГС».

<sup>46</sup> Шкловский, В.Б. Сентиментальное путешествие // В.Б. Шкловский. «Еще ничего не кончилось...» – М., 2002. – С. 158. – Товарищем, не занимавшимся политикой, был Р.О. Якобсон (так вспоминавший эту историю: «...он собирался в путь от меня, уже как Голотков (человек, на фамилию которого был выписан фальшивый документ. – А.Ф.), и разделся догола, гримировал голову, сбрасывал волосы, совершенно менялся. В это время ко мне зашел мой учитель, профессор Николай Николаевич Дурново, который видел голого человека, который бреется, красится, ни о чем не спрашивал, – тогда спрашивать не полагалось, – ничему не удивился и начал мне говорить по поводу своих находок в каких-то древнерусских рукописях (по-моему, он упомянул Остромирово Евангелие). И вдруг удивление: человек этот сделал какие-то филологические замечания» (Якобсон, Р.О. Будетлянин науки: Воспоминания, письма, статьи, стихи, проза. – М., 2012. – С. 77).

«Писатель несет живую птицу – сердце в руках.  
Не голубя, может быть. Может быть, курицу. Но оно живое.  
Едет он трамваем. Толкаются.  
Он защищает сердце локтями.  
Толкаются все, даже старухи.  
Очень трудно.

Легче говорить через героя.  
Начинается это так – сидишь сам перед собою, разговариваешь. Жалеешь себя, что постарел. Вот около ушей сухие складки подтянули кожу.

Утром знаешь, как провел вчерашний день.

Вообще, не все равно, что было раньше.

Живая птица лежит, поправляя крылья, ей неудобно»<sup>47</sup>.

«Легче говорить через героя», – пишет Шкловский.

Через своего – несомненно.

А через чужого?

---

<sup>47</sup> Шкловский, В.Б. Поиски оптимизма. – М., 1931. – С. 148.

## БОККАЧЧО, ПРОЧИТАННЫЙ ЧИТАТЕЛЕМ ПУШКИНА (Рассказ Вс.В. Иванова «Сокол»)

Рассказ Всеволода Иванова «Сокол» (впервые опубликован в журнале «Звезда» в 1946 г.) оказался вне поля зрения исследователей<sup>1</sup>. И это понятно. В советское время в творчестве Иванова исследователи выделяли совсем иные тексты – те, которые в большей мере соответствовали соцреалистическому канону, а во время постсоветское, несмотря на перестановку акцентов, сам писатель оказался в тени славы своих ранее недооцененных современников. Вместе с тем «Сокол» интересен не только как очевидный шедевр бесспорного мастера, но и как текст, в определенной мере раскрывающий авторскую лабораторию писателя.

Первооснова фабулы «Сокола» автором названа в самом тексте – это новелла девятая пятого дня из сборника Джованни Боккаччо «Декамерон». Сам Боккаччо резюмировал содержание своего «Сокола» следующим образом: «Федериго дельи Альберти любит, но не любим, расточает на ухаживание все свое состояние, и у него остается всего один сокол, которого, за неимением ничего иного, он подает на обед своей даме, пришедшей его навестить; узнав об этом, она изменяет свои чувства к нему, выходит за него замуж и делает его богатым человеком».

Эта история воспринималась бы как рассказ с happy end'ом, если бы не одно обстоятельство. У дамы смертельно болен сын, его предсмертное желание – получить как игрушку редкостного сокола, которым обладает Феде-

---

<sup>1</sup> Уже после того, как работа над данной статьей была завершена, Илья Кукулин сообщил мне о существовании публикации: Иванов, В.Вс. Новелла о соколе в «Декамероне» Джованни Боккаччо и «Сокол» Всеволода Иванова // Общественные науки и современность. 2012. № 1. С. 147–158.

риго дельи Альберти, и ради исполнения этой просьбы больного мальчика дама и приходит к влюбленному в нее рыцарю. Мальчик не получает вожделенную птицу и умирает. Таким образом, жертва, принесенная дамой, оказывается бесплодной, как, в принципе, должна была бы оказаться бесплодной и жертва, принесенная самим синьором дельи Альберти. Но автор иллюстрирует своей новеллой не всеилие смерти и скорби, а всемогущество истинной любви. И безаветная любовь и рыцарская готовность рыцаря служить заставляют даму забыть о скорби, вызванной смертью сына, и принять сердце Федериги – как она невольно приняла сердце его сокола.

История, рассказанная Всеволодом Ивановым, преподнесена читателю ивановского «Сокола» с одновременным учитыванием точки зрения читателя боккаччиевского «Сокола». Время действия отнесено к царствованию второго русского царя из династии Романовых, Алексея Михайловича. Вместе с воеводой, направляющимся в Астрахань, вниз по Волге плывут на корабле иноземцы, которые пытаются через Персию вернуться в свои страны, минуя охваченную Тридцатилетней войной центральную Европу. Это итальянцы, старшие из которых – мебельщик Филипп Андзолетто и его помощник Мальпроста, который «удал, ловок на разговор, на охоту, на обольщение, – и женщины любят обольщаться им»<sup>2</sup>. Поскольку у мебельщика – а он «согбен, с красными воспаленными глазами, и оттого кажется он чересчур старым и жадным» (с. 258) – есть молодая жена, очевидно, что нас вполне может ждать история в духе плутовских новелл Боккаччо: о том, как молодые жена и ее любовник обманывают старого и ревнивого мужа.

Но на корабле плывут и другие пассажиры. Это соколы, которых русский царь посылает в дар персидскому шаху. Вид одного из них наталкивает Мальпроста на воспоминание о новелле Боккаччо, которую он и пересказывает мессеру Филиппу: «Синьор Боккаччо рассказывает о некоем кавалере, долго и бесплодно ухаживавшем за одной прекрасной дамой. В любви к последней он прожил все свое имение и стал беден. Но он продолжал вздыхать по ней и плакать. И от всего его имущества, некогда принадлежавшего ему, у него остался лишь сокол, при посредстве которого, думаю, кавалер и добывал себе пищу. Он любил этого сокола безмерно. Так безмерно, что дама, насколько я понимаю душу дам, дама позавидовала этой любви. Однажды кавалер посетил даму. Как всегда, он стал говорить ей о любви. Она, смеясь, сказала: “Кавалер! Если вы желаете доказать мне свою любовь, заколите вашего сокола и – съешьте его!” И, что вы думаете, синьор учитель? Кавалер зарезал свою любимую птицу. Зажарил! И съел своего сокола, о великий

<sup>2</sup> Иванов, Вс.В. Сокол // Вс.В. Иванов. Собрание сочинений: в 8 т. – М., 1975. – Т. 5. – С. 258. – Далее ссылки на данное издание см. в тексте, в круглых скобках после цитаты с указанием страницы.

боже!.. Но, что более удивительно, дама, дотоле непреклонная, полюбила кавалера» (с. 262).

Как видим, фабула боккаччиевского «Сокола» пересказана Мальпроста верно – с той же степенью точности, с какой передана она и в авторском summary самого Боккаччо. Здесь опущена линия больного мальчика, сына дамы, в которую влюблен не названный по имени Федерико дельи Альберти. Причем именно опущена: нет сомнения, что Мальпроста читал не вольный пересказ новеллы Боккаччо, а ее оригинал. Однако линия мальчика в данном случае является для молодого итальянца лишней, ибо его волнует не слепая игра случая – когда дама приходит к влюбленному в нее рыцарю за соколом, но ее просьба не может быть удовлетворена, ибо она же стала невольной виновницей гибели вожденной птицы, – Мальпроста прочитывает новеллу Боккаччо как рассказ о великой, преодолевающей все препятствия силе любви: «Только жирный, самонадеянный воевода способен назвать любовь придурью. Любовь – жизнь! Жизнь – любовь. Так думает весь мир, и русские в том числе» (с. 261).

Мальпроста упоминает русских, как и придурь, в данном случае неспроста. Корабль должен совершить остановку в селе, принадлежащем князю Юрию Подзолеву, судьба которого представляет собой третью интерпретацию фабулы новеллы о соколе – на сей раз на русском материале. Мальпроста так пересказывает историю князя Юрия мессеру Филиппу: «Велико и обширно все имение князя. Он горд под старость, а еще более горд, говорят, был в молодости. Он гордился своим умом, своей охотой и с большой торпливостью высказывал свою гордость. К тому ж отец его сильно увеличил богатство, а сестер и братьев у него не было, и, когда старый князь умер, синьор Юрий Подзолев остался единственным наследником. Он не знал, что делать со своими бесчисленными имениями и громадными капиталами. <...> И вот он встретил вдову боярина Мышарикова, очень богатую и очень степенную женщину, посвятившую себя после смерти мужа делам благотворительности и религии, тем более, что детей у нее не было. Ей он бросит свои деньги! К ногам ее!.. <...> Вдова плохо верила в его любовь. Прошлое растрясло ее, словно дурная дорога. Редко удавалось князю поговорить с нею. Подарков она не принимала. Князь Подзолев худел от любви, заперся в своих хоромах... И великие деньги оказались ненужными. <...> Царь уверен, что все болезни можно излечить охотой – и особенно охотой соколиной. Кроме того, царь уважал заслуги покойного старика Подзолева. И царь прислал в дар молодому князю любимого своего кречета. <...> Молодой князь, получив подарок, подумал, что надо показать его прекрасной и недоступной вдове, тем более что тогда вдова должна будет принять молодого князя. Кто откажется увидеть дар царя? Вдова действительно приняла молодого князя. Она посмотрела на кречета, перевела взор на молодого охотника и внезапно

сказала: “Зарежь, изжарь и съешь этого кречета. Тогда я выйду за тебя”. <...> Князь Юрий Подзолев, да будет благословенно его имя, съел кречета. И она вышла за него замуж. И они стали счастливы настолько, что царь, узнав о поступке князя, лишь рассмеялся. И прошло пятнадцать радостных лет, и оба они живы и наслаждаются доселе...» (с. 263–265).

В этой, «русской», версии боккачиевской фавулы сокол (кречет) получает дополнительное качество. Он ценен не сам по себе как источник выживания разорившегося рыцаря или – если мы говорим о «полной» версии сюжета новеллы – как магическое средство удержать жизнь в умирающем сыне дамы. Он ценен как символ государственной благосклонности к молодому князю. Именно царская милость придает птице высшую ценность, и вдова Мышарикова требует у князя пожертвовать не любимой живой игрушкой и не орудием, доставляющим пропитание, но именно благосклонностью царя. Милость монарха должна быть принесена в жертву любви.

Князь Юрий приносит эту жертву. Как сообщает Мальпроста мессеру Филиппу, Алексей Михайлович оценил жертву, «лишь рассмеялся» (с. 265), что можно трактовать как знак удивления и высочайшего прощения одновременно. И княжеская чета вот уже пятнадцать лет счастлива.

Это – третья версия истории о соколе. Третья – но не последняя.

Последнюю рассказывает сам князь Юрий, который вот уже пятнадцать лет счастлив, однако даже внешне не похож на счастливого человека: «Князь был худ и длинен, как лестница. Лицо имел нездоровое, аспидно-серого цвета. Широкие костлявые плечи его указывали, с одной стороны, на былую силу, а с другой – на какой-то застарелый едкий недуг.

Полуприкрыв тонкими веками пемзовые сухие глаза, князь словно нехотя осматривал царские дары, нехотя принимал пищу, нехотя отвечал воеводе и только изредка остро посматривал на иноземцев, – и странен был этот взгляд» (с. 265). Если исходить из того, что счастливый человек хочет жить и заражает этой жаждой счастья и жизни других, то перед нами портрет человека, который отчаянно несчастлив. Он не хочет жить.

И, отвечая на вопрос Мальпроста, князь Юрий Подзолев рассказывает, как в русской реальности разрешился итальянский сюжет: «– Видишь? – вскричал он. – Видишь, пристали к берегу лодки с дичью? Видишь бабу возле лодок? Кричит, суетится – нескладная, грубая, не выезженная ни в упряжь, ни под верх скотина? <...> Она, она!.. Это она, проклятая, все содеяла!.. Это из-за нее все пошло, как от порчи, мое сердце и, будто в засуху трава, высох и осыпался с моей головы волос. Из-за нее, узнав о судьбе Носника (белого кречета, подаренного им Подзолеву. – А.Ф.), государь рассердился и сказать изволил про меня: “Вот дурак!” Так и пошло. Так и стал я дураком! Так и пошло по всей Руси и в другие земли и дошло до какой-то там поганой Флоренции! Государь у нас добрый, слава ему! Но одного его доброго слова



“дурак” хватило на то, чтоб я навсегда остался в этих лесах разводить скот да строить избы. А мои сверстники бьются с татарами на востоке, бьются с врагами Руси на западе, и идет им слава, и честь, и песня. А какая песня пойдет обо мне по Руси, что обо мне скажет честной народ?! Жил-был дурак, съел из-за глупой бабы государева кречета... Погибло все! Топчусь я на этом берегу возле Оки, опрокинут я, и дует на меня ветер, и проходит мимо меня жизнь, как ветер через бездонную бочку...» (с. 270–271).

Эта, четвертая, версия истории о соколе оказывается безнадежно страшной. И государева доброты в ней свелась к безоговорочному осуждению, отяготившему всю судьбу князя Юрия как человека государева – и государственного. Но и в личной жизни счастья не оказалось: вдова Мышарикова не только стала причиной гибели репутации Подзолева в глазах царя, но и не смогла полюбить пожертвовавшего всем ради нее князя. Любовь растаяла по мере того, как растаяло очарование неприступной красавицы-вдовы, как растаяла ее собственная красота.

И факт вдовства возлюбленной рыцаря в итальянском и русском вариантах истории несет разную семантическую нагрузку. Мальпроста говорит своему собеседнику: «Жениться на вдове, как вам известно, мессер Филипп, считается зазорным у русских. Но страсть настолько поглотила князя Подзолева, что он желал только этого зазорного поступка» (с. 264). В новелле же Боккаччо вдовство героини является лишь свидетельством того, что ее сердце в данный момент не занято и что самое серьезное препятствие на пути любви Федерико дельи Альберти отсутствует.

Таким образом, в рассказе Всеволода Иванова «Сокол» мы имеем четыре версии истории о соколе, впервые описанной Джованни Боккаччо.

Одна из них, самая простая – это пересказ декамероновской новеллы Мальпроста старику Филиппу Андзолетто (и, кстати, одновременно – и пересказ новеллы Боккаччо самим Боккаччо в виде преамбулы к самой новелле). В этой версии всего три персонажа – рыцарь, дама и сокол. Сокол принесен рыцарем в жертву ради любви к даме. Жертва приносит положительный результат: потрясенная дама принимает любовь рыцаря. Будем называть ее «версией 0», поскольку она эмоционально наименее окрашена и наименее осложнена воздействием факторов, формально внешних по отношению к «линии любви». Следующие версии будут усложнены действием этих факторов.

В первом случае – условно назовем его «версией Боккаччо» – это фактор сына дамы, смерть которого происходит отчасти по вине рыцаря, не знавшего о цели визита дамы и принесшего ей в жертву сокола. Даме сокол был нужен живым, поэтому ее собственная жертва – приход к Федерико дельи Альберти – оказывается бесполезной: сокол погиб, сын дамы умер. Пусть жертва является бесполезной, но она приносит неожиданный результат:

дама отвечает на любовь Федериги. Счастье рыцаря и его возлюбленной омрачено смертью мальчика, однако любовь – побеждает.

Во втором случае – будем называть его «версией Мальпроста» – появляется фактор высочайшей милости – милости Алексея Михайловича, известного любителя соколиной охоты. Царь дарит влюбленному князю Подзольеву своего лучшего белого кречета. Князь приносит его в жертву (а стало быть, приносит в жертву не просто любимую птицу, а всю собственную судьбу) любви к горделивой красавице-вдове. Царская милость, которой готов пренебречь и пренебрегает влюбленный князь Юрий, усиливает впечатление от любви, и Подзольев добивается поставленной им цели. Любовь побеждает и упорство красавицы, и возможную царскую немилость.

Третья версия – «версия Подзольева». Она – формально наиболее сложна. Царская милость оборачивается царской немилостью, блестящая карьера превращается в безысходную частную жизнь, пылкая влюбленность – в ненависть. Однако наиболее существенным фактором становится фоновая версия – «версия 0». Трагическая судьба русского князя, ставшего жертвой собственной страсти, контрастирует со счастливым финалом новеллы из «Декамерона», в которой его флорентийский визави не только получает вожденный приз – любовь красавицы, но и не раскаивается в совершенном выборе – в том числе и потому, что выбора, стоявшего перед Подзольевым (царская милость или любовь, блестящая карьера или частная жизнь), перед Федериги дельи Альберти не было.

Понятно, почему «версия Подзольева» самая сложная. Ведь жизнь всегда сложнее любой схемы. Схема носит универсальный характер, а жизнь – характер индивидуальный. И здесь, как до сих пор Джованни Боккаччо являлся собеседником Всеволода Иванова (что Иванов не только не скрывал, но, напротив, тщательно подчеркивал), так сейчас третьим участником диалога двух соавторов истории об убитом соколе мы делаем Александра Пушкина – автора повести «Станционный смотритель».

Еще Михаил Гершензон в книге «Мудрость Пушкина» обратил внимание на ту роль, которую в сюжете «Станционного смотрителя» играют висающие на стене в домике Самсона Вырина немецкие картинки, рассказывающие библейскую притчу о блудном сыне: «Содержанием этих картин Пушкин формулирует – в нарочито сочном, немецки-филистерском виде – одно из положений ходячей мысли; и этому благочестивому обману он в своем рассказе противопоставляет *живую правду*»<sup>3</sup>. По мнению Гершензона, «смотритель непоколебимо убежден, что в немецких картинках изображена универсальная истина, что офицер, сманивший Дуню, несомненно, поиграет ею и бросит, – и потому он не видит вещей, впадает в отчаяние и

<sup>3</sup> Гершензон, М.О. Станционный смотритель // М.О. Гершензон. Избранное: в 4 т. – М.–Иерусалим, 2000. – Т. 1. – С. 88 (Курсив М.О. Гершензона. – А.Ф.).

спивается»<sup>4</sup>. И конфликт, лежащий в основе «Станционного зрителя», – это противостояние между универсальной истиной, выражением которой является фабула евангельской истории о блудном сыне, зафиксированная в немецких картинках на стене, и живой жизнью, в евангельскую – универсальную! – схему никак не укладывается.

Продолжая и перефразируя мысль Гершензона, мы можем сказать: «Станционный зритель» Пушкина дает пример того, как одна и та же фабула, развиваясь, обрстая различными подробностями, становится основой двух различных сюжетов. Один из них изображен на картинках, иллюстрирующих историю блудного сына, второй – история «блудной дочери» станционного зрителя Дуни Выриной. В первом случае главный герой наказан за свою самонадеянность и торжествует его отец, не только получивший подтверждение своей правоты, но и вернувший сына под свой кров. Во втором случае отец, пытавшийся удержать кажущуюся семейную идиллию ценой счастья своей дочери, терпит поражение, омрачая при этом и счастье Дуни.

Нет сомнений в том, что Вс. Иванов читал и «Станционного зрителя», и статьи М.О. Гершензона. Мы не можем сказать наверняка, что он имел в виду пушкинский текст, разрабатывая сюжет своего «Сокола», но принцип построения сюжета тот же, что и в повести А.С. Пушкина. Существует универсальная – в поэтическом мире «Сокола» – история-схема, 300 лет назад (относительно времени действия рассказа Вс.В. Иванова) рассказанная Дж. Боккаччо. Это – «версия 0». Существуют три различных сюжета, отличающиеся друг от друга достаточно существенно, если не сказать – кардинально. Соотносятся все они с «версией 0» в той же степени, в какой история Дуни Выриной отличается от фабулы библейской притчи о блудном сыне. Третий сюжет – «версия Подзольева» – расставляет все точки над «i»: счастье оказывается возможным лишь в той степени, в какой сюжет приближается к универсальной боккаччиевской схеме. История князя Юрия максимально далека от этой схемы, а потому он несчастен. Каждый новый фактор, вмешивающийся в его судьбу, отдаляет князя от цели, к которой он стремится. И нет надежды – не случайно Мальпроста не находит, как ответить на вопрос нечаянно обнадеженного его вниманием князя.

«Спросил князь с великой надеждой в голосе:

– Почему вы так горячо хотели посмотреть моих соколов? Али государь говаривал вам о моих соколах? Али государь ждет, что я выращу сокола лучше Носника? Али государь стал думать обо мне лучше, чем прежде? Что вы мне скажете, други?!

<sup>4</sup> Гершензон, М.О. Станционный зритель // М.О. Гершензон. Избранное: в 4 т. – М.–Иерусалим, 2000. – Т. 1. – С. 89.

Князь Юрий был мил и близок иноземцу Мальпроста. С радостью бы ответил Мальпроста утвердительно на княжий вопрос. Но как он мог ответить? Давно уже царь забыл о князе Юрии Подзольеве, давно уже считает его старым, беспомощным, неспособным.

Ответил безмолвно, взором Мальпроста: «Молчит о тебе царь. Пере-терпи и ты, отмолчись, коли можешь».

И князь отошел от него» (с. 271).

Можно сказать, что, как и в случае со «Станционным зрителем», жизнь побеждает кажущуюся универсальной схему с той разницей, что у Пушкина счастье героини-победительницы является неполным, а у Иванова полным является несчастье героя, выхода из которого – нет.

Хотя – почему – «нет»?

Неудачник-князь, его сварливая жена, его поместье – все остается за холмом. Ладыя продолжает свой путь к низинам Волги, и на ее борту плывут к персидскому шаху шестеро итальянцев и подаренные русским царем шаху соколы и кречеты.

«– О чем, Мальпроста, говорил с тобой князь Подзольев? – спросил вдруг мессер Филипп Андзолетто. – Не о соколе ли? Раскаялся ли он в своем глупом поступке иль и впредь думает поступать так же?» (с. 271).

«Так же» – это значит, вопреки житейской логике, вопреки здравому смыслу. Любовь не выдерживает в этой системе координат испытания на прочность, она гибнет, как погибла любовь Юрия Подзольева, как погиб принесенный в жертву этой любви царский кречет Носник.

«Мил был князь Юрий флорентинцу Мальпроста. И сказал он:

– Нет, не раскаялся князь. И впредь думает поступать так же» (с. 272).

Так неожиданно заканчивает свою историю о соколе Всеволод Иванов. Он предоставляет своему «соавтору» по рассказыванию этой истории молодому флорентинцу Мальпроста возможность выбрать финал – а фактически выбрать ту версию сюжета, которая кажется ему наиболее заслуживающей читательского доверия, наиболее «правильной».

Мальпроста выбирает собственную версию. Ту, в которой торжествует любовь.

Все будут счастливы. Пусть это противоречит жизненной логике и здравому смыслу, пусть это невозможно, но по-другому было бы несправедливо. Любовь должна победить.

И, как нам кажется, под этим готов был бы подписаться и мессер Джованни Боккаччо.

## «И ПРИМЕШЬ ТЫ СМЕРТЬ ОТ КОНЯ СВОЕГО...» («Метценгерштейн» Эдгара По и «Красный жеребец» Георгия Чулкова)<sup>1</sup>

*Памяти Н.Д. Тмарченко*

Революционная эпоха по-разному актуализирует классические образы, начиная от христианских (вспомним «терновый венок революций» В.В. Маяковского или блоковского Христа, незримо идущего впереди дежурного патруля) и до значительно более поздних, но также наполненных потенциалом возможных толкований.

В 1994 г. впервые по рукописи был опубликован (а в 1999 г. републикован) рассказ известного русского литератора Серебряного века Георгия Ивановича Чулкова (1879–1939) «Красный жеребец», созданный, по мнению комментатора, в первой половине 1920-х гг.<sup>2</sup> При жизни автора он не публиковался, что объясняется, на наш взгляд, вполне реалистическим описанием революции в русской деревне, уже не приемлемым для советской литературы: напомним, что и написанная в 1923 г. повесть В.Я. Зазубрина «Щепка» была опубликована только в 1989 г.

Фабула рассказа проста. В 1905 г. – год начала первой русской революции – умирает барин Степан Булатов, владелец конского завода. Перед смертью он прощается не с семьей даже, а с любимым жеребцом Султаном, который ведет себя совершенно пристойно случаю – как человек: «– Милый! Сынок! – сказал Степан Федорович, когда конь, фыркнув, мотнул головой, как будто кланяясь, как будто

<sup>1</sup> Автор искренне благодарен профессору РГГУ Д.М. Магомедовой за ценные замечания, высказанные ею в процессе работы над данным текстом.

<sup>2</sup> См.: Михайлова, М.В. Комментарии // Г.И. Чулков. Годы странствий. – М., 1999. – С. 795.

прощаясь с хозяином»<sup>3</sup>. Наследницами имения Булатова становятся его вдова и дочь, которым через 14 лет – срок указан автором точно, то есть события рассказа отнесены к 1919 г., – под давлением крестьян приходится покинуть имение. Разграбив барский дом и надругавшись над жестоким управляющим, крестьяне добираются до конюшни. И поскольку наследник Султана, племенной жеребец Султан III, становится камнем преткновения, погромщики решают попросту убить его – сжечь, чтобы не доставался он никому. Султана обвязывают паклей, поджигают ее, и горящий конь покидает разграбленное барское имение – скачет, подстегиваемый болью и страхом, вперед, к неумолимой и неизбежной смерти.

Рассказ Чулкова буквально пронизан цитатами и реминисценциями из русской классической литературы<sup>4</sup>. Премудрая старуха Агафья Родионовна<sup>5</sup>, пытаясь растолковать причины напастей, обрушившихся на крестьян, обещает, что «придут с Востока косоглазые и все разъясят»<sup>6</sup> (с. 592–593). Очевидно, что эта все видевшая и все знающая старуха вызывает в памяти

<sup>3</sup> Чулков, Г.И. Красный жеребец // Г.И. Чулков. Годы странствий. – М., 1999. – С. 590. – Далее ссылки на текст рассказа даются непосредственно в тексте, в круглых скобках после цитаты с указанием страницы данного издания.

<sup>4</sup> Мы сразу оговоримся, что возникающие параллели с Апокалипсисом и образами апокалиптических всадников не являются предметом рассмотрения в данной статье.

<sup>5</sup> Не беремся утверждать, что ее отчество хотя бы в какой-то мере связано с отчеством пушкинской няни Арины Яковлевой. Но напомним, что Г.И. Чулков был автором биографии А.С. Пушкина.

<sup>6</sup> Очевидна отсылка к стихотворению В.С. Соловьева «Панмонголизм»:

От вод малайских до Алтая  
Вожди с восточных островов  
У стен поникшего Китая  
Собрали тьмы своих полков.  
<...> О Русь! забудь былую славу:  
Орел двуглавый сокрушен,  
И желтым детям на забаву  
Даны клочки твоих знамен.

(Цит. по: Соловьев, В.С. Панмонголизм // Стихотворения и шуточные пьесы. – Л., 1974. – С. 104). – И, разумеется, в вдохновленном этими стихами Соловьева классическому блоковскому:

Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы.  
Попробуйте, сразитесь с нами!  
Да, Скифы – мы! Да, азиаты – мы, –  
С раскосыми и жадными очами.

(Цит. по: Блок, А.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. – М., 1999. – Т. 5. – С. 77).

странницу Феклушу из драмы А.Н. Островского «Гроза»<sup>7</sup>, точно так же, как ее внешность – «шестидесятилетняя, плешивая, все как будто приплясывала, рыжими глазенками впивалась в собеседника»<sup>8</sup> (с. 592) – отчасти позаимствована у старухи-процентщицы из «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского. В рассуждениях повествователя в «Красном жеребце» в какой-то момент начинают звучать ернические интонации Федора Павловича Карамазова: «Ведь все мы люди – как псы смердящие. А духовной трапезы нету – крох-то и негде подобрать. Монахи, что ходят по морю, как по суше, далече – где их достать»<sup>9</sup> (с. 593). И, наконец, с особой жестокостью достается героям «Что делать?» Н.Г. Чернышевского и родившейся не без влияния его теорий проповеди женского равноправия А.М. Коллонтай: «Говорят, потом завелась особая порода людей<sup>10</sup>. Это так называемые сознательные. У этих все было точно и ясно. И они все понимали. Гром ли грянет, они сейчас об электричестве что-нибудь скажут умное; умрет ли кто, они сейчас спешат разрезать мертвецу живот и, посолив внутренности, посмотреть, что у него там такое в животе; изменит ли баба мужу, сейчас они ей объяснят, что это ничего, что с нее не взыщется, ибо она трудовая пчела, а не какая-нибудь дармоедка-буржуйка<sup>11</sup>» (с. 593). Ну, и, наконец, угроза по-

<sup>7</sup> Имеем в виду монолог Феклуши о «последних временах» в 1-й сцене третьего действия «Грозы» (см.: Островский, А.Н. Гроза // А.Н. Островский. Полное собрание сочинений: в 12 т. – М., 1974. – Т. 2. – С. 236–237).

<sup>8</sup> Ср.: «Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с острыми и злыми глазками, с маленьким острым носом и простоволосая» (Достоевский, Ф.М. Преступление и наказание. – М., 1970. – С. 10). И далее: «Светлые, с проседью, жиденькие волосы ее, по обыкновению жирно смазанные маслом, были заплетены в крысиную косичку и подобраны под осколок роговой гребенки...» (там же. С. 64).

<sup>9</sup> Отсылка к обмену репликами Смердякова – «... никто в наше время, не только вы-с, но и решительно никто, начиная даже с самых высоких лиц до самого последнего мужика-с, не может спихнуть горы в море, кроме разве какого-нибудь одного человека на всей земле, много двух, да и то, может, где-нибудь там, в пещере египетской в секрете спасаются, так что их и не найдешь вовсе...» – и Федора Павловича – «... так двух-то таких, что горы могут сдвигать, ты все-таки полагаешь, что есть они? Иван, заруби черту, запиши: весь русский человек тут сказался!» (цит. по: Достоевский, Ф.М. Братья Карамазовы // Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений: в 30 т. – Л., 1976. – Т. 14. – С. 120).

<sup>10</sup> Ср.: «Таких людей, как Рахметов, мало: я встретил до сих пор только семь-восемь образцов этой породы <...> Сходства не было ни в чем, кроме одной черты, но она одна уже соединяла их в одну породу и отделяла от всех остальных людей» (Чернышевский, Н.Г. Что делать? Из рассказов о новых людях. – Л., 1975. – С. 202).

<sup>11</sup> «Закрепление» женщины за домом, выдвиганье на первый план интересов семьи, распространение прав безраздельной собственности одного супруга над другим – все это явления, нарушающие основной принцип идеологии рабочего класса – «товарищеской солидарности», разрывающие цепь классовой сплоченности. Понятие собственности одной личности над другой, представление о «подчинении» и «не-

бежденного в споре барского заступника Кассиана-огородника<sup>12</sup> кузнецу Трифону, настаивающему на погроме, – «Ужо тебе!»<sup>13</sup> (с. 595) – легко вписывает «революционный» текст Г.И. Чулкова в общероссийский литературный контекст: революционное насилие, как и государственное насилие вообще, постоянно берет верх над попытками индивидуума добиться гуманного отношения к слабейшему человеку.

Однако в целом сюжет чулковского рассказа очевидно ориентирован на память современного ему читателя о другом тексте – тексте мистическом и загадочном. Речь идет о новелле великого американского писателя Эдгара Аллана По «Метценгерштейн», впервые опубликованной в 1832 г. и переведенной на русский язык в 1884 г.<sup>14</sup>

Место действия новеллы – Венгрия. Юный барон Фредерик Метценгерштейн отличался редкостным злонравием и, в конце концов, «переиродил самого царя Ирода»<sup>15</sup>: по слухам, именно он отдал приказ поджечь имение соседа, графа Вильгельма Берлифитцинга. Немошный граф погибает в языках пламени, пытаясь выпустить лошадей из горящей конюшни, однако дух его переселяется вначале в «огромного коня диковинной масти» [с. 9], вытканного на старинном гобелене, изображающем гибель предка Берлифитцинга от рук предка Метценгерштейна, а затем и в реального коня «огненно-рыжей масти» [с. 10]. После этого вся жизнь молодого барона сводится к попыткам преодолеть страх, овладевающий им в момент скачки на странном коне. И, в конце концов, Фредерик Метценгерштейн погибает, когда не подчинившийся ему конь вносит его в его собственный пылающий замок, чтобы сгинуть «вместе с всадником в огненном смерче» [с. 13].

---

равенстве” членов одного и того же класса противоречит самой сущности основного пролетарского принципа – “товарищества”» (Коллонтай, А.М. Новая мораль и рабочий класс. – М., 1919. – С. 60). – Непосредственно же в тексте рассказа Чулкова очевидна отсылка к названию книги А.М. Коллонтай «Любовь пчел трудовых» (М., 1923).

<sup>12</sup> Имя Касьян дано крестьянину, защищающему бар, не случайно: святому Касьяну посвящен день 29 февраля, бывающий, как известно, один раз в четыре года. Чулков показывает этим, что «старое время» закончилось и защитить его невозможно.

<sup>13</sup> Точная цитата из «Медного всадника» (см.: Пушкин, А.С. Медный всадник. Петербургская повесть // А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 16 т. – М.–Л., 1948. – Т. 5. – С. 148).

<sup>14</sup> Отметим сразу, что рассказ Г.И. Чулкова не учтен в монографии Дж.Д. Гроссман «Эдгар Аллан По в России: Легенда и литературное влияние», поскольку был опубликован уже после выхода ее первого издания (1973, русский перевод – СПб., 1998).

<sup>15</sup> Цит. по изд.: По, Э.А. Метценгерштейн // Э.А. По. Полное собрание рассказов. – М., 1970. – С. 8. – Далее ссылки на новеллу см. в тексте после цитаты, в квадратных скобках с указанием страницы данного издания.



Трудно отрицать несомненное сходство между рассказом Георгия Чулкова и новеллой Эдгара По. Мы не знаем наверняка, был ли Чулков знаком с «Метценгерштейном», но тот факт, что он следил за публикациями переводов американского романтика на русский язык, был поклонником и пропагандистом творчества По, а также прослеживал его влияние на современных российских писателей, бесспорен<sup>16</sup>. В обоих текстах действие начинается расставанием с жизнью хозяина коня и переселением его души в четвероногого любимца – с той разницей, разумеется, что для По это переселение (в художественном мире его новеллы) является несомненным фактом, а Чулков попросту не акцентирует на этом внимания – для него важно иное: красный конь становится символом старой, помещичьей России, скончавшейся вместе с бариним Булатовым в 1905 г.<sup>17</sup>

Однако кроме этого сходства есть и еще одно немаловажное обстоятельство. Дело в том, что история красного коня Султана у Чулкова становится своего рода продолжением истории огненно-рыжего коня из новеллы По.

Что изображает в своей новелле По? Крушение разбойного мира Метценгерштейнов и Берлифитцингов – мира, в котором существуют преступления без наказания. Конь, в которого вселяется душа графа Вильгельма, – жертва Метценгерштейна – одновременно становится его убийцей, потому что иначе не восстановить высшую справедливость, предусмотренную старинным преданием.

У Чулкова жестокий и беспощадный разбой, учиненный мужиками, становится выражением этой высшей справедливости<sup>18</sup>. Не случайно сами

<sup>16</sup> Ср.: «Одним из тех гениальных поэтов, которые указали новые пути для творчества, взорвали скалы и открыли за ними новые дали, был Эдгар По. Мелодии, им найденные, разрабатывались и разрабатываются во всемирной литературе целым рядом художников. Эти торжественные повторения образов и заклинаний, эти гипнотизирующие эпитеты, властные слова и стремительный ужас смыкающихся фраз, которые входят одна в другую, как звенья цепи, все это увлекает многих из нас. Одним из наиболее талантливых подражателей Эдгара По нужно признать Леонида Андреева» (Чулков, Г.И. Третий «Сборник» товарищества «Знание» за 1904 г. – СПб., 1905 г. Ц. 1 руб. // Вопросы жизни. 1905. № 1. С. 303).

<sup>17</sup> Кони и люди для современников Г.И. Чулкова уравниваются в смерти еще и потому, что де-факто их уравнила Первая мировая война. Вместимость вагонов, идущих на фронт, как известно, определялась численностью размещающихся в них согласно нормам людей и лошадей. А.А. Блок писал: «Люди – крошечные, земля – громадная. Это вздор, что мировая война так заметна: довольно маленького клочка земли, опушки леса, одной полянки, чтобы уложить сотни трупов людских и лошадиных. А сколько их можно свалить в небольшую яму, которую скоро затянет трава или запорошит снег!» (Блок, А.А. Интеллигенция и революция // А.А. Блок. Собрание сочинений: в 6 т. – Л., 1982. – Т. 4. – С. 230).

<sup>18</sup> Можно сказать, что Г.И. Чулков иллюстрирует тезисы из уже процитированной нами статьи А.А. Блока «Интеллигенция и революция» (1918): «Почему гадят в лю-

мужики не хотят насилия над теми, кто у них самих с насилием не ассоциируется, – они просят женщин, вдову и дочь Булатова, добровольно покинуть обреченное имение: «Вы уж уважьте нас. Степан Федорович, покойный, царство ему небесное, хороший был человек. <...> Да вот мир порешил, значит, землицу вашу поделить и все прочее, так чтобы вам покойнее было, просим вас уехать сегодня в город – и молодую барыню тоже» (с. 596–597). И Мария Николаевна с Наташей соглашаются «уважить» просителей, признавая в данном случае за ними отнюдь не только право силы, но и нечто большее. Это, кстати, привносит в авторскую интонацию Чулкова серьезность, которая, на наш взгляд, отнюдь не свойственна новелле Эдгара По. Исследователями уже отмечалось: «Одни видят в “Метценгерштейне” пародию на рассказы “немецком духе”, другие утверждают, что автор, задумав его как пародию, отошел от первоначального замысла и написал серьезный рассказ»<sup>19</sup>. В отношении к рассказу Г.И. Чулкова таких расхождений, на наш взгляд, быть не может: По создает некоторую идейную конструкцию, Чулков пишет о том, что могло иметь место в реальности. Именно поэтому ирония в его повествовании не присутствует.

Конь диковинной окраски, огненно-рыжий, как пламя революции, вносит своего убийцу в его горящее и рушащееся имение – у Эдгара По. Конь, рыжий, в отличие от новеллы По, не из адской бедны – из барской конюшни, хорошего завода конь, Султан III, подожженный мстителями-мужиками, несет из горящего и рушащегося мира барских имений – у Георгия Чулкова.

Всюду пламя. Всюду смерть. В каком бы направлении ни мчался охваченный пламенем жеребец.

---

*безных сердцу барских усадьбах? – Потому, что там насильовали и пороли девок: не у того барина, так у соседа* (курсив наш. – А.Ф.).

Почему валят столетние парки? – Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему – мощной, а дураку – образованностью.

Все так.

Я знаю, что говорю. *Конем этого не пообедаешь*. Замалчивать этого нет возможности; а все, однако, замалчивают.

Я не сомневаюсь ни в чьем личном благородстве, ни в чьей личной скорби; но ведь за прошлое – отвечаем мы? Мы – звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? – Если этого не чувствуют все, то это должны чувствовать “лучшие» (Блок, А.А. Интеллигенция и революция // А.А. Блок. Собрание сочинений: в 6 т. – Л., 1982. – Т. 4. – С. 235).

В приведенной цитате обращают на себя внимание два момента. Первый – очевидно не случайный: пассаж Блока о насилии над девками в «любезных сердцу барских усадьбах» совпадает с микросюжетом о судьбе насильника-управляющего в рассказе Чулкова. И второй – быть может, случайный: Блок упоминает *коня*, которым прошлое не пообедаешь.

<sup>19</sup> Осипова, Э.Ф. Ральф Эмерсон и американский романтизм. – СПб., 2001. – С. 85–86.

«Мистический анархизм» Георгия Чулкова в его рассказе оказывается синтезом мистицизма американского романтика и анархией революционной борьбы – борьбы сродни той буре, которую предрекала и призывала русская интеллигенция.

Показательно, что в 1912 г. появляется одно из самых знаменитых живописных полотен предреволюционной эпохи – «Купание красного коня» К.С. Петрова-Водкина, в котором неведомое будущее также связано с образом коня диковинной масти<sup>20</sup>. Мальчик, сидящий на коне, ничего не предчувствует, его спокойствие сродни сну. Но косящий глаз коня показывает, что он – не спокоен. Он – чувствует<sup>21</sup>.

Что чувствует? Возможно, языки пламени, в котором погибнет он сам, и сидящий на его спине подросток, и весь мир. Как пророчески писал Александр Блок:

И вечный бой! Покой нам только снится  
Сквозь кровь и пыль...  
Летит, летит степная кобылица  
И мнет ковыль...<sup>22</sup>.

С небольшой разницей. И кобылица не степная, а, стало быть, не свободная, и полет ее оставляет след не только на мятом ковыле, но и на человеческих жизнях.

<sup>20</sup> Истоки образа красного коня в картине К.С. Петрова-Водкина, восходящего к русской иконописи, не являются предметом рассмотрения в данной статье.

<sup>21</sup> Это очень точно заметил Рюрик Ивнев в стихотворении, посланном К.С. Петрову-Водкину под впечатлением от выставленной картины:

Кроваво-красный конь, к волнам морским стремящийся,  
С истомным юношей на выпуклой спине  
Ты, как немой огонь, вокруг костра клубящийся,  
О многом знаешь ты, о многом шепчешь мне.  
Зрачки расширились...

(Цит. по: Петров-Водкин, К.С. Письма. Статьи. Выступления. Документы. – М., 1991. – С. 158). «Жена художника рассказывала в своих воспоминаниях: «Купание красного коня» – аллегорическая картина, предвещающая революцию. Кузьма Сергеевич даже опасался, что картину не разрешат выставить для публичного обозрения» (Капанова, С.Г. От замысла и натуры к законченному произведению. – М., 1981. – С. 146). Показательно также, что в 1925 г. Петров-Водкин напишет картину «Фантазия», где красный конь уже совершенно очевидно поднявшийся на дыбы, несет на себе не спокойного нагого мальчика, а одетого в чистое (в соответствии с русской традицией – как перед смертью) растерянного мужчину. При этом направление полета коня с всадником в «Фантазии» прямо противоположно тому, куда летит конь в «Купании красного коня».

<sup>22</sup> Блок, А.А. Полное собрание сочинений и писем. – М., 1997. – Т. 3. – С. 170.

## МЕЛОЧИ ИЗ ЗАПАСА КОММЕНТАТОРСКОЙ ПАМЯТИ

Есть тексты, которые я никогда не буду комментировать. Просто потому, что есть люди, которые либо уже это сделали, либо могут сделать значительно лучше меня. И вступать в соперничество с заведомо известным проигрышным результатом я не намерен.

Но я люблю эти тексты, и бережное – не комментаторское! – к ним отношение вовсе не означает, что у меня как у читателя отсутствуют всяческие наблюдения, которые могли бы войти в общий комментарий к ним. Я столько лет перечитываю, например, произведения М.А. Булгакова, что вольно или невольно нахожу параллели к отдельным эпизодам, мотивам, персонажам.

Но чаще всего, к сожалению, эти наблюдения не дотягивают до статуса самостоятельного сюжета литературоведческого исследования. Что с ними делать? Щедрая душа могла бы подарить их кому-нибудь из коллег. Но я скуповат и предпочитаю опубликовать их сам. Поэтому я завел себе такую своеобразную «корзину», куда и складывал всякие мелочи, которые со временем могли бы пригодиться в литературоведческом хозяйстве. Образовался своеобразный запасник, который я, наконец, решился предать вниманию почтенной публики. Вдруг, кому-то пригодится...

### *1. Еще раз о скуке*

Автору довелось уже выражать свое отношение к известному литературному анекдоту о последних словах, якобы произнесенных Василием Львовичем Пушкиным в присутствии его племянника: «Как скучны статьи

Катенина!»<sup>1</sup>. После того, как статья «Смерть поэта, или Последняя арзамасская речь» была опубликована, нам довелось наткнуться на оценку другого литературного деятеля (не П.А. Катенина), исходившую из уст все того же В.Л. Пушкина: «Василий Львович Пушкин говорил иногда с важностью и с жалостью: “Как князь Шаликов скучно пишет!”»<sup>2</sup>.

Сходство очевидно. Скорее всего, характеристика творчества оппонента как «скучного» была расхожей для певца «Буянова». И, на наш взгляд, авторы весьма подробных и глубоких комментариев к мемуарам М.А. Дмитриева, уважаемые К.Г. Боленко, Е.Э. Лямина и Т.Ф. Нешумова, напрасно не сослались в них на памятный анекдот Александра Сергеевича – хотя бы для того, чтобы еще раз напомнить благодарным читателям о той эпохе литературной борьбы, в какую жили их герои.

## 2. «...был спрятан человек и щелкал соловьем»

«Записки покойника» М.А. Булгакова хорошо и подробно комментировались историками литературы и театра. Однако один эпизод в них, как мне кажется, был прокомментирован недостаточно.

Он касается эпизодического персонажа, который появляется в тексте лишь в рассказах других лиц, – генерал-майора Клавдия Александровича Комаровского-Эшшапара де Бионкур, командира лейб-гвардии уланского его величества полка. За этим персонажем узнается Алексей Александрович Стахович<sup>3</sup>, блестящий офицер, пожертвовавший карьерой из любви к театру и ставший изначально одним из пайщиков Московского Художественного театра. В «Записках покойника» он упоминается несколько раз, однако в данном случае нас интересует следующий пассаж: «И была у него (Комаровского-Эшшапара де Бионкур. – А.Ф.) еще страсть: до ужаса любил изображать птиц за сценой. Когда шли пьесы, где действие весной в деревне, он всегда сидел в кулисах на стремянке и свистел соловьем»<sup>4</sup>.

Любому читателю, не успевшему забыть школьную программу по литературе, немедленно приходят на ум строки из грибоедовского «Горя от ума»:

На бале, помните, открыли мы вдвоем:  
За ширмами, в одной из комнат посекретней,

<sup>1</sup> Федута, А.И. Смерть поэта, или Последняя арзамасская речь («Элегия на смерть Василия Львовича» Дмитрия Быкова) // «Липецкий потоп» и пути развития русской литературы: сб. науч. ст. – Липецк, 2006. – С. 115–125.

<sup>2</sup> Дмитриев, М.А. Главы из воспоминаний моей жизни. – М., 1998. – С. 133.

<sup>3</sup> См.: Смелянский, А.М. Комментарии // М.А. Булгаков. Собрание сочинений: в 5 т. – М., 1990. – Т. 4. – С. 667.

<sup>4</sup> Булгаков, М.А. Записки покойника (Театральный роман) // М.А. Булгаков. Собрание сочинений: в 5 т. – М., 1990. – Т. 4. – С. 444–445.

Был спрятан человек и щелкал соловьем,  
Певец зимой погоды летней<sup>5</sup>.

Эта параллель настолько очевидна, что, например, Г.А. Лесскис даже не стал на нее указывать в своей книге<sup>6</sup>.

Но вряд ли только бессмертная грибоедовская комедия могла породить этот комический эпизод. Была, на наш взгляд, и реальная подоплека. Чтобы убедиться в этом, предлагаем вчитаться в следующие строки известного литературного деятеля и мемуариста Александра Николаевича Тихонова (Серебров): «В “Детях солнца” он (К.С. Станиславский. – А.Ф.) выгородил на сцене конюшню; у автора пьесы об этом ни слова. Поставил в ней живую лошадь, чтоб она отмахивалась хвостом от оводов. Он искал на сцене жаркое лето в провинциальном городе.

Лошадь отмахивалась невыразительно. Станиславский поднялся на подмостки и наглядно показал, как должна талантливая лошадь махать хвостом в жаркий летний день. Помощник режиссера был в отчаянии: никак не мог заставить лошадь махать хвостом “по-Станиславскому”. Выручил А. Стахович – адъютант великого князя Сергея, друг и поклонник театра. Он спешно выучился гудеть по-шмелиному.

Станиславский пришел в восторг от достигнутых результатов: лошадиный хвост работал, как маятник. На сцене чувствовалась жара не меньше тридцати градусов»<sup>7</sup>.

Шмелиное гудение и соловьиная песнь, разумеется, разные по своему эстетическому потенциалу явления. Однако само сходство и – главное! – приписывание авторства издаваемого звука одному и тому же лицу (пусть даже выведенному Булгаковым под именем вымышленного персонажа) несомненно.

### 3. Не склероза ради

Впрочем, не только история с гудевшим шмелем генералом Стаховичем легла в основу эпизода в «Записках покойника». Историки драматического искусства неоднократно обращали внимание на сходство руководителей Независимого Театра в романе Булгакова – Ивана Васильевича и Аристарха Платоновича – с Константином Сергеевичем Станиславским и Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко. Персонажи, судя по всему, вышли на-

<sup>5</sup> Грибоедов, А.С. Горе от ума // А.С. Грибоедов. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. – СПб., 1995. – Т. 1. – С. 28.

<sup>6</sup> См.: Лесскис, Г.А. Триптих М. Булгакова о русской революции: «Белая гвардия», «Записки покойника», «Мастер и Маргарита». – М., 1999.

<sup>7</sup> Серебров, А. (Тихонов, А.Н.). Время и люди. Воспоминания. 1898–1905. – М., 1960. – С. 124. – Впервые книга опубликована в 1949 г.

столько узнаваемыми, что откомментировать совпадение отдельных деталей их портретов и характеристик с реальными чертами великих прототипов руки уже не доходили.

А зря. Потому что некоторые комические детали булгаковских карикатур имели совершенно некомическое (или не вполне комическое) объяснение.

Взять, например, забывчивость Ивана Васильевича, постоянно путающего имя и отчество центрального героя – Сергея Максудова. Причем путающего настолько последовательно, что на это обращает внимание даже тетушка Ивана Васильевича: «– Батюшка Сергея Сергеевича умер, – сообщил Иван Васильевич.

– Царство небесное, – сказала старушка вежливо, – он, чай, не знает, что вы пьесы сочиняете? А отчего умер?

– Не того доктора пригласили, – сообщил Иван Васильевич. – Леонтий Пафнутьевич мне рассказал эту горестную историю.

– А ваше-то имечко как же, я что-то не пойму, – сказала Настасья Ивановна, – то Леонтий, то Сергей! Разве уж и имена позволяют менять? У нас один фамилию переменял. Теперь и разбери-ко, кто он такой!

– Я – Сергей Леонтьевич, – сказал я сиплым голосом.

– Тысячу извинений, – воскликнул Иван Васильевич, – это я спутал!

– Ну, не буду мешать, – отозвалась старушка<sup>8</sup>.

Склероз Ивана Васильевича, вообще-то свойственный и его прообразу Константину Сергеевичу, современники, однако, объясняли особо, не скрывая его, а даже восхищаясь его причиной (мнимой ли, реальной – другой вопрос). Приведем фрагмент из мемуаров народной артистки СССР Веры Пашенной, имевшей честь играть со Станиславским на сцене в «Царе Федоре Иоанновиче» А.К. Толстого. Она вспоминала, «несколько случаев, когда Константин Сергеевич, будучи на сцене, вдруг весь отдавался контролю над тем, *что и как он делает*.

На этой почве иногда случались некоторые инциденты. В Париже в театре “Елисейские поля” шла одна из генеральных репетиций “Царя Федора”. В сцене, когда взволнованный Шуйский, уходя, говорит царю Федору: “Царь всея Руси Федор Иоаннович, мне стыдно за тебя!” – следящая из зала за репетицией Н.Н. Литовцева сделала замечание Константину Сергеевичу относительно неправильного повышения голоса в этой фразе. <...> Он серьезнейшим образом начал проверять себя, и, убедившись, что замечание правильно в смысле ударения и повышения голоса, стал искать верного произношения этой фразы. Сказал он, конечно, правильно, но, увы, правильно было только повышение и ударение, а текст прозвучал неправильно:

<sup>8</sup> Булгаков, М.А. Цит. соч. – С. 487.

“Царь всея Руси!..” – горячо начал Станиславский, но сказал не “Феодор Иоаннович”, а “Дмитрий Федорович, мне стыдно за тебя”.

Точнейшим образом изучая законы речи и мастерства актера, Константин Сергеевич иногда на сцене был ученым в ущерб себе как актеру. Вот еще пример.

Однажды, когда он играл роль Гаева в “Вишневом саде”, произошел такой случай. В первом акте Гаев говорит: “А здесь пачулями пахнет!..” И вот Константин Сергеевич начал внимательно принюхиваться к какому-то запаху, затем стал как-то последовательно оглядывать всех, как бы желая убедиться, от кого этот запах исходит и, только удостоверившись, что пачулями действительно пахнет, но не выяснив для себя – от кого именно, он, выполнив всю последовательность своего переживания, сказал: “А здесь пикулями пахнет”. Вместо “пачулями” сказал “пикулями”<sup>9</sup>.

Как мы видим, Пашенная склонна объяснять забывчивость Станиславского его способностью увлекаться. Собственно говоря, эту же версию подтверждает и Булгаков, заставляя Ивана Васильевича увлекаться и забывать, в частности, при анализе актерами своих переживаний в ходе этюдов, зачем вообще эти этюды понадобились.

#### **4. «Театральный роман» в мемуарах Марии Германовой**

Мемуары актеров «первого мхатовского поколения» сегодня кажутся излишне восторженными – что становится понятно, если учесть, что предназначены они были для публикации в Советском Союзе, в эпоху, когда имена К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко были окружены пиететом, граничащим с обожествлением. Критиковать «основоположников» было почти опасно, как опасно было бы подвергать сомнению чудодейственность иконы, находясь в центре крестного хода на Пасху. Да и для самих мемуаристов близость к величайшим реформаторам русской сцены гарантировала законное место в театральном «иконостасе».

Именно поэтому, на наш взгляд, замечательный материал для комментатора «Театрального романа» дают опубликованные совсем недавно записки самой высокооплачиваемой актрисы дореволюционного МХТ Марии Николаевны Германовой (1883–1940), к тому же пайщицы Художественного театра. Ее мемуары «Мой ларец с драгоценностями» были написаны в эмиграции, где она руководила так называемой пражской группой МХТ, от которой «советский МХТ» был вынужден отречься публично в 1928 г.<sup>10</sup> По-

<sup>9</sup> Пашенная, В.Н. Искусство актрисы. – М., 1954. – С. 142.

<sup>10</sup> См. об этом: Корчевникова, И.Л. Она жила, как чувствовала, и чувствовала, как жила // М.Н. Германова. Мой ларец с драгоценностями: Воспоминания. Дневники. – М., 2012. – С. 33–43.



нятно, что Германову ничто не сковывало в эмоциях, кроме нежной любви к мхатовским «старикам», и это делает тем более показательными сюжетные совпадения в ее текстах с булгаковским романом.

Так, например, Мария Николаевна описывает свою обиду от того, что, вопреки сложившейся практике, ей не дали играть роль Элины в «У царских врат» Кнута Гамсуна: «...она так понравилась Лилиной, жене Станиславского, прекрасной актрисе, одной из тех, с которыми начался Театр, что она непременно захотела играть ее. Как ни отстаивал Вл[адимир] Ив[анович Немирович-Данченко] роль для меня, ничего не мог сделать, раз такая заслуженная актриса, как Лилина, бралась за нее. <...> По правилу, по этике Театра <...> я имела право играть Элину в очередь с ней. Но по приезду в Петербург, куда мы сейчас же приехали на гастроли, приехал ко мне бедный милый А.А. Стахович. Ему как опытному “лукавому царедворцу” всегда давали такие щекотливые поручения. Он был у нас членом правления и от имени правления, признавая за мной все права, просил меня уступить Лилиной как старшей и более старой актрисе, у которой эта – может быть, последняя молодая роль... и отказаться от моего права играть ее»<sup>11</sup>.

Сразу возникает параллель с заседанием группы старейшин Независимого театра, решающей судьбу пьесы Максудова. «Группа старейшин рассуждала так: мы ищем, жаждем ролей, мы, основоположники, рады были бы показать все наше мастерство в современной пьесе и... здравствуйте пожалуйста! Приходит серый костюм и приносит пьесу, в которой действуют мальчишки! Значит, играть мы ее не можем?! Это что же, он в шутку ее принес?! Самому младшему из основоположников пятьдесят семь лет – Герасиму Николаевичу. <...> Пусть ее играют молодые! <...> Смотрите, люди добрые, как мы замечательно играем! А основоположники, значит, будут сидеть и растерянно улыбаться – значит, мол, мы не нужны уже? Значит, нас уж, может, в богадельню?»<sup>12</sup>.

Это можно объяснить естественной ревностью всякого старшего представителя творческой профессии, ощущающего, как на смену приходит новое поколение. Но и без этого картина атмосферы МХТ, рисуемая Германовой, далека от идиллической. Скажем, безусловно, уважая и ценя К.С. Станиславского, актриса дает ему следующую характеристику: «У него самого, как у актера, было много недостатков, и он работал над ними все время и боролся с ними жестоко. Этим он напоминал Толстого: ломал, насиловал, измывался над собой. И переносил, применял эту ломку и на актерах. Выламывал иногда недостатки, которых у актера и не было. <...> Были у него тоже и полосы, когда он увлекался чем-нибудь, и беда актеру, с которым репетиро-

<sup>11</sup> Германова, М.Н. Мой ларец с драгоценностями: Воспоминания. Дневники. – М., 2012. – С. 138–140.

<sup>12</sup> Булгаков, М.А. Цит. соч. – С. 512–513.

вал в то время К[онстантин] С[ергеевич]. Он принимался выколачивать или вколачивать в него свою идею, все равно – нужно было это, подходило это актеру или нет. В своих экспериментах он не пренебрегал ничем, высмеивал, обижал, иногда нарочно очень тяжело.

Очень не любили актеры, когда на репетицию приходили гости, тогда он не мог не поддаться искушению покрасоваться своим гениальным поистине режиссерством и начинал особенно усердно школить кого-нибудь из наших больших актеров»<sup>13</sup>.

Читая эти строки одной из ведущих актрис и пайщицы МХТ, понимаешь, что в сцене «обкатки» в булгаковском романе Иваном Васильевичем актера Патрикеева не так уж и много преувеличения: «– Так, – сказал Иван Васильевич, живо сверкая глазами сквозь лорнетные стекла, – это никуда не годится.

Я ахнул в душе, и что-то в животе у меня оборвалось. Я не представлял себе, чтобы это можно было сыграть хоть крошечку лучше, чем сыграл Патрикеев. <...>

– Пламенная любовь, – продолжал Иван Васильевич, – выражается в том, что мужчина на все готов для любимой, и приказал: – Подать сюда велосипед!

<...> Бутафор выкатил на сцену старенький велосипед с облупленной рамой. Патрикеев поглядел на него плаксиво.

– Влюбленный все делает для своей любимой, – звучно говорил Иван Васильевич, – ест, пьет, ходит и ездит...

<...>

– ...так вот, будьте любезны съездить на велосипеде для своей любимой девушки, – распорядился Иван Васильевич и съел мятную лепешечку.

Я не сводил глаз со сцены. Патрикеев взгромоздился на машину, актриса, исполняющая роль возлюбленной, села в кресло, прижимая к животу огромный лакированный ридикуль. Патрикеев тронул педали и нетвердо поехал вокруг кресла, одним глазом косясь на суфлерскую будку, в которую боялся свалиться, а другим на актрису.

В зале заулыбались.

– Совсем не то, – заметил Иван Васильевич, когда Патрикеев остановился, – зачем вы выпучили глаза на бутафора? Вы ездите для него?

Патрикеев поехал снова, на этот раз оба глаза скошив на актрису, повернуть не сумел и уехал за кулисы»<sup>14</sup>.

Если учесть, что прообразом Патрикеева является М.М. Яншин, большой актер, которому предстояло сыграть в «Днях Турбиных» Лариосика, то можно представить себе, что на самом деле предстояло испытать ему

<sup>13</sup> Германова, М.Н. Цит. соч. – С. 112.

<sup>14</sup> Булгаков, М.А. Цит. соч. – С. 536–537.

во время репетиций пьесы, в которой не нашлось места ни В.И. Качалову, ни Л.М. Леонидову. И грустным комментарием к этой разухабисто веселой сцене звучит горькое германовское: «А тогда чувство, что не любил он (Станиславский. – А.Ф.) актеров, так и оставалось навсегда у них»<sup>15</sup>.

Так становится понятно, что горечь смешной булгаковской книги – результат вовсе не личной обиды, а многолетних наблюдений изнутри за жизнью, может быть, самого великого русского театра в переломную для него эпоху.

### 5. ...и Пушкин – акмеист?

Совпадения в текстах fiction и non-fiction иногда бывают настолько разительными, что поневоле задаешься вопросом: а совпадение ли это?

Вот, например, сцена чтения Грибоедовым трагедии «Грузинская ночь» в романе Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара»: «Он взял листки и начал их перебирать. Трагедия была прекрасна.

Она должна была врезаться в пустяшную петербургскую литературу словом важным и жестоким. <...> Совсем один он перечитывал у камина, вполголоса, стихи.

Тут он заметил, что Сашка (лакей. – А.Ф.) стоит и слушает.

– Что слушаешь, франт? – спросил Грибоедов. – Нравится?

– Очень сердитая старуха, – ответил Сашка, – смешно она ругается.

В трагедии были жалобы страшной матери, у которой отняли сына-крепостного, старухи, подобной Шекспировой ведьме.

Грибоедов подумал.

– Да ты что, читаешь что-нибудь? – спросил он Сашку.

– Читаю, – ответил Сашка.

Он вынул из кармана слежалый песельник, что ли.

Мне волшебница, прощаясь,

Подарила талисман.

Сашка прочел строки четыре и ухмыльнулся.

– Что ж, тебе нравится?

– Нравится.

<...>

– Ну а стихи, что я читал?

– Вы не стихи читали, Александр Сергеевич, – поучительно сказал Сашка, – стихи это называется песня, а у вас про старуху»<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Германова, М.Н. Цит. соч. – С. 112.

<sup>16</sup> Цит. по изд.: Тынянов, Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара // Ю.Н. Тынянов. Собрание сочинений: в 3 т. – М., 2006. – Т. 2. – С. 156–157.

Конфликт между тыняновским Грибоедовым и Сашкой Грибовым вызван разницей во вкусах: Вазир-Мухтар предпочитает классицистическую трагедию, а его служителя интересует «песня», воплощенная в пушкинских легких строках. Это отражает, как известно, и реальный конфликт, реальное эстетическое противостояние начала XIX в., в котором Грибоедов и Пушкин оказывались по разные стороны баррикад. Историк русской литературы Юрий Тынянов блестяще отразил это в своем романе.

А вот сцена, описанная другим историком литературы и литературным критиком (добавим: и мемуаристом) – Виктором Шкловским: «Поражения и победы, победы стратегические и тактические, спутаны в искусстве.

Победитель Маяковский приехал раз в Ленинград. Он читал в Белом зале Дома искусств, потом пошли пить чай в совершенно дурацкую библиотеку со шкафами из красного дерева и цветного стекла. Внесли большой поднос, на котором стояли стаканы чая. <...>

Чай нес служитель Ефим; кажется, нет его теперь в живых.

Маяковский был разговорчив после успеха.

– Что, Ефим, – сказал он, – у вас так не умеют?

– Я, Владимир Владимирович, – ответил Ефим, – предпочитаю акмеистов.

Здесь сражение не было выиграно»<sup>17</sup>.

Можно было бы сказать, что Тынянов переложил в язык исторического романа конфликт ему современный. Но...

Но «Смерть Вазир-Мухтара» писалась в 1927–1928 гг. А критическая статья Виктора Шкловского «Юго-Запад» была впервые опубликована в «Литературной газете» 5 января 1933 г. Бывают, подумает читатель Пушкина, странные сближения?

Не думаю.

Сходство коллизий усугубляется и сходством тех эстетических позиций, которые занимают в данном случае персонажи обоих «анекдотов» (мы имеем дело именно с этим жанром). Футурист Владимир Маяковский, пытающийся низвергнуть пушкинскую гладкость речи и легкость стиха с корабля современности, весьма близок младоархаисту Александру Грибоедову, осуждающему «песенный» стих – пушкинский. А акмеисты в этой системе координат, соответственно, являются наследниками поэтической традиции Протея Пушкина.

Шкловскому, столь же тонко чувствовавшему эволюцию литературных школ, как и Тынянов, это должно было казаться очевидным.

<sup>17</sup> Цит. по изд.: Шкловский, В.Б. Перекресток // В.Б. Шкловский. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). – М., 1990. – С. 471.

Маяковского же к моменту написания «Юго-Запада», как и Грибоедова к моменту написания «Смерти Вазир-Мухтара», в живых уже не было. Можно было придумывать анекдоты.

Виктор Борисович Шкловский, как известно, искусство это – придумывать анекдоты – ценил очень высоко. И сам был хорошим рассказчиком, умевшим ставить пуант. В данном случае он тоже поставил его вовремя и точно. О реакции Маяковского мы не узнаем.

Реакцию же Вазир-Мухтара Юрий Николаевич Тынянов рисует психологически очень точно: «– Ну пошел, пошел вон, – зашипел на него (на Сашку. – А.Ф.) Грибоедов, – чего ты, в самом деле, разоврался»<sup>18</sup>.

Действительно – чего?

## 6. По следам Мачехи

После выхода цикла очерков М.С. Петровского «Книги нашего детства»<sup>19</sup> никого не удивляет, например, параллель между Мальвиной и Любовью Дмитриевной Менделеевой-Блок или Карабасом-Барабасом и Всеволодом Мейерхольдом. Ведь, иной раз, хочется найти реального прототипа того или иного сказочного персонажа, давно живущего собственной жизнью. А М.С. Петровский смог это сделать вполне корректно и убедительно, заставляя нас вчитываться повнимательнее и в другие тексты.

Скажем, таковы сказки Евгения Шварца. Его герои настолько выразительны, что придумать их было бы трудно. Нужно иметь чрезвычайно богатую фантазию, а жизнь, как известно, богаче любой фантазии.

Например, Мачеха из киносценария «Золушка», блестяще сыгранная Фаиной Раневской. Не верится, что эта циничная и расчетливая ханжа во всех деталях своего характера и поведения целиком плод авторского и актерского воображения. Должна ведь она была существовать!

Некоторый материал для размышлений на эту тему дают воспоминания одного из ближайших друзей Е.Л. Шварца – Анатолия Мариенгофа, литератора с цепкой памятью и умением видеть смешное даже в самом серьезном человеке.

Вот, скажем, небольшой фрагмент о женах деятелей искусства. А.Б. Мариенгоф описывает, как «Зинаида Райх похлопывала по плечу седовласого Мейерхольда. Это в лучшем случае.

В худшем случае она, как царевококшайская примадонна, орала при актерах и актрисах на своего старого мужа – великого «Доктора Дапертутто»: – Ничтожество!.. – орала она. – Бездарность!..

<sup>18</sup> Тынянов, Ю.Н. Цит. соч. – С. 157.

<sup>19</sup> Петровский, М.С. Книги нашего детства. – СПб., 2006.

Что давало ей это омерзительное право? Кровать? Да?»<sup>20</sup>.

Злая жена, кричащая на мужа, который старше ее, разумеется, сказочный персонаж. Но это совершенно типическая сцена, которая может вполне считаться совпадением и ничем более. Однако в сценарии есть другие совпадения с мемуарами того же Мариенгофа. Правда, в роли Мачехи тут выступает другая, не менее известная театральная дама.

«Я познакомился с Андреевой, – пишет Мариенгоф, – в 1919 году в Кремле на узком писательском совещании, организованном Анатолием Васильевичем Луначарским и Горьким. Как это ни странно, на совещание были приглашены и мы – скандальные лидеры имажинистов: Есенин, Шершеневич, Рюрик Ивнев и я.

Марья Федоровна в глухом длинном шелковом платье была как вылитый из чугуна памятник для собственной могилы. Устроившись в удобном кресле неподалеку от Горького, она записывала каждое его слово в сафьяновую тетрадь. Вероятно, для истории. В Кремле было холодно. Марья Федоровна не сняла с рук лайковые перчатки. В черных ее пальцах сверкал маленький золотой карандашик, прикрепленный к длинной золотой цепочке, переброшенной через шею. То, что говорили другие, в том числе и я, она не записывала. По молодости лет это приводило меня в бешенство»<sup>21</sup>.

Приглашенного «на бал» во дворец – а Кремль в данном случае и есть дворец – молодого писателя Анатолия Мариенгофа раздражает барыня, фиксирующая исключительно слова Горького: безусловно, Горький и для него крупный писатель, но «худший из лучших, самый маленький из самых больших»<sup>22</sup>. И эта «дворцовая» сцена в пересказах оскорбленного литератора в будущем вполне могла превратиться в нечто подобное, скажем, этому эпизоду: «Бальный зал – роскошный и вместе с тем уютный. Гости беседуют, разбившись на группы.

Мачеха Золушки шепчется с Анной и Марианной, склонившись над большой записной книжкой, очень похожей на счетную.

Лесничий дремлет возле.

*Анна.* Запиши, мамочка, принц взглянул в мою сторону три раза, улыбнулся один раз, вздохнул один, итого – пять.

*Марианна.* А мне король сказал: “очень рад вас видеть” – один раз, “ха-ха-ха” – один раз и “проходите, проходите, здесь дует” – один раз. Итого – три раза. <...>

*Марианна.* Такой бал! Девять знаков внимания со стороны высочайших особ!

<sup>20</sup> Мариенгоф, А.Б. Это вам, потомки! // А.Б. Мариенгоф. Это вам, потомки! Записки сорокалетнего мужчины. Екатерина: роман. – СПб., 1994. – С. 99.

<sup>21</sup> Там же. С. 127–128.

<sup>22</sup> Там же. С. 98.

*Мачеха.* Уж будьте покойны, теперь я вырву приказ о зачислении моих дочек в бархатную книгу первых красавиц двора»<sup>23</sup>.

Дремлющий Лесничий вполне стать реминисценцией немолодого и усталого А.М. Горького рядом с бойкой и фиксирующей каждое «высочайшее» слово М.Ф. Андреевой.

Совпадение? Может быть.

Но, вспоминает Мариенгоф, «Марья Федоровна Андреева, жена Горького (после Пешковой и до фрейлины ее величества Бенкендорф) всегда говорила про Никритину (жену Мариенгофа, актрису. – А.Ф.):

– Моя дочка!»<sup>24</sup>.

Удочерила, значит. Мачехой стала. Как стала мачехой для сына Горького, Максима Пешкова. И это при том, что у нее были собственные дети.

Правда, Андреева была мачехой, скорее, незлой. «Марья Федоровна пленилась (вероятно, от смешного, от неожиданного) очень тоненькой гимназисточкой четвертого класса, у которой было слишком много черных глаз и слишком мало носа (Аней Никритиной. – А.Ф.). Настолько пленилась, что даже поставила в ее бедную комнату роскошный рояль, взятый где-то напрокат.

– Нюрочка хочет учиться на фортепьяно... Так вот!»<sup>25</sup>.

И всю энергию свою Андреева пытается направить, скорее, для помощи людям, а не для удовлетворения собственных амбиций: так, после Октябрьской революции, по словам весьма иронично относившегося к ней А.Н. Бенуа, «она вся ушла в спасение “жертв большевиков”. На днях она побывала в Крепости (с разрешения, лично ею испрошенного у Ленина), дабы самой удостовериться, что “они живы” (при этом рокамболический рассказ о том, как она предотвратила какой-то чудовищный заговор против них, заключавшийся в провокации узников к бегству, во время которого они были бы схвачены, а далее – гильотина – так и было сказано: “гильотина”, не расстрел – эффективнее. О [бывшем министре Временного правительства сахарозаводчике М.И.] Терещенке такой тон, точно сидит сам Христос или Сократ»<sup>26</sup>.

<sup>23</sup> Шварц, Е.Л. Золушка: Киносценарий // Е.Л. Шварц. Бессмысленная радость бытия: Произведения 30–40-х годов. Дневники и письма. – М., 1999. – С. 499.

<sup>24</sup> Мариенгоф, А.Б. Цит. соч. – С. 126.

<sup>25</sup> Там же. С. 126–127.

<sup>26</sup> Бенуа, А.Н. Мой дневник. 1916–1917–1918. – М., 2003. – С. 340. – При этом показательно, что до революции Андреева с подобным же пафосом занималась и революционной деятельностью. Вспоминает актриса Московского Художественного театра Мария Германова, которой довелось играть с Андреевой в «Детях солнца» в 1905 г.: «Марья Федоровна Андреева была вся в революционных тонах. Зачем-то носила всегда с собой револьвер, чем до смерти пугала Марью Алексеевну – парикмахершу, которая боялась войти к ней в уборную, и когда причесывала ее, то все с опаской

Могла ли Андреева реально спасти обреченных узников от почти неизбежной смерти? А.Б. Мариенгоф рассказывает о ней «еще один не анекдот.

Ленин, работая в своем кремлевском кабинете над срочным докладом, никого не принимал.

Мягко вошел секретарь и полусшепотом сообщил:

– Владимир Ильич, в приемной товарищ Андреева.

– Кто?.. – рассеянно спросил Ленин, не поднимая глаз от блокнота.

– Товарищ Андреева, Владимир Ильич, – повторил секретарь.

Ленин вскинул голову:

– Марья Федоровна?

– Да, Владимир Ильич. Может быть, сказать ей, что у вас срочная работа и вы никого не принимаете?

– Что вы, что вы, помилуйте! Немедленно впустите. Ведь у нее громадные связи.

Когда Марья Федоровна вошла в кабинет, Владимир Ильич стоял, приглаживая бородку»<sup>27</sup>.

Связи у золушкиной Мачехи таковы, что им и Андреева могла бы позавидовать. Как и лесничиха, Мария Федоровна вполне могла бы сказать о себе: «Я работаю как лошадь. Я бегаю, хлопочу, очаровываю, ходатайствую, требую, настаиваю. <...> у меня столько связей, что можно с ума сойти от усталости, поддерживая их»<sup>28</sup>. Правда, как отвечает в финальном монологе Мачехе сказочный Король сказочного королевства, «связи связями, но надо же и совесть иметь»<sup>29</sup>. Упрек справедливый теоретический, но, конечно, не слишком предъявляемый к Марии Андреевой: у той совесть была.

---

косилась на муфту, в которой револьвер лежал. Куда-то все срочно и таинственно уезжала, и не просто, а на паровозе, на репетициях и спектаклях только и говорила, что про митинги, и забастовки, и обыски, и прочие приятные аксессуары революции» (Германова, М.Н. Цит. соч. – С. 104).

<sup>27</sup> Мариенгоф, А.Б. Цит. соч. – С. 129. – Лев Никулин, работавший в подчинении у М.Ф. Андреевой в период, когда она руководила петроградскими театрами, приводит этот анекдот в несколько ином виде: «Приезжая по делам в Москву, Мария Федоровна, с разрешения Владимира Ильича, пользовалась его автомобилем. В те времена автомобилей было мало и получить машину для приезжего петроградского работника было нелегко. Как-то Мария Федоровна задержалась дольше, чем следовало, и когда Владимиру Ильичу понадобилась машина – ее не было на месте. Об этом доложили и притом заметили, что больше предоставлять машину Андреевой не будут. Ильич усмехаясь сказал:

– Оставьте Марию Федоровну. У нее такие связи...» (цит. по изд.: Никулин, Л.В. Товарищ Андреева // Мария Федоровна Андреева: Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. – М., 1962. – С. 453).

<sup>28</sup> Шварц, Е.Л. Цит. соч. – С. 486–487.

<sup>29</sup> Там же. С. 517.



Хотя, конечно, сходство Марии Федоровны со шварцевской Мачехой можно искать и дальше.

Вот, скажем, описывает А.Б. Мариенгоф «восстание» некоего товарища Файнгора<sup>30</sup>, присланного в берлинское торгпредство, где проводит закат своей партийной карьеры Мария Андреева. Все сослуживцы, приветствуя бывшую генеральшу, при встречах и прощаниях целуют ей ручку. «Не чересчур умный, но чрезвычайно принципиальный (что нередко совпадает) товарищ Файнгор счел контрреволюцией это “прикладывание к ручке”»<sup>31</sup>. И целовать отказался. Даже не смотря на то, что Марья Федоровна не поддалась попытке опустить протянутую ею к самому лицу «повстанца» руку с уровня рта на уровень нормального рукопожатия.

«Снисходительно улыбнувшись, Марья Федоровна сказала погромче обычного:

– Не бойтесь. Прикладывайтесь. Эту ручку Владимир Ильич целовал.

И товарищ Файнгор приложился. Да как! – с чмоком»<sup>32</sup>.

Можно было лишь представить, сколько «товарищей» имели возможность поцеловать «с чмоком» ее «изящные, отманикюренные пальчики», прикладываясь к ее «благоухающей ручке»<sup>33</sup>! Но, с другой стороны, и золушкина Мачеха тщательно следит за красотой своих ногтей: «Кто превратил наши ногти в лепестки роз? Добрая волшебница, у дверей которой титулованные дамы ждут неделями. А к нам волшебница пришла на дом»<sup>34</sup>.

И так продолжать можно бесконечно. Ибо и добро, и зло – бесконечны. Как в сказке.

В реальности же можно возразить, что образ Мачехи, конечно, предельно типизирован. Но не исключено, что детальки для его создания подсказали Шварцу многие «придворные дамы» Кремля. Скажем, фигура «рослой, суровой, хмурой женщины»<sup>35</sup> вполне могла быть подсказана Ольгой Давыдовной Каменевой, «grande dame революции по части театров, выставок картин и т.д.»<sup>36</sup>, сестрой Л.Д. Троцкого и женой Л.Б. Каменева: «дама высокого роста с темным лицом, с выражением “саламандры”, не без претензии одетая во все черное. <...> Это та же Мария Федоровна А[ндреева], но еще более уверен-

<sup>30</sup> Возможно, речь идет о научном сотруднике Института мирового хозяйства и мировой политики Исахаре Моисеевиче Файнгоре, к тому времени уже однажды исключенном из партии и восстановленном в ней только после вмешательства академика Е.С. Варги.

<sup>31</sup> Мариенгоф, А.Б. Цит. соч. – С. 128.

<sup>32</sup> Там же. С. 129.

<sup>33</sup> Там же. С. 128.

<sup>34</sup> Шварц, Е.Л. Цит. соч. – С. 486.

<sup>35</sup> Там же.

<sup>36</sup> Зайцев, Б.К. Каменев // Б.К. Зайцев. Собрание сочинений: в 5 т. – Т. 6 (доп.): Мои современники: Воспоминания. Портреты. Мемуарные повести. – М., 1999. – С. 323.

ная в себе, вероятно, à la longue (при длительном общении, фр. – А.Ф.) еще более несносная»<sup>37</sup>.

Однако, боясь показаться читателю сказочно несносным, автор прерывает перечислять супруг большевистских бонз, претендовавших на некоторую роль в управлении советским государством. Супруги эти вполне могли слиться в единый образ, который Е.Л. Шварц и сделал Мачехой своей Золушки. Кто желает убедиться – смотрите на экран.

### **7. «На башне спорили химеры, которая из них...»**

Тетралогия Марка Алданова «Мыслитель» начинается, как известно, прологом, не имеющим формально ничего общего с последующим содержанием этого крупного исторического полотна. Действие трех романов и завершающей эпопею повести объемлется одной жизнью – жизнью Наполеона Бонапарта. Вернее, даже историей его восхождения на вершины славы. Первый роман, «Девятое термидора», посвящен падению якобинской диктатуры; повесть «Святая Елена, маленький остров» – кончине бывшего императора.

Начинается же тетралогия с приезда молодого русского боярина Андрея Кучкова в Париж времен короля Филиппа II Августа, правившего на рубеже XII–XIII вв. Именно в этот период завершается строительство собора Парижской Богородицы, на крыше которого, как известно, расположены скульптуры химер, одна из которых и дала название произведению Алданова: «На перилах сидело каменное чудовище. <...>

– Да это что ж такое: зверь рогатый и горбоносый? – спросил с недоумением рыцарь, не сводя глаз со статуи.

– Мыслитель, – ответил медленно ваятель. – Дьявол-мыслитель... <...>

– Нет, брат, это ты напрасно изваял, – сказал с укором монах, – это насмешка и грех.

– Не насмешка, – ответил глухо ваятель. – Я не стал бы смеяться над самим собою...

– Какой страшный! – повторил Кучков. – Губа, как у лютого зверя. А глаза-то!.. И язык высунул от удовольствия... Чему он радуется?»<sup>38</sup>.

Радуется химера, судя по всему, удачно сформулированной автором загадке. Вернее, двум загадкам.

<sup>37</sup> Бенуа, А.Н. Цит. соч. – С. 407. – Показательно, что А.Н. Бенуа, хорошо знавший и М.Ф. Андрееву, и О.Д. Каменеву, сравнивает их между собой.

<sup>38</sup> Алданов, М.А. Девятое термидора // М.А. Алданов. Собрание сочинений: в 6 т. – М., 1991. – Т. 1. – С. 47–48.

Первая состоит в том, что, обычно точный в деталях<sup>39</sup>, исторический романист М.А. Алданов в данном случае сознательно допускает анахронизм, пуская читателя по заведомо ложному следу. В предисловии к третьему изданию романа «Девятое термидора» он пишет: «Общее заглавие трилогии дает химера “Le Penseur” (иначе “Le Diable Penseur”), находящаяся на вершине собора Парижской Богоматери»<sup>40</sup>. Однако химера «Мыслитель» («Дьявол Мыслитель»), как и все остальные скульптуры химер, украсила собой крышу собора Парижской Богоматери лишь в середине XIX в., по инициативе руководившего реставрационными работами архитектора Э.Э. Виолле-ле-Дюка. То есть, во времена Филиппа Августа ее попросту не было.

Как не было ее и в момент создания романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», опубликованного, как известно, в 1831 г. Тем не менее современные исследователи – например, Н.В. Кармацких (Горянская) – считают, что «отсылки к роману В. Гюго обнаруживаются в тетралогии при описании соборных статуй»<sup>41</sup> – при этом исключение для «Мыслителя» не делается.

Вторая загадка – в том, что как сам Алданов пытался понять развитие русской революции, опираясь на исторический опыт, так и другой мыслитель, автор работ «Смысл истории» (1923) и «Новое средневековье (Размышление о судьбе России)» (1924), параллельно ему занимался тем же, одновременно собирая материал для еще одной своей книги – «Истоки и смысл русского коммунизма» (1938). Этим мыслителем был Николай Бердяев.

Алданов – пессимист. Поэтому ирония дьявола-мыслителя ему понятна: как бы ни бился, пытаясь изменить свою судьбу, род человеческий, ничего хорошего из этих попыток получиться попросту не может. Все повторяется, и то, что кажется великим одному отдельно взятому человеку, с точки зрения Истории оказывается ничтожным. Собственно говоря, об этом свидетельствует финальная сцена тетралогии, когда старый малаец пытается понять, почему салютуют над могилой Наполеона.

«– Эх, видно, выжил ты, брат, из ума, – ответил со смехом повар. – Не знаешь, кто такой был Наполеон Бонапарт? Да он весь мир завоевал, людей сколько переколотил, – как его не знать? Все народы на свете победил, кроме нас, англичан... <...>

<sup>39</sup> «Алданов любил разговоры исторические. <...> У него была отличная память, с цитатами и фактами он обращался очень осмотрительно» (см.: Адамович, Г.В. Собрание сочинений. «Комментарии». – СПб., 2000. – С. 480).

<sup>40</sup> Алданов, М.А. Девятое термидора // М.А. Алданов. Собрание сочинений: в 6 т. – М., 1991. – Т. 1. – С. 39.

<sup>41</sup> Кармацких, Н.В. Французская революция в художественном сознании М. Алданова (на примере тетралогии «Мыслитель») // <http://www.tmlib.ru/DbFileHandler.axd?1986>. – С. 6.

Малаец <...> усмехнулся невежеству повара, который явно что-то пугал: ибо великий, грозный раджа Сири-Три-Бувана, знаменитый джангди царства Менакбабу, победитель радшанов, лампонов, баттакров, даяков, сунданезов, манкасаров, бугисов и эльфуров, скончался очень давно, много лет тому назад, задолго до рождения отца Тоби и отца его отца, которых да накормят лепешками, ради крокодила, сотрясатель земли Тати и небесный бог Ру»<sup>42</sup>.

Однако эта «усмешка малайца» – вполне сродни высунутому языку, издевательской гримасе, которая появляется в самые трагические и одновременно переломные моменты Истории и, соответственно, романов Алданова. Так, например, первый из романов – «Девятое термидора» – просто завершается изображением химеры с высунутым языком<sup>43</sup>. Язык в припадке истерического смеха показывает гвардейцам, бегущим спасать уже убитого императора Павла I, центральный персонаж тетралогии, Юлий Штааль<sup>44</sup>. Однако самая кошмарная гримаса адресована признанному герою, адмиралу Горацио Нельсону: к нему является с того света с высунутым языком казненный по его приказу герцог Караччиоло<sup>45</sup>.

<sup>42</sup> Алданов, М.А. Святая Елена, маленький остров // М.А. Алданов. Собрание сочинений: в 6 т. – М., 1991. – Т. 2. – С. 389–390.

<sup>43</sup> «<...> Вот она, Робеспьера добродетель, ради которой лилась потоками кровь. Эти люди страстно ненавидели друг друга. Их примирила общая яма на кладбище. Но кто же, кто же был прав, где смысл кровавой драмы? Или смысл именно в том, что совершенно нет смысла?

Нет, того не может быть, – сказал себе Штааль. – Не может быть! Я молод, я мало знаю! Далеко ли я ушел по пути великого Декарта? Я еще не понял ни жизни, ни истории, ни революции. Смысл должен быть, смысл глубокий и вечный. Мудрость столетий откроется мне позднее... Я пойду в мир искать ее!»

Он быстро повернулся, чтобы сейчас же идти в мир...

В двух шагах от него на перилах сидело каменное чудовище. Опустив голову на худые руки, наклонив низкую шею, покрытую черной тенью крыльев, раздувая ноздри горбатого носа, высунув язык над прямой звериной губой, бездушными, глубоко засевшими глазами в пропасть, где копошились люди, темный, рогатый и страшный, смотрел Мыслитель» (Алданов, М.А. Девятое термидора // М.А. Алданов. Собрание сочинений: в 6 т. – М., 1991. – Т. 1. – С. 316).

<sup>44</sup> «Он (Штааль. – А.Ф.) пробежал, не останавливаясь, по внутренним покоем. Везде вспыхивали огни. Михайловский замок просыпался. Спереди несся гул голосов, крики, тяжелый, быстро приближающийся топот. По зале с ружьями наперевес бежали великаны преображенцы царского батальона. Впереди их был старый солдат с очень мрачным и решительным выражением на лице. “Поздно!” – захохотал Штааль, высунув язык» (Алданов, М.А. Заговор // М.А. Алданов. Собрание сочинений: в 6 т. – М., 1991. – Т. 2. – С. 290).

<sup>45</sup> «Тело казненного мятежника поднялось со дна залива. В воде, в нескольких саженях от корабля, медленно пошатывался герцог Караччиоло. Распухший труп в почти вертикальном положении, лишь чуть наклонившись набок, высовывался из воды

Таким же историческим пессимистом можно считать и Н.А. Бердяева. Он писал в письме Э.Ф. Голлербаху: «Одно только для меня несомненно: личная судьба не может быть выделена из судьбы национальной, общечеловеческой и мировой, каждый человек несет ответственность за всех и за вся. Величайшая иллюзия думать, что находишься вне круговой поруки, потому что исповедуешь какие-нибудь учения, выделяющие из мира, напр[имер] толстовство. И Пахом несет вину, хотя бы он был самым крайним пацифистом. В национальном организме находится не только тот, кто признает идею национальности, но всякий живущий. Анархист также пользуется государством и также ответствен за государство, как и любой государственный. Вопрос этот решается не состоянием сознания лица, а объективной его принадлежностью к миропорядку, к национальному и государственному бытию. Даже святой в пустыне не может уйти от круговой поруки»<sup>46</sup>. Для Бердяева История – процесс, в котором есть вина каждого, но нет индивидуальной возможности что-либо изменить.

О.И. Лагашина в своей статье, посвященной полемике М.А. Алданова с Н.А. Бердяевым, ограничивается исключительно алдановским философским трактатом «Ульмская ночь» (1953)<sup>47</sup>. На наш взгляд, спор двух авторов, исследовавших истоки русской революции, пытавшихся постичь ее, а стало быть, и найти ответ на мучительный вопрос: а можно ли было ее избежать – начался значительно раньше. Спор этот начался уже в «Мыслителе»: как справедливо замечает О.И. Лагашина, бывший марксист Бердяев подспудно защищает собственное прошлое, приписывая изначальной революционной анархии некий высший, почти мессианский смысл. Для Алданова же очевидна и вторичность марксистской мысли, и тупиковость действий, направленных на ее реализацию.

Мы не знаем, в какой именно момент пришла в голову Алданову мысль назвать свою «историко-контрреволюционную» тетралогию в честь химеры, высунувшей язык. Однако труды Бердяева, посвященные осмыслению русской революции, ее истоков и перспектив, печатались в том же журнале «Современные записки», что и историческая проза М.А. Алданова. Можно сказать, однако, что в своих книгах Алданов словно проиллюстрировал поиски

по шее, странно выдвинув вперед связанные руки. В волосах его повисло что-то зеленое. Между оскаленными зубами торчал громадный язык. На голой шее болтался размокший тонкий обрубок веревки» (Алданов, М.А. Чертов мост // М.А. Алданов. Собрание сочинений: в 6 т. – М., 1991. – Т. 1. – С. 537).

<sup>46</sup> Бердяев, Н.А. Письмо Э.Ф. Голлербаху от 17 августа <1915> г. (цит. по изд.: Письма Н.А. Бердяева к Э.Ф. Голлербаху / Вступительная статья и публикация А.Б. Блюмбаума и Г.А. Морева. Комментарии Г.А. Морева // Минувшее: Исторический альманах. 14. – М.; – СПб., 1993. – С. 401–402).

<sup>47</sup> См.: Лагашина, О.И. Марк Алданов и миф о русской идее // Культура русской диаспоры: Эмиграция и мифы: сб. ст. – Таллинн, 2012. – С. 170–186.

Бердяева: в 1950 г. он опубликовал роман «Истоки», посвященный как раз истокам русского коммунизма – как «Мыслитель» иллюстрировал вторую часть названия бердяевского трактата: «смысл».

И здесь есть еще одно странное совпадение – если, конечно, совпадение.

У Бердяева был «физический дефект <...>, к которому все <...> привыкли <...>: во время речи у него изо рта далеко вываливался его большой мясистый язык»<sup>48</sup>. Как отмечала О.А. Бессарабова в дневниках, при этом «приподнимаются высоко брови, и судорога лицевых мускулов делает как бы маску усмешки»<sup>49</sup>. Эта маска усмешки, подчеркнутая автором дневника, еще более усиливает сходство двух мыслителей – дьявола и Бердяева.

### **8. Речь шла не о Жданове или Суслове...**

В заключительной части алдановской тетралогии есть сцена, значение одного – формально всем хорошо понятного – слова нуждается, на наш взгляд, в историческом комментарии, который отсутствует в современных переизданиях, как, впрочем, отсутствовал он и в прижизненных публикациях.

Приведем интересующий нас фрагмент полностью.

«Разговор вернулся к политике. Граф Монтолон спросил, думает ли его величество, что французскую революцию можно было предупредить.

– Трудно было, очень трудно, – ответил после некоторого молчания Наполеон. – Следовало убить вожаков и дать народу часть того, что они ему обещали... Надо было также позолотить цепи: народ никогда не бывает свободен – и слава Богу! Но позолоченных цепей он не замечает... Революция – грязный навоз, на котором вырастает пышное растение. Я овладел революцией, потому что я ее понял. Я взял от нее все, что было в ней ценного, и задушил остальное. Заметьте, я сделал это, не прибегая к террору. Править при помощи несчетных казней, как Робеспьер, может не очень долго каждый дурак. Но вряд ли кто, кроме меня, мог успокоить Францию без гильотины. Вспомните то время... Тысячелетняя монархия пала в прах... Все было сокрушено, уничтожено, испачкано. Я поднял свою корону из лужи.

Он задумался.

<sup>48</sup> Гюнтер, И. фон. Жизнь на восточном ветру: Между Петербургом и Мюнхеном. – М., 2010. – С. 125. – Ср.: «Н.А. Бердяев страдал <...> тиком и во время волнения несколько неестественно высывал язык» (Чулков, Г.И. Годы странствий. – М., 1999. – С. 95).

<sup>49</sup> Бессарабова, О.А. Дневники. 1915–1925 // Марина Цветаева – Борис Бессарабов. Хроника в документах; Дневники Ольги Бессарабовой. 1915–1925. – М., 2010. – С. 185.

– Да, революция – страшная вещь, – заговорил он снова. – Но она большая сила, так как велика ненависть бедняка к богачу... Революция всегда ведь делается ради бедных, а бедные-то от нее страдают больше всех других. Я и после Ватерлоо мог бы спасти свой престол, если б натравил бедняков на богачей. Но я не пожелал стать королем жакерии... Я наблюдал революцию вблизи и потому ее ненавижу, хотя она меня родила. Порядок – величайшее благо общества. Кто не жил у нас в 1794 году, кто не видел резни, террора и голода, тот не может понять, что я сделал для Франции. Все мои победы не стоят усмирения революции... Так далеко вперед, как я в ту пору, никто никогда не заглядывал. А понимаете ли вы, что такое значит в политике заглядывать вперед? О прошлом говорят дураки, умные люди разговаривают о настоящем, о будущем толкуют сумасшедшие... Смелый человек обыкновенно пренебрегает будущим. Впоследствии я редко заглядывал вперед больше чем на три или на четыре месяца. Я узнал на опыте, насколько величайшие в мире события зависят от его величества – случая...

Граф Монтолон почтительно заметил, что *идеологи* никогда не поймут великой исторической роли императора.

– Идеологи! – сказал Наполеон с презрением. – Идеологи... Адвокаты... Вот терпеть не могу эту породу... Всякий раз, когда я вижу адвоката, я жалею, что людям больше не режут языков. Пока идеологи говорили умные речи, я ловил счастье в больших делах. Успех – величайший оратор в мире... И к чему только господа адвокаты стали заниматься революцией? Много они в ней смыслят! Править в революционное время можно только в ботфортах со шпорами... Правда, кроме ботфортвов требуется еще и голова: одни ботфорты имел и генерал Лафайет.

– Герой Старого и Нового континента, – с усмешкой произнес Монтолон прозвище знаменитого деятеля Американской и Французской революций.

– Дурак Старого и Нового континента, – сердито сказал император<sup>50</sup>.

Автор выделяет курсивом слово «идеологи», обращая на него внимание своего читателя. Конечно, Марк Алданов имеет в виду, прежде всего, современного ему читателя, а не нас – потомков. Однако, как нам кажется, высока вероятность того, что и многие современники не понимали, что имеет в виду Алданов.

В словаре Д.Н. Ушакова, отражающем, по нашему мнению, наиболее адекватно то значение слов, которое было общепринятым во времена М.А. Алданова, слово «идеолог» имеет следующее значение: «ИДЕОЛОГ, а, м. (книжн.). Представитель и защитник какой-н. идеологии, руководитель какого-н. идеологического направления. *И. марксизма.* || Человек, занятый

<sup>50</sup> Алданов, М.А. Святая Елена, маленький остров // М.А. Алданов. Собрание сочинений: в 6 т. – М., 1991. – Т. 2. – С. 369–370.

только отвлеченными мыслями, теоретик»<sup>51</sup>. Оно практически соответствует тому значению, которое вкладывает в него любой читатель, не знакомый с реалиями наполеоновской Франции. Однако очевидно, что Наполеон у Алданова в данном случае имеет в виду нечто совсем иное: не случайно рядом со словом «идеологи» в его монологе появляется и слово «адвокаты» – как явления одного смыслового поля.

Наполеон имеет в виду философскую школу, к которой принадлежали многие его оппоненты: Кабанис, Вольней, Дестют де Траси, привыкшие в соответствии с традицией рационализма искать суть вещей, их причины. В принятой ими системе, вполне сопоставимой с «адвокатской» (ибо кому, как не юристам, пристало искать причины и следствия явлений человеческой жизни, отдельных, кажущихся внешне случайными, поступков), не оставалось места для гения – Гения Индивидуальности, каковым, несомненно, считал себя и реальный, и романский Бонапарт. Причем – считал совершенно заслуженно.

С ними он и спорит на заключительных страницах алдановской тетралогии. С ними – а не со Ждановым, Сусловым или даже Бухариным. Мелковаты партийные идеологи для императора Франции.

## ***9. Продолжение следует...***

---

<sup>51</sup> Идеолог // Толковый словарь русского языка: в 4 т. – М., 1935. – Т. 1: А–Кюрины. – Стб. 1133.



### **III. ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ**

## «КАЗНИТ ЗЛОДЕЯ ПРОВИДЕНЬЕ...»: образ палача в литературе романтизма

Вопрос о соотношении жизни и смерти как явлений общественно значимых в эпоху романтизма совершенно иначе заставил оценивать и процесс умирания (гибели) частного лица в результате общественного вмешательства – проще говоря, процесс казни в совокупности с предшествующей ей процедурой суда.

В настоящих заметках автор попытается воссоздать специфику того, как и почему оценивают палача (не всегда – профессионального) писатели-романтики, какие этические аспекты его социальной функции выходят для них на передний план и как при этом меняется собственное отношение автора к персонажу, взявшему на себя роль этого «исполнителя приговора».

### *1. Слуга госпожи Гильотины*

Справедлива характеристика, данная смертной казни Альбером Камю: «Высшая мера наказания веками была фактически религиозной карой. Свершаемая ли именем короля, божьего наместника на земле, или священниками, или от имени общества, которое рассматривалось как некое мистическое тело, она в ту пору нарушала не человеческую солидарность, а принадлежность виновного к божественной общине, единственной подательнице жизни. У него отнималась земная жизнь, но не шанс на исправление. Окончательный приговор еще не произнесен, он должен был прозвучать только на том свете. Религиозные ценности и, в частности, вера в загробную жизнь служили основанием для высшего приговора, ибо, согласно их собственной

логике, он не может быть окончательным и непоправимым. Он оправдан в той мере, в какой является высшим»<sup>1</sup>.

Изначально предполагается, что суд земной – промежуточная инстанция перед судом божественным. Однако поскольку все казненные (и вообще умершие) отправлялись в Великое Небытие (во всяком случае, оставшиеся в живых могли только предполагать, в соответствии со своими верованиями, где именно – в раю ли, в аду, в чистилище – оказался лишенный жизни), окончательным оказывался приговор именно этого суда. И тот факт, что приговор исполнялся публично, то есть уходил *туда* лишь один, признанный виновным, а остальные оставались в живых, – кошмар публичного убийства оборачивался карнавалом, животной радостью оставшихся в живых.

Интерес к публичной стороне смерти неизбежно должен был возрасти после массовых казней эпохи Французской революции<sup>2</sup>. Палач воспринимался как фигура историческая: «Уж он-то наверняка видел гибель королевства и гибель славы. Под его топором склонялись Лалли-Талендаль и Людовик XVI; его топор обрушился на королеву Франции и Мадам Элизabet – на царственное величие и добродетель! Он видел, как простиралась у его ног безмолвная толпа честных людей, безжалостно истребляемых Террором, все громкие имена, все великие умы, все стойкие мужи восемнадцатого столетия; он один осуществил то, о чем мечтали все вместе Марат, Робеспьер и Дантон, он был единственным Богом, единственным королем этой эпохи, не знавшей ни уважения к власти, ни веры, грозным Богом, неприкосновенным королем. Он испробовал кончиками пальцев все разновидности самой благородной крови, от крови юной девушки, оправляющей перед смертью платье, до холодной крови старика; он знал тайну всех видов покорности и всех видов мужества; и сколько раз этот кровавый философ впадал в смущение, видя, как негодяй умирает столь же достойно, как и порядочный человек, как ученик Вольтера подставляет шею с такой же твердостью, что и христианин! Он видел, как дрожит от страха куртизанка на том же помосте, на который твердым шагом взойшла королева Франции. Он созерцал на своем эшафоте все доблести и все преступления: нынче Шарлотта Корде, завтра Робеспьер. Что он мог понимать в истории? И как понимал ее? Это трудный вопрос»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Цит. по изд.: Камю, А. Размышления о гильотине // А. Камю. Изнанка и лицо: Сочинения. – М., 1998. – С. 600–601.

<sup>2</sup> Интерес к гильотине сохранился и до нашего времени – как интерес к любому способу лишения человека жизни: ведь смерть означает переход из Бытия в Небытие. Об этом свидетельствует, например, существование специализированного интернет-сайта, содержащего, помимо прочего, статистику гильотинирования во Франции: guillotine.site.voila.fr.

<sup>3</sup> Жанен, Ж. Мертвый осел и гильотинированная женщина. – М., 1996. – С. 250–251.

Осмысление велось по ряду направлений одновременно. С одной стороны, казнь воспринималась как победа общего над индивидуальным – что естественно было должно вселять в романтиков ужас, поскольку вообще трактовалось как присущее толпе, кровожадной и ненавистной: «Так уж устроен Париж: ему все равно, порок или добродетель, невинность или преступление, – он не справляется о жертве, лишь бы она умерла! Минута агонии на Гревской площади – это самое приятное из всех даровых парижских зрелищ. А ведь эта ужасная Гревская площадь испила столько крови!»<sup>4</sup>.

С другой стороны, было осознание и того, что казнь есть смерть, обусловленная процедурно, а процедура сама по себе – разумна (ведь есть же суд, адвокат, в конце концов, и палач, и возможность – пусть даже относительная – защитить себя перед Богом и людьми). В «Мертвом осле и гильотинированной женщине» Ж. Жанена палач говорит о себе: «Правда, я занимаюсь жестоким ремеслом, но мне служит опорой право, единственно законное право, которое еще никто ни на миг не оспаривал в наше время... Закон сто раз менялся, только я не сменился ни разу, я был неотвратим, как судьба, и силен, как долг; из стольких испытаний я вышел с чистым сердцем, с окровавленными руками и с чистой совестью. Какой судья мог бы сказать о себе так, как говорю я, палач?»<sup>5</sup>. Ему вторит Граф в «Санкт-Петербургских вечерах» Жозефа де Местра: «Елизавета Французская восходит на эшафот, мгновение спустя на него поднимается Робеспьер. И ангел, и чудовище, приходя в мир, попадают под власть всеобщих законов, этим миром управляющих. <...> Каждый человек в качестве человека подвержен всем несчастьям человеческой природы – этот закон универсален, а следовательно, справедлив»<sup>6</sup>. Как справедливо замечает М. Ямпольский, «то, что палач стоит над законом и одновременно является орудием закона, делает его очень сходным с сувереном. Палач оказывается зловещим пародийным двойником властителя»<sup>7</sup>.

В обоих случаях палач рассматривался как человек, обреченный выполнить приговор. Он мог сочувствовать приговоренному, ненавидеть судей и толпу, считать приговор несправедливым, однако социально он был такой же жертвой правосудия, как и казнимый им, хотя бы в силу той ненависти и страха, которые сопровождали его повсюду: «Так что же это за непостижимое существо, способное предпочесть стольким приятным, доходным, честным и даже почтенным занятиям, которые во множестве открыты ловкости и силе человека, ремесло мучителя, предающего смерти себе подобных? Его

<sup>4</sup> Жанен, Ж. Мертвый осел и гильотинированная женщина. – М., 1996. – С. 255.

<sup>5</sup> Там же. С. 252.

<sup>6</sup> Местр, Ж. де. Санкт-Петербургские вечера. – СПб., 1998. – С. 26.

<sup>7</sup> Ямпольский, М. Физиология символического. Кн. 1: Возвращение Левиафана: Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима. – М., 2004. – С. 665.

рассудок, его сердце – так ли они сотворены, как и наши с вами? Не заключено ли в них нечто особенное, чуждое нашему существу? Что до меня, то я не в силах в этом усомниться. Внешне он создан, как мы, он появляется на свет, подобно нам, – и однако, это существо необыкновенное, и чтобы нашлось ему место в семье человеческой, потребовалось особое веление, некое Fiat Всетворящей силы. Он сотворен – как сотворены небо и земля»<sup>8</sup>. «Человек ли это? – Да: Бог принимает его в храмах своих и позволяет молиться. Он не преступник, и однако ни один язык не назовет его, например, человеком добродетельным, порядочным или почтенным. Ни одна моральная похвала к нему не подойдет, ибо все они предполагают отношения к людям, а их у него нет»<sup>9</sup>.

Ненависть и страх, вообще сопровождавшие палача как человека, общественно уполномоченного лишать других людей жизни<sup>10</sup>, неизбежно должны были усилиться после того, как была казнена королевская семья. Десакрализация королевского тела неизбежно сакрализовала (хотя и особенным – негативным – образом) цареубийц. Они оказались в центре общественного внимания. При этом в сознании разделились на цареубийц вольных и невольных – сознательно приговоривших государя к смерти и вынужденно исполнивших этот приговор.

Таким образом, начал эксплуатироваться миф о добром палаче. Противопоставляя невольного убийцу, убийцу по долгу службы – убийцам идейным, судьям эпохи Тррора, авторы признают человечность первого и бесчеловечность вторых: «Сансон, над которым тяготело пятьдесят четыре года жизни и ужасная обязанность, смиренный и утешитель, насколько позволяла ему быть таким его страшная служба, – одному давал совет, другого ободрял и находил христианские слова в ответ на приступы отчаяния»<sup>11</sup>.

Этот миф, на наш взгляд, имел под собой определенную основу – пусть не фактическую, но теоретическую. Палач ближе всего находится к казни-мому в момент, когда тот готовится уйти из жизни. Он слышит его последние слова (зачастую молитву), ощущает его волнение, принимает последний вздох. Он является безграничным господином останков казненного и его имущества. Потому на палача естественно переносились все те чувства,

<sup>8</sup> Местр, Ж. де. Санкт-Петербургские вечера. – СПб., 1998. – С. 31.

<sup>9</sup> Там же. С. 32.

<sup>10</sup> «Едва лишь власти назначат ему обиталище, едва лишь вступит он во владение им, как другие жилища начинают пятиться, пока дом его вовсе не исчезнет у них из виду. В подобном одиночестве и образовавшейся вокруг него пустоте и живет он с бедною своею женой и ребятишками. Он слышит их человеческие голоса – но не будь их на свете, ему бы остались ведомы лишь стоны...» (там же. С. 31).

<sup>11</sup> Дюма, А. Шевалье де Мезон-Руж // А. Дюма. Собрание сочинений: в 35 т. – М., 1994. – Т. 21. – С. 358.

которые на его месте чувствовал бы любой нормальный человек – то есть, прежде всего, сострадание. В «Записках палача», вышедших под именем представителя известной палаческой династии Сансонов, предисловием к которым служил рассказ Бальзака<sup>12</sup> «Случай из времен Террора», тема переживаний человека, приговоренного обществом к лишению жизни других людей, занимает едва ли не главное место, появляется молодой человек, которому палач уступает «право» первому привести в исполнение приговор при помощи гильотины: «– Чтобы достойным образом наградить вас, милостивый государь, за тот высокий патриотизм, который вы проявили, я не нахожу лучшего средства, как уступить вам первую роль при исполнении казни»<sup>13</sup>.

Однако палач желает избавиться молодого «патриота» от необходимости касаться отрубленной им головы, собственноручно демонстрируя ее собравшейся толпе. «С презрением и даже почти с гневом отказался молодой человек от этого предложения; он приподнял кожаную крышку ящика, взял отрубленную голову за волосы, и подошел к краю платформы. Но в то время, когда он стал поднимать руку, чтобы показать свой кровавый трофей, сам упал навзничь.

Все тотчас бросились к нему. Сперва показалось, что с молодым человеком обморок вследствие слишком сильного психологического движения, но впоследствии оказалось, что страшная внутренняя борьба с самим собой успела сделать гораздо больше вреда и обусловила апоплексический удар, как громом поразивший молодого человека»<sup>14</sup>. Палач-доброволец, несмотря на всю его идеологическую мотивированность, оказывается недостаточно стойким в сравнении с палачом-профессионалом и падает жертвой собственных эмоций.

Однако казнь рядового гражданина и казнь короля – события далеко не равнозначные. Сансон в «Записках палача» до конца надеется, что ему удастся избежать этой «почетной» миссии: «Я стал прислушиваться, не услышу ли я какого-нибудь шума, который мог быть сигналом к <...> освобождению... Я утешал себя мыслью, что, быть может, в эту минуту отобьют короля у конвоя и увезут его под защиту преданных ему друзей. Тогда он, по крайней мере, мог бы дожидаться, пока изменится настроение мыслей у непостоянной и быстро меняющей убеждения толпы. Быть может, тогда народ

<sup>12</sup> «Записки эти Бальзак сочинял не один, а вместе с Луи-Франсуа Леритье де л'Эном» (Мильчина, В.А. Примечания // О. де Бальзак. Изнанка современной истории: Избранное. – М., 2000. – С. 440). – Здесь же В.А. Мильчина подробно рассматривает отношение Бальзака к фигуре палача.

<sup>13</sup> Цит. по изд.: Сансон, Г. Записки палача, или Политические и исторические тайны Франции: в 2 кн. – М., 1996. – Кн. 2. – С. 88.

<sup>14</sup> Там же. С. 89.

взял бы его под свое всемогущее покровительство и легко могло быть, что торжественная встреча заменила бы ту казнь, которая теперь приготовлена была королю»<sup>15</sup>.

Стоит обратить внимание на разницу отношения к процедуре казни над королем государственного деятеля Оливера Кромвеля и, так сказать, «приватного мстителя» Мордаунта в романе Александра Дюма «Двадцать лет спустя». Если для Мордаунта принципиально важно лишить короля жизни, то Кромвель думает, прежде всего, о десакрализации института королевской власти: «Раз Карл был осужден, то голову ему отсек не человек, а топор», – говорит Кромвель и, рассказав собеседнику об уготованной королю смерти в случае попытки бегства, продолжает: «Взрыв сделал бы то, чего не захотел сделать топор. Король Карл исчез бы без следа. Стали бы говорить, что он избегнул земного правосудия, но что его постигла Божья кара. Мы оказались бы только его судьями, а палачом его – сам Бог»<sup>16</sup>.

Показательно, как изображается отношение к королю палача во время казни в зависимости от точки зрения, которую избирает для себя автор (повествователь).

«Палачи вновь приблизились к нему. Один из них держал в руках веревку.

– Оставьте веревку! – воскликнул король. – Делайте, что вам приказано! Но вы меня не свяжете никогда, никогда!

Уже завязалась борьба, когда один из трех братьев Сансонов, пожалевший короля, но вынужденный выполнить возложенную на него страшную обязанность, почтительно сказал:

– Сир, мы свяжем вам руки платком.

Король посмотрел на своего духовника. Тот с трудом смог выговорить несколько слов, так он был разбит:

– Сир, – сказал аббат Фирмон, – это лишь создаст сходство между вашим величеством и распятым Богом.

Король воздел глаза к небу с выражением тяжелой скорби.

– Разве что, – вздохнул он. – Его пример подчиняет меня уважению»<sup>17</sup>.

По-иному выглядит та же сцена, когда авторы «Записок палача» глядят на нее глазами пытающегося подарить королю лишнее мгновение жизни Сансона: «Шарлемань обратился к королю и холодным тоном, за которым слышались сдержанные слезы, сказал ему:

<sup>15</sup> Цит. по изд.: Сансон, Г. Записки палача, или Политические и исторические тайны Франции: в 2 кн. – М., 1996. – Кн. 2. – С. 105.

<sup>16</sup> Цит. по изд.: Дюма, А. Двадцать лет спустя // А. Дюма. Собрание сочинений: в 35 т. – М., 1992. – Т. 8. – С. 526.

<sup>17</sup> Дюма, А. Графиня де Шарни // А. Дюма. Собрание сочинений: в 35 т. – М., 1993. – Т. 20. – С. 362–363.

– Связать руки положительно необходимо. Без этого невозможно совершить самый акт казни.

Вспомнив, наконец, свою обязанность и видя затруднительное положение своих братьев, я нагнулся к уху священника и сказал ему:

– Батюшка! Умоляю вас убедить короля. Пока мы будем связывать руки – выиграется время, а почти невозможно предположить, чтобы подобное зрелище не возмутило, наконец, народ.

Священник окинул меня грустным взглядом, в котором в одно и то же время проглядывало и удивление, и недoverчивость, и самоотверженность; потом он обратился к королю и сказал ему:

– Ваше величество! Согласитесь на эту последнюю жертву; посредством ее вы прямо пойдете по следам Христа, который и вознаградит вас за это<sup>18</sup>.

Король тотчас же протянул свои руки, а священник дал ему приложиться к образу Спасителя<sup>19</sup>.

Очевидно, что в «Записках палачах» коллизия на эшафоте, показанная с точки зрения Сансона<sup>20</sup>, изображена с явным сочувствием ко всем ее участникам – палач предстает здесь такой же жертвой обстоятельств, как и король, приговор над которым ему предстоит привести в исполнение. Причем король уже ни на что не надеется, в то время как палач продолжает питать напрасные иллюзии – и оттого он кажется гораздо более жалким, нежели король, которому уже нечего терять и который демонстрирует царственное мужество, думая о внешней – исторической – стороне события (что, на наш взгляд, и было отчасти сверхзадачей повествователя).

В бальзаковском «Случае из времен Террора» палач приходит в храм, чтобы заказать заупокойную мессу по казненному им королю: «– Хорошо, – сказал священник, приходите сегодня в полночь, и я отслужу ту единствен-

<sup>18</sup> Параллель «казнимый – Христос» косвенно проводится и в рассказе Гюго, хотя речь там идет не о коронованной особе: «Толстяк с прыщавым лицом (палач. – А.Ф.) предложил мне понюхать платок, смоченный уксусом» (цит. по изд.: Гюго, В. Последний день приговоренного к смерти // В. Гюго. Собрание сочинений: в 10 т. – М., 1972. – Т. 1. – С. 182). Несмотря на то, что нюхательный уксус должен, по мысли палача, привести приговоренного в чувство, упоминание его, скорее, вызывает в читательском сознании Христа, которому уксус предлагается вместо воды (как небольшая отсрочка казни заменяет приговоренному помилование).

<sup>19</sup> Сансон, Г. Записки палача, или Политические и исторические тайны Франции: в 2 кн. – М., 1996. – Кн. 2. – С. 106.

<sup>20</sup> В «Последнем дне приговоренного к смерти» Гюго палачи показаны глазами чело- века, чью жизнь им предстоит прервать, а потому даже корректность их поведения рисуется в горько ироническом тоне: «Палачи – люди обходительные» (Гюго, В. Последний день приговоренного к смерти // В. Гюго. Собрание сочинений: в 10 т. – М., 1972. – Т. 1. – С. 182).



ную заупокойную мессу, какую мы можем отслужить во искупление злодейства, которое вы имеете в виду...

Незнакомец содрогнулся, но в конце концов спокойная, кроткая радость, кажется, возоблудала над снедавшей его тайной болью. Почтительно простившись со священником и с обеими монахинями и бросив на этих великодушных страдальцев взгляд, исполненный признательности, незнакомец удалился»<sup>21</sup>. В назначенное время он возвращается, чтобы присутствовать при мессе. Возвращается и через год, чтобы вновь отслужить мессу по казненному венценосцу – немалое мужество в эпоху Революции: «Тот, кто орудовал ножом гильотины, оказался единственным мужественным человеком во всей Франции»<sup>22</sup>.

Однако дело, на наш взгляд, не только в личном мужестве. Казня короля, палач преступает через определенную грань: «суверен отражается в палаче, злоеще воспроизводящем инвертированные ритуалы королевской власти»<sup>23</sup>. Фактически, заказывая мессу по казненному им королю, палач молится не столько за него, сколько за самого себя, собственную душу – собственное отражение. Ибо в отличие от короля палач обладает возможностью казнить, не обладая возможностью миловать – в том числе и самого себя, – если рассматривать его как жертву обстоятельств.

Реальный палач по своему статусу относился к социальным низам. Революция уравнивала его с носителями высшей власти и даже поставила выше них: хотя палач не обладал, в отличие от короля, правом карать или миловать, но сам характер применяемых им пыток или сила удара кнута (меча, топора), наконец, возможность промедлить еще мгновение, прежде чем отнять жизнь, делала палача именно на это мгновение властителем судьбы любого представителя привилегированного класса – включая, наконец, и самого короля.

Отсюда и дальнейшая трансформация мифа о «милосердии палача». Оно носило выборочный характер. Палач был милостив по отношению к тем, кто был к нему добр и проявлял естественные человеческие чувства, и в точности исполнял распоряжения суда по отношению к лицам, строго соблюдавшим социальную дистанцию. Так ведет себя мэтр Кабош в «Королеве Марго» А. Дюма: «благородный палач оказывал своему “другу” величайшее одолжение, какое только мог оказать палач – вместо цельных дубовых клиньев великодушный Кабош вколачивал ему (Жоконнасу. – А. Ф.) меж голеней

<sup>21</sup> Цит. по изд.: Бальзак, О. де. Изнанка современной истории: Избранное. – М., 2000. – С. 23.

<sup>22</sup> Там же. С. 32.

<sup>23</sup> Ямпольский, М. Физиология символического. Кн. 1: Возвращение Левиафана: Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима. – М., 2004. – С. 667.

клинья из упругой кожи, лишь сверху обложенные деревом. Этим он избавлял Коконнаса не только от физических мучений, но и от позора вынужденных признаний, сверх того, он сохранял Коконнасу силы достойно взойти на эшафот»<sup>24</sup>. Это вызвано тем, что при знакомстве Коконнас пожал ему руку как равному: «– Мосье, вы единственный дворянин, который пожал мне руку, – ответил Кабош, – ведь у палача есть тоже память и душа, какой он там ни будь палач, а может быть, как раз оттого, что он палач»<sup>25</sup>. Сотоварищ же Коконнаса по несчастью, граф Ла Моль, отказавшийся признать свое равенство палачу, вынужден испытать чашу страданий до дна: «Когда мы были у него, ты пожал ему руку; а я забыл, что все люди – братья, во мне заговорила спесь. Бог наказал меня за мою гордыню, – благодарю за это Бога!»<sup>26</sup>.

Одной из форм проявляемого милосердия становилась выдача останков приговоренного его близким. Именно так поступает Кабош в «Королеве Марго» – отказываясь при этом и от предлагаемых Маргаритой денег: «– Золото! Всегда только золото! – прошептал он. – Увы, мадам! Если бы я сам мог искупить золотом ту кровь, которую я должен был пролить сегодня!»<sup>27</sup>.

Впрочем, к подобному бескорыстию палача сами же романтики относились, порой, весьма иронически – как, скажем, Жюль Жанен, герой которого обращается к палачу с предложением продать останки возлюбленной – предложением, явно не вызывающем у «продавца» каких-либо особенных эмоций.

«– Я всегда слышал, <...> что осужденный, коего предают в ваши руки, принадлежит вам целиком и полностью; я прошу уступить мне одного, он мне очень нужен. <...> После удовлетворения закона вам кое-что остается: тело и голова – именно это я и желал бы купить у вас за любую цену.

– Если речь только об этом, сударь, сделку заключить недолго. <...>

– Мы ждем тебя к обеду, – подхватила жена. Потом, подойдя к нему поближе, шепнула: – Если у нее хорошие черные волосы, прибереги их мне для накладных локонов!

Муж обернулся ко мне.

– Волосы входят в нашу сделку? – спросил он.

– Все входит, – отвечал я. – Туловище, голова, волосы – все, включая пропитавшую их кровь.

Он обнял жену со словами:

– Получишь в другой раз»<sup>28</sup>.

<sup>24</sup> Цит. по изд.: Дюма, А. Королева Марго // А. Дюма. Собрание сочинений: в 35 т. – М., 1992. – Т. 4. – С. 452.

<sup>25</sup> Там же. С. 454.

<sup>26</sup> Там же. С. 456.

<sup>27</sup> Там же. С. 468.

<sup>28</sup> Жанен, Ж. Мертвый осел и гильотинированная женщина. – М., 1996. – С. 253–254.

Следует обратить внимание на то, что сам способ казни – при помощи гильотины – считался в этот период едва ли не наиболее гуманным (машина в отличие от слабого человека отнимала жизнь сразу, не причиняя, по мнению ее изобретателя, излишних мук<sup>29</sup>). Миф о «гуманности» гильотинирования как бы дополняет общую мифологию эшафота: казнь в любом случае остается лишением жизни, а вопрос о правомерности и целесообразности подобного рода наказания остается, мягко выражаясь, дискуссионным<sup>30</sup>. Тем более дискуссионным оставался и мотив «милосердия палача» – своеобразный мифологический оксюморон, соединяющий несоединимое<sup>31</sup>.

Впрочем, сам по себе мотив «милосердия палача» был во многом связан с популярностью другого мотива – мотива «ошибочного приговора»: когда жертву казнят за несовершенно ею преступление (как в «Королеве Марго» Дюма), за преступление, истинные причины которого не были раскрыты судом, а потому приговоренный не смог воспользоваться помилованием («Клод Ге» Гюго), наконец, когда благородство жертвы не может не вызы-

<sup>29</sup> Что, впрочем, сегодня оспаривается. Так, например, Альбер Камю в эссе «Размышления о гильотине» так описывает наблюдения медиков середины XX в.: «Особенно желательным было бы издание и распространение недавнего отчета Академии медицинских наук, составленного докторами Пьедельевром и Фурнье. Эти мужественные медики, приглашенные – в интересах науки – для осмотра тел после казни, сочли своим долгом подвести следующий итог своим чудовищным наблюдениям: “Если нам позволительно высказать свое мнение на сей счет, признаемся: зрелища такого рода невыносимо тягостны. Кровь хлещет ручьем из рассеченных артерий, затем она мало-помалу сворачивается. Мышцы судорожно сокращаются, ошеломляя наблюдателя; кишечник опорожняется, сердце работает с перебойми, через силу. Губы по временам искажаются страдальческой гримасой. Глаза отрубленной головы неподвижны, зрачки расширены; их невидящий взгляд еще не отуманен трупной поволокой, он ясен, как у живых, но смертельно пристален. Все это может длиться много минут, а у субъектов с крепким здоровьем – и часов: смерть наступает отнюдь не мгновенно... Таким образом, все жизненные отправления продолжают и после обезглавливания. Этот кошмарный опыт производит на медика впечатлительные убийственной вивисекции, за которой следует поспешное погребение”» (Камю, А. Изнанка и лицо: Сочинения. – М.–Харьков, 1998. – С. 584).

<sup>30</sup> «Преступника убивают потому, что так делалось столетиями, да и сами эти убийства совершаются в той форме, что установилась в конце XVIII века. В силу своей жесткости мы повторяем аргументы, бывшие в ходу столетия назад, бессмысленная их мерами, которые стали необходимыми с ростом общественной чувствительности. Мы прибегаем к закону, который уже не способен осмыслить, и наши смертники становятся жертвами взбуренных наизусть параграфов и гибнут во имя теории, в которую давно не верят их палачи. Верили бы – у них сжималось бы сердце» (там же. С. 585).

<sup>31</sup> Камю иронизировал: «От гуманистических идиллий XVIII века рукой подать до кровавых эшафотов, а теперешние палачи, как всем известно, сплошь гуманисты» (там же. С. 621).

вать сочувствие. Трактовку некоторых случаев «ошибочного приговора» и судьбы «палача», приведшего в исполнение этот «приговор», мы рассмотрим далее.

## 2. «Несчастливая погибла – жаль!»

Несовершенное преступление было весьма популярным двигателем сюжета в литературе романтизма. Изначально в основе случившегося лежало неоправданное (либо спровоцированное) подозрение, возникшее у главного героя по поводу близкого ему человека. Убежденность в преступлении – иногда сопровождаемое любовной ревностью – пробуждает в герое и чувство оскорбленной справедливости, требующее возмездия. Герой берет на себя функции судьи и палача одновременно.

Вместе с тем следует отметить, что если для массовой литературы был характерен интерес к физиологической стороне казни, то в литературе «высокой» рассматривается преимущественно символическая роль палача – неумолимого орудия Провидения<sup>32</sup>. Здесь на первый план выходит нравственный аспект коллизии «палач – жертва». Как раз физиологической стороне казни мы чаще всего в произведениях «высокого романтизма» и не увидим.

В этом отношении показательна драма «Маскарад» М.Ю. Лермонтова. Ее герой, Евгений Александрович Арбенин, по роковой случайности получает в руки доказательство измены своей возлюбленной жены Нины – браслет, оброненный ею в маскараде и использованный другой женщиной, чтобы сбить с пути назойливого ухажера. Таким образом, Арбенин считает преступление совершенным и доказанным и возлагает на себя одновременно функции судьи и палача, выносящего приговор и осуществляющего его – лишаящего жизни «неверную» жену:

О, я ее люблю,  
Люблю – и так неистово обманут...  
Нет, людям я ее не уступлю...

<sup>32</sup> Вследствие этого создается интересная коллизия с мотивом казни, например, в творчестве Виктора Гюго. Если в «Последнем дне приговоренного к смерти» писатель предстает верным адептом школы «неистового романтизма» и психологическое страдание, явившееся результатом страха перед страданием физиологическим, становится главным предметом изображения, то в позднейшем творчестве его больше будет интересовать именно символика процедуры казни и символическая роль каждого из ее участников. Уже в «Соборе Парижской Богоматери» можно обнаружить, как в роли палача поочередно окажутся Клод Фролло и Квазимодо, причем Фролло – узурпатор, присвоивший себе право судить и вершить приговор, а Квазимодо – палач невольный, но действующий в духе Божия суда: погибший из-за него Фролло – с точки зрения божественной справедливости – не палач, а убийца, заслуживающий, в свою очередь, казни.

И нас судить они не станут...  
Я сам свершу свой страшный суд...  
Я казнь ей отыщу – моя ж пусть будет тут.  
(Показывает на сердце)<sup>33</sup>.

Очевидно, что Арбенин рассматривает себя, прежде всего, как палача, вынужденного подчиниться велению не зависящего от него закона:

Ей, видно, суждено  
Во цвете лет погибнуть, быть любимой  
Таким, как я, злодеем, и любить  
Другого... это ясно!.. Как же можно жить  
Ей после этого!.. Ты, бог незримый,  
Но бог всевидящий, – возьми ее, возьми;  
Как свой залог тебе ее вручаю –  
Прости ее, благослови,  
Но я не бог – и не прощаю!..<sup>34</sup>.

Арбенин – орудие высшей справедливости, и именно поэтому он осознает, что не в состоянии ни отменить, ни смягчить вынесенный им же самим приговор. Точно таким же беспомощным, кстати, осознает себя и его непосредственный предшественник – Фердинанд из «Коварства и любви» Шиллера<sup>35</sup>: «Да, час ее настал! Настал! Высшие силы дают мне на это свое грозное соизволение, суд божий – за меня, ангел-хранитель от нее отлетел»<sup>36</sup>.

Однако убежденность в справедливости вынесенного приговора превращает и Арбенина, и Фердинанда из палачей (то есть лиц, вершащих справедливый суд) в убийц – оба они невольно перешли ту границу, которая и не дает трактовать палача как убийцу<sup>37</sup>: «Палач может убивать и не быть при этом убийцей, сударыня, – возразил человек в красном плаще, ударяя по своему широкому мечу. – Он последний судья, и только»<sup>38</sup>. Осуществле-

<sup>33</sup> Цит. по изд.: Лермонтов, М.Ю. Маскарад // М.Ю. Лермонтов. Полное собрание стихотворений: в 2 т. – Л., 1989. – Т. 1: Стихотворения и драмы. – С. 484.

<sup>34</sup> Там же. С. 484.

<sup>35</sup> «Ученичество у Шиллера было неизбежно для Лермонтова» (см. Дурылин, С.Н. Лермонтов и романтический театр // «Маскарад» Лермонтова: сб. ст. – М.–Л., 1941. – С. 18).

<sup>36</sup> Цит. по изд.: Шиллер, Ф. Коварство и любовь // Ф. Шиллер. Собрание сочинений: в 7 т. – М., 1955. – Т. 1: Стихотворения. Драмы в прозе. – С. 712.

<sup>37</sup> Не случайно, скажем, Александру Дюма для того, чтобы свершить справедливый суд над миледи в «Трех мушкетерах», понадобился именно профессиональный палач – пусть и лично заинтересованный в кровавой развязке. Дюма, как и Гюго, – фигура переходная от «массовой» литературы к литературе «высокой».

<sup>38</sup> Цит. по изд.: Дюма, А. Три мушкетера // А. Дюма. Собрание сочинений: в 35 т. – М., 1992. – Т. 7. – С. 576–577. – Судьей, а не палачом, вероятно, осознает себя и граф де Вольмеранж (повесть Теофиля Готье «Двое на двое»), вынесший приговор своей

ние несправедливого приговора переводит его из разряда судей в преступники<sup>39</sup>. А стало быть, теперь он становится жертвой очередного палача.

В драме Шиллера Фердинанд сам вершит суд над собой, разделив с Луизой отравленный лимонад. Первоначально он видит свою вину в том, что не сумел распознать под английской внешностью Луизы ее преступных аморальных наклонностей. Однако, убедившись в своей ошибке, он рассматривает выпитый яд как наказание за гибель невинной девушки – и одновременно как кару своему отцу, жертвой интриги которого и пала Луиза: «Сейчас я трепещу так, как если б я стоял пред лицом Божиим, – ведь я же никогда не был злодеем. Какой бы удел не достался мне в жизни вечной – вам достанется иной. Но я совершил убийство (*угрожающе повывисив голос*), убийство, и ты не можешь от меня требовать, чтобы я один шел с этой ношей к всеправедному судие. Большую и самую страшную ее половину я торжественно возлагаю на тебя»<sup>40</sup>. При этом Фердинанд продолжает ощущать себя не только убийцей, но и палачом, вершителем справедливости – уже по отношению к самому себе и своему преступному отцу одновременно.

Казнь, выпавшая на долю Арбенина, еще более мучительна. Если Фердинанд умирает (казнь свершается, и осознание этого облегчает предсмертные муки майора), то Арбенин пытается защититься от самой мысли, что он совершил не акт правосудия:

Да, я был страстный муж – но был судья  
Холодный<sup>41</sup>, –

а убийство:

Не я ее убийца<sup>42</sup>.

И – как крик отчаяния, адресованный сообщившим ему истину Неизвестному и князю Звездичу:

Я задушу вас, палачи!<sup>43</sup>.

потерявшей целомудрие до брака (не по своей воле) невесте Эдит и попытавшийся привести этот приговор в исполнение (см.: Готье, Т. Романическая проза: в 2 т. – М., 2012. – Т. 1. – С. 446–451).

<sup>39</sup> С этой точки зрения справедлив упрек Марьон Делорм, адресованный Ришелье, не воспользовавшемуся правом на милосердие даже несмотря на очевидную несправедливость приговора: «Вот в красном палача проносят! Все глядите!» (цит. по изд.: Гюго, В. Марьон Делорм // В. Гюго. Собрание сочинений: в 10 т. – М., 1972. – Т. 1. – С. 374). Марьон приравнивает палача к убийце.

<sup>40</sup> Шиллер, Ф. Коварство и любовь // Ф. Шиллер. Собрание сочинений: в 7 т. – М., 1955. – Т. 1: Стихотворения. Драмы в прозе. – С. 721.

<sup>41</sup> Лермонтов, М.Ю. Маскарад // М.Ю. Лермонтов. Полное собрание стихотворений: в 2 т. – Л., 1989. – Т. 1: Стихотворения и драмы. – С. 506.

<sup>42</sup> Там же. С. 513.

<sup>43</sup> Там же. С. 512.

Он свидетельствует именно об осознании Арбениным своего нового статуса – не «судьи холодного», а преступника, подлежащего наказанию.

Парадоксальным образом по схожей схеме строится и поведение Сальери в «маленькой трагедии» Пушкина. Изначально Сальери рассматривает себя в качестве человека, высшими силами призванного оборвать преступно легкомысленную деятельность Моцарта, компрометирующую высокое предназначение художника:

Нет! не могу противиться я доле  
Судьбе моей: я избран, чтоб его  
Остановить – не то, мы все погибли,  
Мы все, жрецы, служители музыки,  
Не я один с моей глухою славой...<sup>44</sup>.

Осознание Сальери ошибочности изначальной посылки, стоившей жизни Моцарту, перечеркивает и дальнейшее бытие самого Сальери: раз «гений и злодейство / Две вещи несовместные»<sup>45</sup>, это означает, что из гения (каким он себя все-таки ощущает, несмотря на характеристику собственной славы как «глухой») Сальери переходит в разряд злодеев – людей, которые не только не вершат правосудие, но напротив – подлежат наказанию (вновь противопоставление «палач – убийца»).

Вместе с тем наиболее мощный образ «палача», осознавшего, что является не служителем правосудия, а преступником, и покаравшего себя за это, создал Виктор Гюго в лице инспектора Жавера в романе «Отверженные».

Несмотря на то, что формально в системе правосудия Жавер занимает совершенно иное место, нежели привычный читателю палач, стоящий на эшафоте и приводящий в исполнение смертный приговор, по сути его позиция сводится к позиции палача. «Он был проникнут слепой и глубокой верой во всякое должностное лицо, от первого министра до сельского стражника; он чувствовал презрение, неприязнь и отвращение ко всем, кто хоть раз преступил границы закона. Он был непреклонен и не признавал никаких исключений. О первых он говорил: “Чиновник не может ошибаться. Судья никогда не бывает неправ”. О вторых он говорил: “Эти погибли безвозвратно. Ничего путного из них выйти не может”. Он всецело разделял доходящие до абсурда убеждения тех людей, которые приписывают человеческим законам какой-то дар создавать или, если хотите, обнаруживать грешников и которые изгоняют низы общества на берега некоего Стикса»<sup>46</sup>. «Изгнание низов общества на берега некоего Стикса» равнозначно их со-

<sup>44</sup> Цит. по изд.: Пушкин, А.С. Моцарт и Сальери // А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений. – Л., 1935. – Т. 7: Драматические произведения. – С. 128.

<sup>45</sup> Там же. С. 133–134.

<sup>46</sup> Цит. по изд.: Гюго, В. Отверженные // В. Гюго. Собрание сочинений: в 10 т. – М., 1972. – Т. 4. – С. 201.

циальному умерщвлению – то есть Жавер выполняет роль палача – хотя, поскольку он обладает убеждениями и последовательно их защищает, что читатель видит на примере последовательных попыток лишить свободы («изгнать на берега Стикса») Жана Вальжана, и не беспристрастного. Показательно при этом, что Гюго прямо указывает на отражение в образе Жавера влияния де Местра, начинающего с рассуждения о роли палача в обществе свою главную книгу – «Санкт-Петербургские вечера»: «Мистическая школа де Местра, которая в ту эпоху приправляла высокой космогонией стряпню газет так называемого ультрароялистского толка, не преминула бы изобразить Жавера как символ»<sup>47</sup>.

Вопрос исполнения приговора над Жаном Вальжаном становится для Жавера вопросом профессиональной чести. «Не отдавая себе ясного отчета, но бессознательно и смутно ощущая свою необходимость и свой успех, он, Жавер, олицетворял сейчас свет, истину и справедливость в их священной функции – в уничтожении зла. За ним, вокруг него, где-то в бесконечной дали, стояли власть, здравый смысл, судебное решение, полицейская совесть, общественная кара – все звезды его неба. Он защищал порядок, он извлекал из закона грома и молнии, он мстил за общество, он оказывал поддержку абсолюту; окруженный ореолом, он словно стал выше ростом; в его победе еще жил отзвук вызова и поединка: он стоял надменный, блистательный; какое-то пугающее животное начало свирепого ангела мщения, казалось, проступало в нем; в грозной тени свершаемого им дела неясно вырисовывался пламенеющий меч социального правосудия, который судорожно сжимала его рука; счастливый и негодующий, он топтал каблуком преступление, порок, бунт, грех, ад; он сиял, он искоренял, он улыбался, и было какое-то неоспоримое величие в этом чудовищном архангеле Михаиле»<sup>48</sup>.

Но «палач» как финальный элемент судебного процесса кажется величественным архангелом лишь до тех пор, пока в его собственную душу – а у Жавера есть душа, и это становится неожиданным и страшным открытием для него самого! – не закрадывается сомнение в нравственной правоте вынесенного от имени общества приговора: «Милосердный злодей, сострадательный каторжник, кроткий, великодушный, который помогает в беде, воздает добром за зло, прощает своим ненавистникам, предпочитает жалость мести, который готов скорее погибнуть, чем погубить врага, и спасает человека, который оскорбил его, – преступник, коленопреклоненный на высотах добродетели, более близкий к ангелу, чем к человеку! Жавер вынужден был признать, что подобное диво существует на свете. Дальше так продолжаться

<sup>47</sup> Цит. по изд.: Гюго, В. Отверженные // В. Гюго. Собрание сочинений: в 10 т. – М., 1972. – Т. 4. – С. 202.

<sup>48</sup> Там же. С. 333.



не могло»<sup>49</sup>. Не могло, потому что палач не имеет права усомниться в правомерности совершаемого им наказания.

Жавер выносит самому себе приговор и приводит его в исполнение – казнит самого себя, следуя логике правосудия. «Неожиданно оказавшись перед лицом бога, он растерялся; он не знал, как вести себя с таким властелином; ему было известно, что подчиненный всегда обязан слепо повиноваться, не имея права ни ослушаться, ни порицать, ни оспаривать, и что в случае слишком странного приказа у подначального остается один выход – подать в отставку. Но как просить бога об отставке?»<sup>50</sup>.

Единственно реальная форма отставки для палача – смерть, ибо общество лишило его возможности заниматься каким-либо иным делом, нежели осуществление казни от его имени. Жавер, ощущающий себя палачом и ведущий себя с неумолимостью палача, становится собственным судьей, облачает свою отставку в форму самоубийства – приводит в исполнение приговор, вынесенный им самому себе как должностному лицу, уклонившемуся от исполнения профессиональных обязанностей.

### 3. «...или право имею?»

«Право» отнять жизнь у одного человека, предоставляемое обществом и государством другому человеку, само по себе является спорным. Граница между казнью преступника как общественным возмездием за преступление и новым преступлением чересчур зыбка, чтобы не стать предметом художественного осмысления. Казнь не оспаривается лишь до тех пор, пока палач исполняет лишь служебную функцию – исполняет приговор, вынесенный Богом либо помазанником Божиим от имени Бога: «Если всеобщий закон справедлив для всех, то он не может оказаться несправедливым по отношению к отдельному человеку»<sup>51</sup>. Отсюда, скажем, трактовка случайной смерти человека как казни, совершенной Богом (случаем, провидением)<sup>52</sup>. Но человек, считающий себя вправе отнять жизнь у другого человека, посягает тем самым не столько на функцию палача, сколько на божественные прерогативы.

<sup>49</sup> Гюго, В. Отверженные // В. Гюго. Собрание сочинений: в 10 т. – М., 1972. – Т. 7. – С. 165.

<sup>50</sup> Там же. С. 168.

<sup>51</sup> Местр, Ж. де. Санкт-Петербургские вечера. – СПб., 1998. – С. 21.

<sup>52</sup> Как, например, трактует А. Мицкевич в поэме «Дядя» смерть Доктора, в которого попадает молния (основа этого эпизода вполне реальна: доктор Август Бекю, отчим Ю. Словацкого, принимавший активное участие в следствии над участниками тайных молодежных кружков в Виленском университете, погиб вскоре после начала процесса от удара молнии).

Отсюда встает и другой вопрос – о пределах человеческого правосудия. Если казнь – форма мести общества индивидууму за нарушение им общественных установлений, то не превращается ли, в конце концов, она в определенный момент и в инструмент личной мести одного человека другому?

Так рассматривает эту проблему, в частности, Александр Дюма, рисуя в двух первых книгах трилогии о мушкетерах историю казни миледи и мести ее сына Мордаунта.

Узел завязывается в тот момент, когда Атос решает довести до конца Божий суд над Анной де Бейль, начатый лилльским палачом. Подчеркнем – палач признает, что решение заклеить бывшую монахиню-бенедиктинку было продиктовано исключительно его личным пониманием высшей справедливости: «Я был палачом города Лилля, как подтверждает эта женщина. Моей обязанностью было заклеить виновного, а виновный, господа, был мой брат! Тогда я поклялся, что эта женщина, которая его погубила, которая была больше, чем его сообщницей, ибо она толкнула его на преступление, по меньшей мере, разделит с ним наказание. Я догадывался, где она укрывается, выследил ее, застиг, связал и наложил такое же клеймо, какое я наложил на моего брата»<sup>53</sup>.

Очевидно, что палач совершает в данном случае преступное насилие: Анна де Бейль не приговорена судом, и он узурпирует право вынесения приговора, формулируя его, что называется, по аналогии.

Атос – граф де Ла Фер – человек, бесспорно, благородный. Потому для него как для организатора казни миледи важна предельная точность в соблюдении процедуры. Поэтому он разделяет роли своих соучастников. Д'Артаньян, лорд Винтер и сам Атос выступают в качестве обвинителей, Портос и Арамис – в роли судей (они могут формально считаться неангажированными, поскольку лично им миледи не принесла никакого зла). Роль защитника уготована самой миледи, поскольку присутствие любого иного лица ставит под сомнение легальность всей процедуры: «Мы хотим судить вас за ваши преступления, – сказал Атос. – Вы вольны защищаться; оправдывайтесь, если можете...»<sup>54</sup>. Следуя его примеру, играют роль участников судебного процесса и остальные присутствующие: «Перед Богом и людьми <...> обвиняю эту женщину в том, что по ее наущению убит герцог Бекингэм!»<sup>55</sup> – даже не склонный к театральным эффектам лорд Винтер строго воспроизводит традиционную для эпохи формулу обвинения.

<sup>53</sup> Дюма, А. Три мушкетера // А. Дюма. Собрание сочинений: в 35 т. – М., 1992. – Т. 7. – С. 574.

<sup>54</sup> Там же. С. 570–571. – Следует отметить также, что записка Ришелье, свидетельствующая, что ее предьявитель действовал в интересах государства, также снимает ответственность с организаторов суда над миледи – чем и воспользуется Атос.

<sup>55</sup> Там же. С. 571.

«Суд», организованный Атосом, снимает моральную ответственность с палача: «– Ну, палач, делай свое дело, – проговорил Атос.

– Охотно, ваша милость, – сказал палач, – ибо я добрый католик и твердо убежден, что поступаю справедливо, исполняя мою обязанность по отношению к этой женщине»<sup>56</sup>.

Однако палач видит именно в этой казни не только свою обязанность.

«Он посадил ее в лодку, и, когда он сам занес туда ногу, Атос протянул ему мешок с золотом.

– Возьмите, – сказал он, – вот вам плата за исполнение приговора. Пусть все знают, что мы действуем как судьи.

– Хорошо, – ответил палач. – А теперь пусть эта женщина тоже знает, что я исполняю не свое ремесло, а свой долг.

И он швырнул золото в реку»<sup>57</sup>.

Совсем по-иному осознает все происходящее палач двадцать лет спустя – во втором романе трилогии. Казнь, совершенная им вне реальных судебных обстоятельств, а лишь в условиях их имитации, тяготеет над ним: «Этот ужас, который я не в силах победить, усиливается во мне в особенности ночью и на воде. Мне кажется, что рука моя тяжелеет, будто я держу топор; что вода окрашивается кровью; что все звуки природы – шелест деревьев, шум ветра, плеск волн – сливаются в плачущий, страшный, отчаянный голос, который кричит мне: “Да свершится правосудие божье!”»<sup>58</sup>.

Показательно, что именно в сцене предсмертной исповеди сыну казненной им женщины лилльский палач полностью раскрывается как «добрый католик», осознавший суть собственного преступления: «Будучи орудием человеческого правосудия, я возомнил себя орудием небесной справедливости»<sup>59</sup>. И как следствие – теперь уже Мордаунт вершит суд над убийцами своей матери, пусть не соблюдая столь тщательно процедуры, но точно так же узурпировав права всех участников процесса – обвинителей, судей и, в конце концов, палача. Его действия полностью укладываются в схему, нарисованную Арамисом: «А что делает судья? Он тоже волен судить или оправдать и осуждает без боязни. Что делает палач? Он владыка своей руки и казнит без угрызений совести»<sup>60</sup>.

Однако Мордаунт не скрывает в беседе с Кромвелем, что стал палачом, движимый исключительно жаждой мести, причем палачом в буквальном

<sup>56</sup> Дюма, А. Три мушкетера // А. Дюма. Собрание сочинений: в 35 т. – М., 1992. – Т. 7. – С. 577.

<sup>57</sup> Там же. С. 578.

<sup>58</sup> Дюма, А. Двадцать лет спустя // А. Дюма. Собрание сочинений: в 35 т. – М., 1992. – Т. 8. – С. 257.

<sup>59</sup> Там же.

<sup>60</sup> Там же. С. 279.

смысле слова, ибо он собственноручно казнил в романе короля Карла I: «– А кто же другой, кроме палача, взялся бы за такое грязное дело? – спросил Кромвель».

– Возможно, – возразил Мордаунт, – что это был какой-нибудь личный враг короля Карла, давший слово отомстить ему и выполнивший свой обет. Быть может, это был дворянин, имеющий важные причины ненавидеть павшего короля; зная, что королю хотят помочь бежать, он стал на его пути, с маской на пути и с топором в руке, – не для того, чтобы заменить палача, но чтобы исполнить волю судьбы»<sup>61</sup>. Точно так же в беседе со своим дядей лордом Винтером, рассказывающем ему о причинах, побудивших его вместе с Атосом и другими мушкетерами обречь миледи на смерть, Мордаунт не устает повторять: «Это была моя мать!»<sup>62</sup> – несмотря на то, что среди преступлений, инкриминируемых казненной ее бывшим деверем, числится и отравление ее мужа, то есть отца самого Мордаунта.

Но если в трилогии о мушкетерах судья-палач-мститель безоговорочно осуждается автором (собственно говоря, и неожиданное явление Мордаунта во второй части воспринимается «судьями» миледи как закономерное возмездие за совершенную казнь), то гораздо более сложным является отношение Дюма к подобной же коллизии в романе «Граф Монте-Кристо», где тема преступления и возмездия становится главной.

Нет сомнений в том, что самому Эдмону Дантесу автор искренне сочувствует. Не случайно нигде он не превращает его в примитивного убийцу, каковым, скажем, был его прототип. Нет сомнений также в том, что преступления, совершенные его врагами Вильфором, Дангларом, Фернаном и Кадруссом, достаточно тяжки, зачастую и в глазах реального правосудия. Вместе с тем путь графа Монте-Кристо залит кровью, причем иногда людей, которые ему лично ничего дурного не сделали – пусть даже очевидно, что они и являются преступниками (как, скажем, г-жа де Вильфор).

Сам Дантес воспринимает себя исключительно как служителя Провидения: он способствует его торжеству, но всюду казнь осуществляет либо сам казнимый преступник (кончает жизнь самоубийством, как Фернан, сходит с ума, как Вильфор, гибнет, убитый собственным воспитанником, как Кадрусс), либо иные люди. Руки графа Монте-Кристо остаются – с точки зрения правосудия людского – чистыми. Точно так же формально чистыми остаются и руки палача.

Можно сказать, что Дантес лишь выносит приговор, оставаясь в роли судьи и не принимая на себя обязанность исполнения приговора (в случае с Фернаном приговор даже выносится де-факто палатой пэров Франции –

<sup>61</sup> Дюма, А. Двадцать лет спустя // А. Дюма. Собрание сочинений: в 35 т. – М., 1992. – Т. 8. – С. 525.

<sup>62</sup> Там же. С. 306.

хотя суд самого графа де Морсер над собой оказывается еще более суровым), то есть не становясь лично исполнителем приговора. Однако еще раз вспомним, как характеризует палача Жозеф де Местр: «Внешне он создан, как мы, он появляется на свет, подобно нам, – и однако, это существо необыкновенное, и чтобы нашлось ему место в семье человеческой, потребовалось особое веление, некое Fiat Всетворящей силы. Он сотворен – как сотворены небо и земля»<sup>63</sup>. Точно так же – как существо без прошлого, всезнающее и вездесущее – то есть как Бог?! – является к обидчикам Эдмона Дантеса граф Монте-Кристо, чтобы восстановить поруганную ими справедливость. Он, следуя его собственным словам, «подобно сатане, возомнил себя равным Богу»<sup>64</sup>.

Вопрос о нравственных пределах подобного рода миссии встает перед графом лишь тогда, когда он становится невольным виновником гибели Эдуарда, малолетнего сына Вильфора. На наш взгляд, было бы категорически неверным считать непосредственно виновными лишь мать и отца ребенка (мать отравила сына, чтобы не оставлять его один на один с отцом после собственного самоубийства). Но фактически обрекло Эдуарда бездействие графа, спокойно созерцавшего на поток несчастий, которые обрушились на семью Вильфоров, с одной стороны, и его желание отомстить любой ценой, ставшее причиной этого бездействия. Именно эта смерть становится тем пределом, который Монте-Кристо перейти не в силах (гуманизм Дюма оказывается сродни гуманизму Достоевского). И хотя смерть ребенка не воспринимается графом как вселенская катастрофа, она подталкивает его к тому, чтобы удалиться от дел: месть исчерпана, более страшной быть она уже не может.

Дюма не дает ответа, имел ли право смертный человек вынести своим обидчикам такой приговор и привести его в исполнение с таким жестоким хладнокровием. Но не случайно его герой одновременно спасает дочь Вильфора от первого брака Валентину от той смерти, которую ей уготовила мачеха. Показательно и то, как оценивает граф совершенное им, думая о судьбе Максимилиана Морреля, жениха Валентины, уверенного в ее гибели: «Я хочу вернуть этому человеку счастье, <...> я хочу бросить это счастье на чашу весов, чтобы она перетянула ту чашу, куда я нагромоздил зло»<sup>65</sup>. То есть вынесенный и исполненный им приговор, несмотря на его справедливость, не вызывающую у бывшего узника замка Иф сомнений, все-таки является злом.

<sup>63</sup> Местр, Ж. де. Санкт-Петербургские вечера. – СПб., 1998. – С. 31.

<sup>64</sup> Цит. по изд.: Дюма, А. Граф Монте-Кристо // А. Дюма. Собрание сочинений: в 35 т. – М., 1996. – Т. 26. – С. 566.

<sup>65</sup> Там же. С. 559.

Вероятно, злом является любая насильственная смерть (у Виктора Гюго, например, это не вызывает сомнений), и казнь, в конечном счете, есть зло, порожденное злом и являющееся карой за совершенное зло. Вопрос в цели и в мере применяемого зла. Не случайно в романах Дюма дважды – мэтром Рене в «Королеве Марго» и графом Монте-Кристо – дается характеристика яда, в малых дозах являющегося лекарством, в большой – несущего смерть. И меч или топор в руках палача либо лечит общественную болезнь, либо наносит непоправимый удар человечеству, ибо вернуть казненному жизнь – невозможно.

Несмотря на несомненное отличие в трактовках казни и роли в ней палача у авторов, традиционно относящихся к «высокой» и «низкой» литературе, очевидно, что есть общее: казнь рассматривается ими как публичный акт лишения жизни, свершенный в интересах высшей справедливости. Именно это роднит пушкинского Сальери и Эдмона Дантеса Дюма, лермонтовского Арбенина и Жавера из «Отверженных». Мрачная фигура с закрытым лицом становится для этих героев определенным символическим образцом. Но именно это и заставляет авторов осудить их: палач не заслуживает сочувствия. Добровольный палач, превысивший свои полномочия, ставший убийцей, – тем более.

## «ЕДИН ДЕРЖАВИН». Образ Г.Р. Державина в русской прозе «межвоенного двадцатилетия»

Гаврила Романович Державин оказался едва ли не единственным крупным деятелем русской культуры допушкинского периода, удостоившимся пристального внимания в первые десятилетия советской эпохи. Внимание к личности М.В. Ломоносова – несомненно, не менее крупной и более многогранной – придет несколько позже и, по нашему мнению, не без влияния борьбы с космополитизмом в советской культуре и науке. В 1920–1930-е же гг. Державин – несомненный рекордсмен<sup>1</sup>. Его активно издают (достаточно вспомнить, что именно его томом открывается основанная по инициативе А.М. Горького «Библиотека поэта»), изучают, о нем пишут прозу<sup>2</sup>.

Внимание к личности последнего классического поэта XVIII в. в СССР объяснимо. Ленинская статья «Памяти Герцена» выстраивала новую концепцию русской истории сквозь призму классовой борьбы. Главным поэтом первого периода, в котором, по мнению Ленина, ведущую роль играли «дворяне и помещики, декабристы и Герцен»<sup>3</sup>, несомненно, был А.С. Пушкин. В свою очередь, мифологизация Пушкина неизбежно пробуждала и интерес к предшеству-

<sup>1</sup> Единственным конкурентом Державина по популярности в этот период в Советском Союзе может быть разве что А.Н. Радищев, что вполне объяснимо: автор «Путешествия из Петербурга в Москву» воспринимается как прямой предтеча революционного движения в России.

<sup>2</sup> Много наблюдений по интересующей нас теме на другом литературном материале см.: Серман И.З. Державин в XX веке // И.З. Серман. Свободные размышления: Воспоминания. Статьи. – М., 2013. – С. 307–322.

<sup>3</sup> Ленин, В.И. Памяти Герцена // В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. – М., 1980. – Т. 21. – С. 261.

ющей эпохе, у врат которой, благословляя молодого поэта, согласно пушкинскому мифу находился Державин. И А.М. Горький не случайно очерчивает в своей директивной статье историю русской поэзии XIX в. «от Державина до Некрасова, до Надсона»<sup>4</sup>: Державин в этот период – едва ли не единственный поэт предшествующей эпохи, кому «разрешено» идти в будущее вместе с пролетариатом. Автор предисловия к тому изданию Державина, открывшему серию «Библиотека поэта», И.А. Виноградов прямо относит к нему «слова Ленина о Льве Толстом: он велик тем, что с большой силой и широтой “отразил в своем творчестве целую полосу в исторической жизни России”»<sup>5</sup>.

### **I. «Старик Державин нас заметил...» (романы Юрия Тынянова)**

Два из трех романов Ю.Н. Тынянова – «Кюхля» и «Пушкин» – посвящены воспитанникам Царскосельского лицея, на экзамене первого выпуска которого Державин присутствовал и, как известно, «передал лиру» – эту эстафетную палочку русских поэтов – гению новой эпохи, молодому Пушкину. Поэтому закономерно, что в обеих книгах воспроизводится одна и та же коллизия.

Но – по-разному.

Описание экзамена, на котором лицеисты Кюхельбекер и Пушкин читают свои стихи старому поэту, дано в одной из частей главы «Бехелькюкериада»: ироническая трансформация фамилии главного героя как бы дает ключ к трактовке всей главы. Высокое подано в ней через призму комического, оно постоянно травестируется.

Касается это напрямую и микросюжета, связанного с Державиным. Так, например, сообщает о грядущем приезде Гаврилы Романовича лицеистам «Галич, учитель словесности, добрейший пьяница», – но сообщает, «приняв самый торжественный вид»<sup>6</sup>. Точно так же желание Кюхли поднести свои стихи Державину «травестирует» заведомо известный читателю факт чтения Пушкиным «Воспоминаний в Царском Селе» и воспринимается самими лицеистами как некое недоразумение: «Назавтра все знали, что Пушкин пишет стихи для Державина.

Лицей волновался.

О Вильгельме забыли»<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Горький, М. О Библиотеке поэта // Г.Р. Державин. Стихотворения. – Л., 1933. – С. 16.

<sup>5</sup> Виноградов, И.А. О творчестве Державина // Г.Р. Державин. Стихотворения. – Л., 1933. – С. 19.

<sup>6</sup> Цит. по изд.: Тынянов, Ю.Н. Кюхля // Ю.Н. Тынянов. Кюхля. Рассказы. – М., 1981. – С. 40.

<sup>7</sup> Там же. С. 41.



По тому же принципу – высокое травестируется низким, низкое возвышается высоким – строится и образ самого Державина, мимолетно проходящего по пяти страницам тыняновского текста. Его появлению предшествует ожидание: лицеист Дельвиг пытается первым приветствовать гениального поэта: «Певец “Смерти Мещерского” – увидеть его, поцеловать его руку!»<sup>8</sup>. Однако в распахнувшуюся дверь входит не гений, чьи творения принадлежат вечности, а «небольшой сгорбленный старик, зябко кутаясь в меховую широкую шинель»<sup>9</sup>. Бытово приземленный образ усугубляется еще и сходством старика с трупом: «Глаза были белесые, мутные, как бы ничего не видящие. Он озяб, лицо было синеватое с мороза. Черты лица были грубые, губы дрожали... <...> Потом он повернулся к швейцару и, глядя на него теми же пустыми глазами, спросил дребезжащим голосом:

– А где, братец, здесь нужник?»<sup>10</sup>.

Потребность в нужнике – едва ли не единственная деталь, свидетельствующая, что старый поэт все-таки принадлежит миру живых. Дельвиг, собирающийся поцеловать ему руку (приложиться к нетленным мощам), не случайно вспоминает о «Смерти Мещерского»: главным текстом Державина в этот момент становится текст о смерти, о тленности, о преходящести всего сущего. И так же не случайно, что эта встреча «уже почему-то не радовала его (Дельвига. – А.Ф.), а скорее пугала»<sup>11</sup>: ребенок чувствует приближение чего-то неизвестного и страшного (смерти?). Такой же испуг – и едва ли не по той же причине – чувствует и Кюхельбекер: «Кюхля с непонятым содроганием смотрел на Державина. Это страшное, с сизым носом, старческое лицо напомнило ему как-то пруд, заросший тиной, в котором он хотел утопиться»<sup>12</sup>.

Сама сцена экзамена превращается таким образом в сцену гальванизации трупа. Мы видим, как разряды электричества, призванные пробудить жизнь в полумертвом старике, становятся все сильнее. Вначале Державин просто молча слушает собственную оду – ту самую, на смерть князя Мещерского, как бы соединяющую его с Вечностью, – слушает в исполнении лицеиста Яковлева. Вначале он вглядывается в тщеца белесыми (мертвыми) глазами, затем и вовсе их закрывает. Рассуждение Кюхельбекера о сущности одической поэзии пробуждает его к жизни; однако голос у него «разбитый»<sup>13</sup>, говорит он «бледно улыбаясь»<sup>14</sup>. Даже сделанный им жест ру-

<sup>8</sup> Цит. по изд.: Тынянов, Ю.Н. Кюхля // Ю.Н. Тынянов. Кюхля. Рассказы. – М., 1981. – С. 41.

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Там же.

кой «неожиданно изящный, широкий»<sup>15</sup> – именно неожиданность, противояственность этого жеста, совершенного, казалось, полумертвым поэтом, подчеркивает Тынянов.

Лишь чтение Пушкиным «Воспоминаний в Царском Селе», подобно разряду молнии, заставляет мертвеца ожить: «С первой же строки Державин пришел в волнение. Он впился глазами в мальчика. В белых глазах под насупленными бровями забегали темные огоньки. Крупные ноздри его раздулись. Губы приметно двигались, повторяя за Пушкиным рифмы»<sup>16</sup>. Результатом чтения становится возвращение поэта к жизни: «Державин вскочил и выбежал из-за стола. В глазах его были слезы. Он искал Пушкина»<sup>17</sup>.

На глазах у читателей происходит возрождение русской поэзии: Державин «передает лиру» Пушкину.

Глава незавершенного тыняновского романа «Пушкин», посвященная тому же событию – лицейскому экзамену в присутствии Державина, показывает Державина, если использовать сравнение с кинематографом, одновременно двумя «камерами». С одной стороны, его описывает автор, подчеркнуто не называющий старого поэта по имени – только «Он»: «Он медленно взобрался по ступенькам на свой громадный диван и почти упал на него, взлез с ногами. <...> Он подремал, шевеля губами. Колпак упал с головы, и он не заметил; голова его была голая, желтая, как бильярдный шар. <...> Он взял, зажмурившись, грифель, взглянул на снег, на пушистую Фонтанку, написал слово, стер; написал другое, стер»<sup>18</sup>.

«Он» – так сам Пушкин в «Медном всаднике» именует Петра Великого:

На берегу пустынных волн  
Стоял он, дум великих полн,  
И вдаль глядел. Пред ним широко  
Река неслася; бедный челн  
По ней стремился одиноко. <...>  
И думал он:  
Отсель грозить мы будем шведу,  
Здесь будет город заложен  
На зло надменному соседу<sup>19</sup>.

Этот подход, несомненно, имеет внутреннюю аргументацию: как Петр во вступлении к поэме выходит на пустынный берег, чтобы принять эпохаль-

<sup>15</sup> Цит. по изд.: Тынянов, Ю.Н. Кюхля // Ю.Н. Тынянов. Кюхля. Рассказы. – М., 1981. – С. 43.

<sup>16</sup> Там же. С. 43.

<sup>17</sup> Там же. С. 44.

<sup>18</sup> Цит. по изд.: Тынянов, Ю.Н. Пушкин: Роман. – Минск, 1979. – С. 409.

<sup>19</sup> Пушкин, А.С. Медный всадник: Петербургская повесть, 1833 // А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений: в 16 т. – М.–Л., 1948. – Т. 5. – С. 135.

ное решение о строительстве новой российской столицы и тем самым открыть принципиально новую страницу российской истории, так Державин приезжает в Лицей, чтобы благословить молодого Пушкина и тем самым открыть новую страницу истории русской поэзии.

Однако – и тут «включается» «вторая камера» – Державин показан нам еще и через призму его собственного взгляда, вернее – внутреннего монолога. И это разительно отличает Державина романа «Пушкин» от Державина романа «Кюхля». Оказывается, Державин не мертв, но жив! Прочные нити связывают старика с повседневной жизнью: здесь и заботы о соблюдении авторских прав (негодование по поводу читателя, покупающего антологию В.А. Жуковского в ущерб финансовым интересам самого Державина), и тревоги по поводу собственной смерти (некому оставить фамилию, прославленную Гаврилой Романовичем), и воспоминания о женской красоте, и любопытство по поводу предстоящей встречи с «племенем молодым, неведомым»... «И еще его тяготила мысль, что прекратятся без всякого следа его стихи. Смерть должна была их прекратить»<sup>20</sup> – смерть неизбежная, но все еще не наступившая поэта.

Подчеркивая, что Державин жив, Тынянов заставляет нас прослушать «Воспоминания в Царском Селе», но не пушкинские, а ненаписанные, самого Державина: «Ему захотелось хоть что-нибудь в этом саду оттягать по тяжести со временем, которого он всегда боялся и которое теперь его со всех сторон обступило. Он не желал смотреть ни на монументы, ни на беседки, ни в сторону Китайской Деревни, все еще не достроенной, он не хотел воспоминаний. Он знал сад, как свой дом. Там встретил он Безбородко, шедшего в сильном гневе, здесь Орлов любил гулять и хвастал, как остановил на бегу падающую с горы колесницу, – все, в чем полагал он жизнь, вдруг ушло. Не стало более азиатских прохлад, ни роскошей, был голый и умственный Александров век. Да и победы были другие, и он их не понимал, как, бывало, понимал Суворова»<sup>21</sup>.

Но и сцена собственно экзамена, и чтения юным Пушкиным стихов также, и в отличие от «Кюхли», показывают, что Державин жив. Его первоначальная пассивность объясняется усталостью и сном: «Он вздремнул, но слышал все отчетливо, только как бы за дымящую и не придавая всему особого значения. <...> Вдруг стали произносить его имя, читать его стихи. Он повернулся в креслах и, покачивая головою, слушал. Читали его старые стихи, которые уж много лет, как зачитали. Но он все стал забывать, и собственные стихи тронули его, как чужие»<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> Тынянов, Ю.Н. Пушкин: Роман. – Минск, 1979. – С. 411.

<sup>21</sup> Там же. С. 415.

<sup>22</sup> Там же. С. 416.

Пушкин своим чтением вовсе не гальванизирует труп – он будит старого спящего гения, заставляя его вспомнить молодость: «...звонкий голос раздался. Он взгляделся. Голос был звонкий, прерывчатый, гибкий, словно какую-то птицу занесло сюда ветром. Он стал шарить, беспокойно ища лорнет. Не было лорнета. И этот голос вдруг сказал ему, и никому другому:

– Воспоминания в Царском Селе»<sup>23</sup>.

И дальнейшее поведение Державина, с точки зрения внешнего наблюдателя, вполне характерное для гальванизируемого тела, но, с точки зрения самого поэта, вполне естественное и живое: «Он вдруг задрожал, повторяя отвислыми, грубыми, солдатскими губами, без звука, без голоса, эти слова. Он всматривался в школяра, и школяр, казалось ему, смотрел на него. Зрение давно стало его предавать, но он все же видел его как бы в тумане: у школяра глаза были быстрые, горячие. <...> И, как слушая Бахову музыку, он протянул, не обращая внимания ни на кого и вполне от всех отрешась, указательный палец, жилистый, старый, и еле заметно стал отмечать такту. <...> Чтец назвал его в стихах. В забвенье потянулся он за аспидной доской, и рука его повисла в воздухе. Он был не у себя дома, а на публичном заседании»<sup>24</sup>. Последний жест – как продолжение того, неожиданно широкого жеста, высмотренного Тыняновым еще в «Кюхле».

В финале главы автор дает еще раз объяснение, почему в «Кюхле» и бледное молчание Державина, и его неожиданное пробуждение кажутся противоестественными: там – люди другой эпохи. Здесь же, в «Пушкине», неожиданно появляется еще один зритель, точно призванный верифицировать: да, именно этот Державин – настоящий: «Старик, костлявый, согнутый в три погибели, все выпрямлялся и теперь, откинув голову, стоял; лицо его было в бессмысленном старом восторге, который из сидящих здесь помнил только старик Салтыков»<sup>25</sup>.

Присутствие второго свидетеля ушедшей эпохи, старика Салтыкова, одновременно говорит о том, что эпоха – жива. И, точно доказывая это какому-то стороннему, Державин «сидел за долгим обедом и ел на этот раз много и жадно, пользуясь отсутствием супруги, <...>; отпил глоток вина, выслушал лепет Сергея Львовича и даже ответил ему», после чего поставил

<sup>23</sup> Тынянов, Ю.Н. Пушкин: Роман. – Минск, 1979. – С. 416. – Писатель Ю.Н. Тынянов обращает здесь внимание на то же, на что, несомненно, обратил внимание и историк литературы Тынянов: «всемирная отзывчивость» Пушкина заставляет его ориентироваться на «главного» читателя: «узнав, что экзамен почтит своим присутствием сам Г.Р. Державин, Пушкин допишет две последние строфы “Воспоминаний...” – специально для Державина, для того единственного слушателя, чье мнение в тот момент было для него жизненно важным» (Федула, А.И., Егоров, И.В. Читатель в творческом сознании А.С. Пушкина. – Минск, 1999. – С. 42).

<sup>24</sup> Там же. С. 416.

<sup>25</sup> Там же. С. 417.

точку в главе тыняновского романа, пробормотав «еле слышно старому кучеру <...>:

– Во весь опор!»<sup>26</sup>.

Метаморфоза, которую претерпел в изображении Тынянова Державин, сродни той метаморфозе, которую претерпел и Чаадаев. Обнаруживший это А.В. Белинков сказал главное: изменилось и время, в которое писались тыняновские тексты. Во времена создания «Кюхли» (1925) и «Смерти Вазир-Мухтара» (1927) любая «нереволюционность» воспринималась и трактовалась как безнадежная реакционность; язвительность консерватора Чаадаева тонула в его же белесоватых – как у певца Фелицы Державина! – глазах, и жесткое неприятие авторитарной власти заставляло автора выбирать в качестве героев обреченных людей – каким, в сущности, мог быть и он сам. Но к 1943 г., когда болезнь оборвала работу писателя над «Пушкиным», Тынянов начал понимать, что жизнь стала лучше, веселее. И поэтому все в «Пушкине» становится лучше, веселее и благоуханнее<sup>27</sup>. В «Кюхле» же «передача лиры» стариком Державиным мальчишке Пушкину исторически бессмысленна, поскольку и старик Державин изначально мертв, и уже добыт свинец для пули Дантеса.

В «Пушкине» все то же, что было в «Кюхле»: звенящий голос мальчишки, читающего стихи, слезы в глазах старого поэта, его неожиданно широкий жест, попытка выбежать из-за стола и остановить юного гения. Но есть и разница: Пушкину предстоит жить еще долго. А в его стихах будет жить и сам Державин.

## **II. «Следователь и свидетель» (повесть Юрия Домбровского)**

Повесть Юрия Домбровского «Державин» впервые была напечатана в журнале «Литературный Казахстан» под названием «Крушение империи». Сам писатель рассказал историю этой публикации в очерке «Деревянный дом на улице Гоголя», причем называет практически точный срок начала эпопеи, связанной с попыткой первой публикации романа: «В начале апреля 1937 года в один из ярчайших, сверкающих стеклянными блеском дней – как же отчетливо я его помню! – вдруг определилась моя судьба»<sup>28</sup>.

Домбровский не рассказывает в очерке о тех обстоятельствах, под воздействием которых он оказался в Казахстане. Обстоятельства же своди-

<sup>26</sup> Тынянов, Ю.Н. Пушкин: Роман. – Минск, 1979. – С. 417.

<sup>27</sup> Белинков, А.В. Юрий Тынянов. – М., 1965. – С. 493.

<sup>28</sup> Домбровский, Ю.О. Деревянный дом на улице Гоголя // Ю.О. Домбровский. Собрание сочинений: в 6 т. – М., 1992. – Т. 1. – С. 289. – Далее см.: Домбровский, Ю.О. – Т. 1. – С. ...

лись к его аресту, высылке из Москвы и вторичному аресту. Именно этот контекст и следует, на наш взгляд, учитывать при анализе замысла первой книги Домбровского.

Апрель 1937 г. – первая весна после истерического празднования советской литературной и нелитературной общественностью столетия со дня гибели А.С. Пушкина<sup>29</sup>. Писателю, вступающему в литературу и желающему опубликовать исторический роман, естественно было бы написать его о пушкинской эпохе. Домбровский выбирает фигуру, близкую к Пушкину – будь роман дописан до логического конца, встреча заглавного героя с родоначальником новейшей русской литературы становилась неизбежной, и «передача лиры» венчала бы сюжет. Таким образом, празднества по случаю трагедии на Черной речке действительно открывают возможность литературного дебюта. Однако есть некоторые факты, свидетельствующие об изначально ином замысле.

Домбровский начинает жизнеописание Державина с самого «контрреволюционного» эпизода его биографии: Гаврила Романович просится добровольцем принять участие в поимке вождя крестьянского восстания Емельяна Пугачева – причем руководствуется сугубо «низменными» мотивами личной карьеры: «Бибиков твой крестный отец, он для тебя все сделает. Дорогая, хорошая, милая, замолви за меня слово, скажи ему только мою фамилию, умоли, чтобы он принял меня в комиссию. <...> Год войны считают за десять. Я буду генералом»<sup>30</sup>, – умоляет он влюбленную в него крестницу генерала А.И. Бибикова. С точки зрения ортодоксальной советской критики, такой герой не может быть положительным персонажем<sup>31</sup>.

<sup>29</sup> См. об этом, в частности: Молок, Ю. Пушкин в 1937 году. Материалы и исследования по иконографии. – М., 2000.

<sup>30</sup> Домбровский, Ю.О. Державин // Домбровский, Ю.О. – Т. 1. – С. 24–25.

<sup>31</sup> Собственно говоря, это мы наблюдаем на примере «державинских» эпизодов романа В.Я. Шишкова «Емельян Пугачев», начатого также в конце 1930-х гг. «Сложность» образа отсутствует: мы видим перед собой обычного карьериста, мечтающего «хоть бы какую клячку завести либо полкового, отслужившего свой век коня, а то просто срам, выехать в люди не на чем» (Шишков, В.Я. Емельян Пугачев // В.Я. Шишков. Собрание сочинений: в 8 т. – М., 1962. – Т. 7. – С. 525). И о поэтическом даровании персонажа Шишков «вспоминает» однажды, в связи с отношением к нему начальства: «Бибиков питал некоторую привязанность к этому толковому, исполнительному офицеру, а как человек образованный он ценил в нем и дарование стихотворства. С своей стороны, Державин, видя к себе отеческое отношение главнокомандующего, всеми силами старался не за страх, а за совесть служить ему» (там же. С. 691). И это тоже вписывается в общую картину: большой поэт не может стать следователем-добровольцем, пытающимся найти и арестовать мужицкого императора Пугачева.

По сути, именно этим эпизодом Домбровский и ограничивается. Можно рассуждать о том, что книга осталась недописанной в силу опять-таки объективных обстоятельств (в 1939 г. автор был арестован в третий раз и до 1943 г. находился на Колыме). Однако, на наш взгляд, против этой версии можно выдвинуть некоторые аргументы чисто литературного порядка.

Прежде всего, роман «Державин» подчеркнуто «пушкинизирован». Фактически Державин в нем оказывается в роли, подобной той, которую играет в пушкинской «Капитанской дочке» Петр Андреевич Гринев: восстание показано глазами умного и честного оппонента восставших, знающего цену тому хронотопу, в котором он живет: «Все столпы и устои, поддерживающие государство, колебались и брались под сомнение.

Государство распалось, охваченное антоновым огнем измены и мятежа.

В хорошую эпоху он живет!»<sup>32</sup>.

Разница, однако, существенная: Гринев пытается «беречь честь смолу»; Державин же в романе Домбровского откровенно «делает карьеру», а значит, ни о какой чести речь идти попросту не может: «Если от него потребуют, он снимет сан со всех попов и закует в цепи самого архиерея. Он будет производить точнейшие следствия, не спать ночами, расшифровывая каждый намек и оговорку, а если и этого будет мало, – он кликнет заплечных мастеров, и секретные писцы затупят свои перья, исписывая стопы бумаги.

И порки он станет производить сам, совсем так, как предписывает ему ордер: будет ходить перед толпой, размеряя силу и количество ударов, и поучать непослушных. Может быть, после этого ему придется прибегнуть к виселице и топору, колесу и глаголю. Он и этим не погнушается. Ритуал смертных казней сейчас проработан до мельчайших подробностей, и он не забудет ничего: ни толстой зажженной свечи в руках смертников, ни белых рубах на них, ни гробов, сложенных сзади эшафота. На войне как на войне, – сказал ему как-то Бибииков. А он – солдат и знает, что на войне употребляется все – от ножа до пушечных ядер»<sup>33</sup>.

Но Державин антитетичен Петруше Гриневу не только в этом. Если Гринев обречен на гибель как верный присяге офицер императорской армии и спасается лишь благодаря милосердию признавшего старика Савельича казацкого императора Емельяна Пугачева, то Державин сам нарушает присягу и отпускает на волю (вернее, подсказывает, каким образом совершить побег) государственного преступника экс-бургомистра Халевина. При этом если пребывание Гринева в окружении Пугачева вынужденное и никак не выпадает из свойственной Петру Андреевичу нравственной парадигмы (он не служит бунтовщику, а пытается защитить безвинную сироту Машу

<sup>32</sup> Домбровский, Ю.О. Державин // Домбровский, Ю.О. – Т. 1. – С. 59.

<sup>33</sup> Там же.

Мионову<sup>34</sup>), то совершенное Державиним должностное преступление как раз нравственно в своей основе и выпадает из той «карьерной» парадигмы, которую принял для себя гвардии поручик. Державин отпускает Халевина именно потому, что чувствует нравственное превосходство позиции этого человека.

«– Образованность, – сказал он (Халевин. – А.Ф.), издеваясь. – А что вы с вашей образованностью сделали? Дворцы да тюрьмы. Виселицы на каждой улице поставили. Посадили бабу во дворе, а она двадцать миллионов крестьян под ногой своей держит, ибо что ей бедность человеческая, что ей нужда народа, если она сама вся в золоте ходит. А из чего вся сия роскошь происходит? Из куска недоеденного, из тряпки, у хлебороба отнятой. Вы, сударь, каждый день мясо едите и бургундское у вас на столе, а потому крестьяне ваши одну воду пить должны. Вы шелка носите, поэтому крестьяне ваши в дерюгах ходят. У вас излишки, у них нет необходимейшего.

– Но вы-то, сударь, – яростно перебил его Державин, – вы-то не ходите нагим и босым. Вы-то яства и пития довольно имели? Какое же вам до всего дело было?

– Извините, – сказал глухо Халевин. – Я на сей вопрос и вовсе отвечать не намерен, ибо глупость его вам самим понятна»<sup>35</sup>.

«Глупость» собственного вопроса действительно понятна Державину – не поручику, следователю, карьеристу, а – поэту Державину, который, собственно говоря, и выпускает своего оппонента и государственного преступника, лично объясняя ему, как следует бежать: «– Идемте назад, – сказал он (Державин. – А.Ф.) решительно и резко, – дальше я вас так не поведу. Здесь темнота и глушь, забор низкий, вы, как человек сильный, его с одного прыжка возьмете. <...> Я знаю ваши планы, вы ищете удобную минуту, а потом развернетесь, ударите меня по голове и бежать»<sup>36</sup>.

Именно так и происходит.

Так следователь (и преследователь) Державин становится жертвой реализации собственного плана.

Реализовавший же на практике этот «план от обратного» – не свой план, державинский! – Халевин буквально столбенеет, осознав, что он не сам ушел на свободу, но был отпущен: «Когда он опустил кулак на голову врага, и тот, обливаясь кровью и задыхаясь, упал на камни, и его голова коротко и сухо

<sup>34</sup> Хотя, как справедливо указывает современный исследователь, «в черновых вариантах повести ясно видно, как Гринев сам отправляется за помощью к самозванцу» (см. Альтшуллер, М.Г. Эпоха Вальтера Скотта в России. Исторический роман 1830-х годов. – СПб., 1996. – С. 242).

<sup>35</sup> Домбровский, Ю.О. Державин // Домбровский, Ю.О. – Т. 1. – С. 135–136.

<sup>36</sup> Там же. С. 140–141.



стукнулась о плиту, он увидел на мгновение, как окровавленное лицо искривилось болезненной, но радостной улыбкой.

И, морщась от боли, отрывая от пола эту страшную кровавую голову, он все-таки смотрел на Халевина, смотрел и улыбался радостной, немного смущенной улыбкой.

Вспомнив это, Халевин остановился у забора и провел рукой по лицу. Только теперь он понял значение улыбки Державина.

И вот оттого, что наконец понял все, ему уже не хотелось ни бежать, ни прятаться, ни разговаривать со своими сообщниками.

Он стоял под черным звездным небом, и свежий ветер ворошил его волосы»<sup>37</sup>.

Ориентируясь в пушкинские юбилейные дни на самый актуальный пушкинский текст, Домбровский создает принципиально «анти-пушкинский» по сюжету (хотя и отчасти пушкинский по стилистике) роман. И Державин в нем выступает как герой «анти-пушкинский», что возвращает нас к изначальному контексту создания романа: «Почему Державин?» – «Потому что не Пушкин». Не Пушкин в том понимании, в каком трактовался образ Пушкина в 1937 г. и в каком можно было писать о Пушкине. Роман Домбровского о Державине не есть роман о поэте и его времени, но роман о человеке, чья индивидуальная судьба вписана во время, подчинена времени и изложена им. Это объединяет всех героев Державина – от генерала А.И. Бибикова до выпущенного на свободу следователем-поэтом переметнувшегося на сторону восставших бургомистра Халевина.

Именно это, на наш взгляд, вынудило Ю.В. Давыдова в предисловии к однотомнику сочинений Домбровского, содержавшему переиздание «Державина», заявить, что его «идея – преображающая сила творчества, власть творенья над творцом»<sup>38</sup>. То есть замечательный исторический романист, каким был сам Юрий Давыдов, «прячет» концепцию Домбровского в привычный для советской литературы биографический жанр – да еще и сводит сложность материала де-факто к идеологически «правильной» схеме Ф. Энгельса: когда творец объективно изображает действительность вопреки собственным убеждениям<sup>39</sup>.

<sup>37</sup> Домбровский, Ю.О. Державин // Домбровский, Ю.О. – Т. 1. – С. 142.

<sup>38</sup> Давыдов, Ю. «Поговорим о бурных днях Кавказа...»: Вместо предисловия // Ю.О. Домбровский. Смуглая леди. Повесть, роман и три новеллы о Шекспире. – М., 1985. – С. 5.

<sup>39</sup> Ср.: «Я считаю <...> одной из наиболее ценных черт старика Бальзака то, что он принужден был идти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков, то, что он видел неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи...» (Энгельс, Ф. Письмо М. Гаркнесс // К. Маркс и Ф. Энгельс о литературе. – М., 1958. – С. 73).

### III. С «Богом»

#### (авто?-биографический роман Владислава Ходасевича)

Главная книга 1930-х гг., посвященная Державину, была написана и опубликована в эмиграции. «Державина» создал В.Ф. Ходасевич.

Один из крупнейших поэтов своего времени Владислав Ходасевич написал биографию своего предшественника, влияние творчества которого на собственную поэзию он признавал практически безоговорочно<sup>40</sup>. Обращение к персоне Гавриила Романовича было для Ходасевича не сюжетно (как для Тынянова, пишущего о Лицее) и не идеологически (как для Домбровского, пишущего о «крушении Империи») обусловленным. Державин оказывается интересен автору не как эпизод в чужой биографии и интересен не эпизод в собственной биографии Державина, но – как концептуально целостная личность. «Един Державин» – этот полустих можно было поставить эпиграфом к книге Ходасевича, подразумевая, что Державин не только *один*, но и *един* в значении *целостен*, причем целостность эту Ходасевич объясняет полученными в начале жизни нравственными уроками: «Он вырос в глуши, воспитывался в казарме, да на постоялом дворе, да в огне пугачевщины. С младенчества было ему внушено несколько твердых и простых правил веры и нравственности. Они и теперь, к тридцати годам, остались главным его мерилем. Добро и зло разделил он ясно, отчетливо; о себе самом всегда знал: вот это я делаю хорошо, это – дурно. Словом, умом был прям, а душою прост. Прямота была главное в нем. И это уже тогда было главное, за что любили его одни и не любили другие»<sup>41</sup>.

В этом отношении Державин Ходасевича прямо противоположен Державину Домбровского. У Домбровского герой показан в самый противоречивый момент его жизни – и сам он при этом раздираем противоречиями. Державин Ходасевича внутренних конфликтов не знает. Говоря словами иного поэта иной эпохи, для *этого* Державина «жизнь и поэзия – одно»<sup>42</sup>.

Ходасевич находит эффективный прием для демонстрации этого. Жизнеописание начинается с легенды о первом слове, произнесенном заглавным героем: «Было ему около года, когда явилась на небо большая комета с хвостом о шести лучах. В народе о ней шли зловещие слухи, ждали великих бедствий. Когда младенцу на нее указали, он вымолвил первое свое слово:

– Бог!»<sup>43</sup>.

<sup>40</sup> См. об этом: Зорин, А.Л. Начало // В.Ф. Ходасевич. Державин. – М., 1988. – С. 12–13.  
<sup>41</sup> Цит. по изд.: Ходасевич, В.Ф. Державин. – М.: Книга, 1988. – С. 76.

<sup>42</sup> Жуковский, В.А. «Я Музу юную, бывало...» // В.А. Жуковский. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. – М., 2000. – Т. 2. – С. 235.

<sup>43</sup> Ходасевич, В.Ф. Державин. – М., 1988. – С. 32.

Со словами о Боге Державин и уходит из жизни – именно так Ходасевич интерпретирует знаменитые предсмертные строки Гавриила Романовича, оставленные им на грифельной доске: «Стихи были только начаты, но их продолжение угадать нетрудно. Отказываясь от исторического бессмертия, Державин должен был обратиться к мысли о личном бессмертии – в Боге. Он начал последнюю из своих религиозных од, но ее уже не закончил.

Бог было первое слово, произнесенное им в младенчестве – еще без мысли, без разумения. О Боге была его последняя мысль, для которой он уже не успел найти слов»<sup>44</sup>.

И центральным эпизодом в повествовании поэта Ходасевича о поэте Державине становится создание оды «Бог»: «В “Боге” Державин привел в движение какие-то огромные массы; столь же огромна сила, на это затраченная, но ни единая частица ее не пропадает даром, и насада, усилия мы нигде не видим. Таково на сей раз его господство над материалом, что с начала до конца все в оде движется стройно и плавно, несмотря на то, что в процессе работы он постепенно отходит от первоначального замысла. Вдохновение владеет им, но материалом владеет он.

Его первую целью было вообразить величество Божие. Взор его устремлен был к Богу. Но по мере того, как предмет ему открывался, его охватывало изумление перед собственной способностью к подобному постижению. Смотря на собственное отражение в оде, видел он отражение Бога в себе самом – и все более поражался»<sup>45</sup>.

Сравнивая описание этого высокого акта творчества – создания оды «Бог» – в «объяснении» Державина и в книге Ходасевича, А.Л. Зорин справедливо отмечает: «У Ходасевича достало чутья почти не касаться этого одного из самых выразительных в мировой литературе описания творческого вдохновения. Всего два-три удара резца мастера: цитаты из оды, краткие психологические пояснения, легкая, почти незаметная модернизация слога, и заряд художественной энергии, дремавший в державинском рассказе, высвобождается, чтобы воздействовать на читателя XX века, рождаются страницы, которые, по словам М. Алданова, “должны были бы войти в классическую хрестоматию”»<sup>46</sup>.

Фактически эпизод создания оды «Бог» обнажает концепцию Ходасевича. Человек принадлежит одновременно Времени и Вечности. Есть в нем то, что принадлежит только Времени – и мы видим Державина то в компании шулеров, то среди преследователей Пугачева, то страстно и жестко отстаивающим свои взгляды перед вельможами и царями. Но есть и то, что принадлежит исключительно Вечности – и здесь Державин остается

<sup>44</sup> Ходасевич, В.Ф. Державин. – М., 1988. – С. 232.

<sup>45</sup> Там же. С. 109.

<sup>46</sup> Зорин, А.Л. Начало // В.Ф. Ходасевич. Державин. – М., 1988. – С. 21.

один, как бы выскальзывает, убегает из толпы: «Отвлекаемый службой и светскими суетами, сколько ни принимался он (продолжить начатую оду. – А.Ф.) – продолжать не мог. Про себя постоянно, однако же, возвращался к начатой оде, в глубине памяти копил мысли и образы, то собственные, то извлеченные из чтений. За четыре года все это в нем, наконец, дозрело и стало проситься наружу. Теперь, на свободе, он опять взялся за перо, но все-таки суета житейская, городская мешала ему. Сердце хотело уединения, он решил бежать. Вдруг объявил жене, что едет осматривать белорусские свои земли, в которых никогда не был, хотя владел ими семь лет. Стояла самая распутица, о дальней дороге нечего было думать. Жена удивилась, но он ей не дал опомниться. Доскакал до Нарвы, повозку и слуг бросил на постоялом дворе, снял захудалый покойчик у старой немки и заперся в нем.

Он писал, пока сон не валил его на постель, а проснувшись, вновь брался за работу. Старуха носила ему пищу. Он работал в таком же диком уединении, в таком же неистовом напряжении телесных и душевных сил, в каких Челлини отливал некогда своего Персея. Так продолжалось несколько дней»<sup>47</sup>.

Перед нами очевидная иллюстрация к стихотворению Пушкина «Поэт» («Пока не требует поэта...»):

Но лишь божественный глагол  
До слуха чуткого коснется,  
Душа поэта встрепенется,  
Как пробудившийся орел.  
Тоскует он в забавах мира,  
Людской чуждается молвы,  
К ногам народного кумира  
Не клонит гордой головы;  
Бежит он, дикой и суровый,  
И звуков и смятенья полн,  
На берега пустынных волн,  
В широкошумные дубровы...<sup>48</sup>.

Бегство поэта в уединение, где он может остаться наедине с Вечностью, где он может творить – Державин предстает не предтечей Пушкина, но Пушкиным, который пока не в состоянии осознать и артикулировать те поэтические принципы, которые будут озвучены гением новой эпохи. По словам А.Л. Зорина, книга Ходасевича – «очень исповедальное произведение, вернее, начало той исповеди, которая должна была быть продолжена и увенчана давно задуманной биографией Пушкина»<sup>49</sup>. Таким образом, если принять

<sup>47</sup> Ходасевич, В.Ф. Державин. – М., 1988. – С. 108.

<sup>48</sup> Пушкин, А.С. Полное собрание сочинений: в 16 т. – М.–Л., 1948. – Т. 3, кн. 1. – С. 65.

<sup>49</sup> Зорин, А.Л. Начало // В.Ф. Ходасевич. Державин. – М., 1988. – С. 23.

оценку исследователя как истинную («начало <...> исповеди»), то «Державина» фактически читатель получил как первую книгу трилогии-исповеди, второй должен был стать «Пушкин», и третьей – «Ходасевич»? И обозначенный в качестве стержня первой книги сюжет создания поэтом оды «Бог» – движения человека от творения Божия к творцу Бога – подчеркивал божественное начало творческого акта, рассказ о котором неизбежно должен был получить свое логическое продолжение в книге о Пушкине (человеке, осмелившемся колебать алтарь Бога и самом оказавшемся посмертно в роли низвергаемого Божества) и, вероятно, завершение – в автобиографической третьей части, сюжета которой мы не узнаем уже никогда.

Взаимоотношение Державина и его времени понимается Ходасевичем прямо противоположно тому, как будет понимать его Ю.О. Домбровский. Еще к столетней годовщине со дня смерти автора «Оды на смерть князя Мещерского» Ходасевич утверждает: «...его стихи суть вовсе не документ эпохи, не отражение ее, а некая реальная часть ее содержания; не время Державина *отразилось* в его стихах, а сами они, в числе иных факторов, *создали* это время»<sup>50</sup>.

Такой «Державин» пишется Ходасевичем как книга о подчеркнуто *несоветском* поэте – не случайно Владислав Фелицианович обращает внимание на то, что вышедший в «Библиотеке поэта» том сочинений Державина «*мужественно* открывается одою “Бог”»<sup>51</sup> – то есть тем шедевром, который, как мы уже говорили выше, составляет смысловой стержень его собственной книги. Здесь же Ходасевич формулирует и свое понимание биографии как жанра: «В каждом поэте любопытно не то, что у него неизбежно общее с его современниками, а как раз то, чем он от них отличается, то, что делает его единственным, то, что делает его им самим, а не кем-либо еще. Но именно такая индивидуализация в советской литературе запрещена настрого»<sup>52</sup>.

Нет сомнения в том, что в этом отношении в своем резком неприятии советской литературы Ходасевич был прав. Однако изображение Державина и Ю.Н. Тыняновым, и Ю.О. Домбровским, на наш взгляд, не столько вписывается в четко и ясно сформулированный «запрет на личность», сколько противостоит ему – пусть даже формально следуя общему течению современного литературного процесса в СССР. И здесь Державин – и у Тынянова, и у Домбровского, и у Ходасевича – *един, ибо – один.*

<sup>50</sup> Ходасевич, В.Ф. Державин (к столетию со дня смерти) // В.Ф. Ходасевич. Собрание сочинений: в 4 т. – М., 1996. – Т. 2. – С. 40 (Курсив В.Ф. Ходасевича. – А.Ф.).

<sup>51</sup> Ходасевич, В.Ф. Научный камуфляж. – Советский Державин. – Горький о поэзии // В.Ф. Ходасевич. Собрание сочинений: в 4 т. – М., 1996. – Т. 2. – С. 277 (Курсив наш. – А.Ф.).

<sup>52</sup> Там же. С. 278.

## РОССИЯ БЕЗ ОПОРЫ (Исторические рассказы М.А. Осоргина)

Михаил Андреевич Осоргин не принадлежит к числу признанных мастеров русской исторической прозы. Его цикл «Старинные рассказы» пришел к современному читателю недавно – в двухтомном собрании сочинений 1999 г. Вместе с тем рассказы эти заслуживают внимания не только потому, что автор их предстает нам как тонкий стилизатор и великолепный мастер слова, но и потому, что в них отражены своеобразная осоргинская концепция истории России и его понимание сущности русской души.

«Старинные рассказы» охватывают период с середины XVII в. (падение патриарха Никона, женитьба Алексея Михайловича на Наталье Нарышкиной, раскол и гибель протопопа Аввакума) и до предреволюционных годов. По утверждению самого Осоргина, все рассказы – или, по крайней мере, значительная их часть – имеют под собой реальную историческую основу: «Писан настоящий рассказ – завершает М.А. Осоргин миниатюру “Сожженный дьячок” – по синодским документам подлинности бесспорной, а чего в документах не было, те пропуски добавлены сочинителем, ответственным во всей полной мере»<sup>1</sup>. В преамбуле к рассказу «Проделка лукавого» также оговаривается: «Случай, о котором ниже идет речь, не выдуман, а действительно был и удостоверен не только показаниями свидетелей, но и документами архива святейшего правительствующего синода (дело номер 296 за 1737 год)» (с. 39). Если рассказываемый случай не подтвержден документально, автор верифици-

<sup>1</sup> Цит. по изд.: Осоргин, М.А. Старинные рассказы // М.А. Осоргин. Собрание сочинений: в 2 т. – М., 1999. – Т. 2. – С. 33. – Далее ссылки см. в тексте с указанием номера страницы в круглых скобках после цитаты.

рует его в читательском сознании отсылкой к немногочисленным публикациям предшественников и даже к такому плохо учитываемому источнику исторической информации, как память потомков – как, например, в рассказе «Парнас помещика Струйского»: «Создав себе нерукотворный памятник книгами, не их содержанием, а их редкостной пышностью, он остался только в памяти книголюбов. Две-три заметки о нем и его типографии найдутся в старых журналах; вскользь упомянул его имя Ключевский, говоря о “цивилизованном варварстве”. И даже не всякий историк литературы знает, что был во дни Екатерины поэт, тем знаменитый, что считался “бездарнее Третьяковского”» (с. 167).

Главным жанром в цикле Осоргина является исторический анекдот. Пожалуй, за единственным исключением (к которому мы вернемся несколько позже), даже там, где упоминаются либо действуют реальные исторические лица, автор ставит их в анекдотическое положение, сопряженное не только с их истинным историческим статусом, сколько с их частной жизнью. Так, например, царя Алексея Михайловича мы видим в момент выбора им невесты, которой суждено стать матерью будущего императора Петра I. Читатель знает, чем закончатся смотрины: фамилия Натальи Нарышкиной хорошо ему известна. Однако сам царский выбор предстает читателю результатом некой игры Судьбы, так сказать, поворотной точкой истории, после которой все могло случиться и не так, как случилось: «Царь вошел, как входил к другим, и девки со свечами осветили красавицу. И неизвестно, что было бы, если бы не случилось, что Наташенька нарушила запрет открывать глаза. Она и не открыла, а только в одном глазке сделала малую щелочку, едва дронувши веком. Когда же сквозь эту щелочку увидела перед собой царскую бороду и два мужских глаза, прямо на нее смотрящие, то так застыдилась, что уже не могла сдержать девичьей застенчивости и, как рассказывают, легонько вскрикнула и закрылась, как могла, “обема руками”» (с. 18).

Устное предание оказывается для Осоргина куда надежнее, нежели зафиксированное на бумаге. Вопреки утверждению своего гениального современника о том, что «рукописи не горят», Осоргин не просто свидетельствует – воочию демонстрирует: еще как горят (рассказ «Казнь тетрадки»)! «Отогнулся и, почернев, откинулся первый листочек, за ним второй – точно неведомый дух листает тетрадку. Сгорело писанное и сгорели чистые листы, на которые позарился школьник. Сгорели древние боги, мифы о которых старательно записал прилежный семинарист, потерявший тетрадку на улице. И когда тетрадка сгорела начисто, палач залил жаровню полуведерком воды. Разошлось начальство и разошлись посадские, пораженные мудростью и справедливостью законов, но не совсем довольные зрелищем: все-таки настоящая казнь, человеческая, много занятнее!» (с. 85). Причем параллель между прошлым и будущим для Осоргина несомненна: «Когда

же пройдет еще сотня лет, с полсотней и четвертью, – новый сочинитель расскажет людям про то, как его предки, постигшие и логику, и риторику, и самую философию, жгли соборные на кострах преступные книги в городах больших и славных просвещением. Ибо возвращается ветер на круги свои, ночь сменяется днем, день ночью, и мало нового в подлунном мире» (с. 85).

История России рисуется Осоргиным как цепь исторических случайностей. Кажется, не смутись Наташа Нарышкина, не прояви она перед царскими глазами истинную, неподдельную стыдливость – и выбор невесты был бы другим, и Петр Великий мог бы не родиться, и вся история сложилась бы иначе. Однако вопрос можно поставить и иначе – так, как ставит его Осоргин на самом деле: собственно говоря, а что представляют собой российская история и ее ключевые деятели?

Например, того же Петра I, при первой встрече родителей которого присутствуют читатели, Осоргин рисует не мудрым правителем, а персонажем некоторой фантазмагорической комедии, ее необходимой деталью – не более. Его величие признается без доказательств, однако проявления этого величия имеют место за пределами текста, они подразумеваются, а не упоминаются или называются. Примечателен в этом отношении рассказ «История трех калачиков». Центральный персонаж рассказа, серпуховской житель Афанасий Львов Шапошников, приехав в Москву, вздумал поднести императору три серпуховских калачика – по случаю его именин. Однако, поднеся калачики, Шапошников пристаёт к императорской свите и умудряется не только сопровождать Петра, но и докучать ему своей беседой. И хотя «государь был прост, обходителен и ко всем равен» (с. 35), дело заканчивается для Шапошникова плохо: осерчав на Афанасия за то, что тот осудил потребление табака, Петр приказал взять его под караул. «Не было в деле Шапошникова никакой срочности, ни в чем он не обвинялся, а других дел было много. Ушаков (глава Тайной канцелярии. – А.Ф.) о нем ничего не знал, Петр, может быть, и вспомнил бы, – но и пяти месяцев не прошло, как уже вопиял в своем вдохновенном надгробном слове служитель церкви:

– До чего мы дожили, о, россияне! Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем!» (с. 37).

Парадоксально, но в художественном мире «Истории трех калачиков» единственное дело, свершенное Петром Великим, – это приказ арестовать пристающего мужика из Серпухова. Это дело входит в естественный контраст с высоким слогом надгробного слова Феофана Прокоповича, апеллирующего к сознанию людей, знающих, кто такой Петр Великий, какова ему историческая цена – но Осоргин расставляет акценты так, что арест Афанасия Шапошникова становится едва ли не главной заслугой императора: «И того не поняли судьи, что виноват он (Шапошников. – А.Ф.) был не в дерзости и не в расколе, а лишь в излишке общительности и в той особенной



клейкости, которой Петр никак переварить не мог. Чувствовал великий государь, что если не посадить Афанасия под караул, то может он прилипнуть к государевой особе крепко и на вечные времена, – и уж тогда, сколько его ни отмывай и ни отдирай, – отвязаться от него будет невозможно.

Была у Петра сила – она ему и помогла. И не смущался он действовать дубинкой. А вот нам, простым людям, приходится иногда страдать от такого “банного листа” и без трех калачиков, – а поделаться ничего невозможно!» (с. 38).

В этом отношении примечательно, что осоргинский микроцикл рассказов о Петровской эпохе в своем роде корреспондирует с «петровскими» же текстами его современников – рассказами, пьесой и, наконец, романом эмигранта, а затем реэмигранта А.Н. Толстого и повестью «Восковая персона» Ю.Н. Тынянова.

В «Дне Петра» (в отличие от романа «Петр Первый») А.Н. Толстой пытается отразить реальное противоречие между петровским замыслом (если он еще был!) и его воплощением: «...случилось не то, чего хотел гордый Петр; Россия не вошла, нарядная и сильная, на пир великих держав. А подтянутая им за волосы, окровавленная и обезумевшая от ужаса и отчаяния, предстала новым родственникам в жалком и неравном виде – рабою»<sup>2</sup>. Это естественно для страны, идеолог и двигатель реформирования которой начинает день стройкой, а заканчивает его пыткой: то есть начинается рождением, а завершает убийством.

Тыняновская же «Восковая персона» – повесть не о строительстве, не о рождении, а об умирании дела Петра Великого. Кораблю в ней, например, уподобляется не обновленная Россия, разрезающая мировой океан, а смертное ложе императора: «Он забился всем телом на кровати, до самого парусного потолка, кровать заходила, как корабль»<sup>3</sup>.

Актуализация образа первого российского императора в исторической прозе 1920–1930-х гг. закономерна: строитель принципиально нового государства (нового мира) на зыбкой российской почве требует осмысления с учетом происходящего в современной России (не случайно, скажем, М.А. Волошин называет Петра «первым большевиком»<sup>4</sup>). Осоргин же сам процесс строительства не показывает – Петр у него, как и у Тынянова, мертв изначально. Появившись на мгновение живым еще, чтобы отдать приказ

<sup>2</sup> Толстой, А.Н. День Петра // А.Н. Толстой. Собрание сочинений: в 10 т. – М., 1982. – Т. 3. – С. 34.

<sup>3</sup> Тынянов, Ю.Н. Восковая персона // Ю.Н. Тынянов. Сочинения: в 3 т. – М., 1994. – Т. 1. – С. 360.

<sup>4</sup> «Великий Петр был первый большевик, Замысливший Россию перебросить, Склонениям и нравам вопреки, За сотни лет к ее грядущим далям» (Волошин, М.А. Россия // М.А. Волошин. Стихотворения и поэмы. – СПб., 1995. – С. 299).

арестовать приставучего мужика Афанасия, дальше Петр существует уже как некий внешний демиург, к земному отношения и вовсе не имеющий – ср. у П.Г. Антокольского:

Державная воля не знает предела:  
Едва поглядела – и всем завладела.  
Торопится Меншиков, гонит Лефорт<sup>5</sup>.

«...Петром Первым Великим, – пишет Осоргин, – было прорублено окно в Европу. В окно полезли всякие замечательные иностранные новости и интересы из стран просвещенных, но, сравнительно с нашей, маленьких и дрянненьких. На чудеса европейские Петр положил ответить собственными, доморощенными, и, как известно, во многом преуспел и Европу обогнал» (рассказ «Монстры», с. 60). Но если у Тынянова Кунсткамера становится местом ссылки, так сказать, «живой» памяти о Петре – воскового болвана, сохраняющего черты лица и фигуру усопшего императора<sup>6</sup>, а у Б.А. Пильняка в повести «Его Величество Кнеeb Piter Komandor» рабочий кабинет императора уподобляется кунсткамере<sup>7</sup>, то у Осоргина Кунсткамера – единственный овеществленный результат усилий Петра: «Умер великий Петр, но дело его не умерло. В 1742 году проезжала по Сибири Камчатская экспедиция с профессором Гmeliным во главе; до Камчатки не добралась, но сделала немало важных дел, в том числе открыла существование в красногорском остроге четверых живых монстров, коих у родителей забрав – отправили в Кунсткамеру Академии наук» (с. 61).

Хранятся в осоргинской России-Кунсткамере и головы Вилима Монса и Марьи Гамильтон (рассказ «Три головы»), упоминаемые и в «Восковой персоне». Причем у Тынянова головы эти неподвластны времени – автор смотрит на них глазами человека, знающего их историю и видящего их будто сию минуту после казни: «Первая называлась Вилим Иванович Монс, и хоть

<sup>5</sup> Антокольский, П.Г. Петр Первый // П.Г. Антокольский. Стихотворения и поэмы. – Л., 1982. – С. 60.

<sup>6</sup> «Его свезли в куншткамору ночью, чтобы не было лишних мыслей и речей. Уставили ящик со всею снастью в крошни, закидали соломой и отвезли в Кикины палаты. Едут солдаты во тьме, везут что-то. Может быть, фураж, и никому нет дела» (Тынянов, Ю.Н. Восковая персоне // Ю.Н. Тынянов. Сочинения: в 3 т. – М., 1994. – Т. 1. – С. 428).

<sup>7</sup> «Вечер пред пасхальной заутреней государь провел в Италианском дворце, в рабочем своем кабинете. <...> На столе перед Петром горели свечи, был полумрак, пахло потом, водкой и сыростью. По углам, на столах, на подоконниках, в пыли, валялась всякая рухлядь, глобус, астроябия, фузели, модель корабля, ботфорты, стояли верстак в стружках, походная неудобная кровать. На полке рядами расставлены были в банках монстры и раритеты, заспиртованные уродцы людей и животных, тщательно собираемых Петром для куншткамеры, по указу...» (Пильняк, Б.А. Его Величество Кнеeb Piter Komandor // Б.А. Пильняк. Рассказы. – Т. III. – М., [б.г.]. – С. 205).

стояла на колу с месяц и снег и дождь ее обижали, но можно еще было распознать, что рот гордый и приятный, а брови печальны. <...> А вторая голова была Гамильтон – Марья Даниловна Хаментова. Та голова, на которой было столь ясно строение жилкок, где какая жилка проходит...»<sup>8</sup>. Однако само восприятие этих голов современниками Петра и его преемниками сильно отличается: «Обо всем этом (казнях фаворитов Екатерины и Петра. – А.Ф.) старый сторож рассказывал внуку не раз, и во всех подробностях, как много раз рассказывал посетителям. И самого его заставлял повторять, готовя себе в нем преемника. Только в одном не смог убедить: что головы в спирту блистают красотой. Самому ему и правда они казались красивыми, а внук видел только сморщенные носы, оскаленные зубы и мятый пергамент щек» (с. 140).

«Дело Петра» по прошествии времени оказывается не просто мертвым, но и стремительно потерявшим свою привлекательность – подобно тому, как распался прах в мнимой могиле его ближайшего соратника Александра Меншикова (рассказ «Знаменитая могила»): «Когда кирка глухо стукнула о дерево – показалось городничему, что это его гроб забивают гвоздями. Одно успокоило: прежнее алое сукно почернело и истлело, да и дерево как будто утратило прежнюю свежесть. <...> Над прахом великого временщика склонился ученый губернатор Бантыш-Каменский. В зимний день и на трехаршинной глубине было достаточно светло. Но уже не то увидел губернатор, что полтора года назад видели березовские жители: воздух принес тление, и хотя еще ясны были черты лица покойника, но не было ни белизны кожи, ни яркости зубов, и потускнели цвета атласа и шелка» (с. 306–307).

Арест мужика, уподобившегося «банному листу», превращает высокую трагедию смерти Петра, заявленную в цитате из речи Феофана Прокоповича, в анекдот. Но для самого мужика Афанасия Шапошникова этот анекдот, в свою очередь, едва не стал трагедией. И этот принцип перетекания анекдота в трагедию и трагедии в анекдот является одним из ключевых в миниатюрах-стилизациях М.А. Осоргина. Скажем, вслед за И.И. Лажечниковым изображая знаменитую «шутовскую свадьбу» в «ледяном доме» (рассказ

<sup>8</sup> Тынянов, Ю.Н. Восковая персона // Ю.Н. Тынянов. Сочинения: в 3 т. – М., 1994. – Т. 1. – С. 390. – Отрубленная голова петровской любовницы превращается в страшный символ любимой и обреченной на гибель от рук любящего ее человека России и в стихах М.А. Волошина:

В кунсткамере хранится голова,  
Как монстра, заспиртованная в банке,  
Красавицы Марии Гамильтон...

(см.: Волошин, М.А. Россия // М.А. Волошин. Стихотворения и поэмы. – СПб., 1995. – С. 295).

«Карлица Катька»), Осоргин сознательно полемизирует с великим предшественником, вслед за ним делая центральным героем повествования вымышленный персонаж – но не прекрасную молдавскую княжну Мариорицу, а уродливую карлицу Катьку, влюбившуюся не в прекрасного вельможу Артемия Вольнского, а в обезумевшего от несчастной любви шута князя Михаила Голицына. Страсть одного обездоленного существа к другому оказывается более впечатляющей и более правдоподобной, а жестокость Истории, раздавившей не только саму Катьку (благо, та – карлица, и раздавить ее не то что Колесу Истории, но и колесу обычной кареты ничего бы не стоило), но и предмет ее искреннего чувства, оттого еще более страшна.

Герой рассказа «Император» – шестимесячный мальчик, Иоанн VI Антонович, вся жизнь которого распадается на полгода мнимого, эфемерного, не осознаваемого самим императором всевластия и двадцать три года бессмысленного существования в тюрьме, завершающегося трагической и столь же бессмысленной гибелью: «Тяжелая дверь каземата замыкается на двадцать три года. В погребках прорастивается картофель, выводятся шампиньоны и некоторые сорта салата. Их отличие – бледность, хрупкость, мертвенность. Такими же вырастают дети в подземных шахтах. Вероятно, тайна жизни бывшего императора несложна.

Затем однажды врывается в каземат свежий воздух улицы. Бесцветная страничка личной жизни, вырванная из истории и никем не прочитанная, наконец, разорвана и брошена в помойку памяти. Для трагедии это слишком ничтожно и слишком неважно для огромной страны лесов, болот, озер, растущих городов и наконец пробуждающихся дикарей» (с. 54).

Осоргина волнует не историческая закономерность, не придворная интрига, не череда событий, приведших к той или иной коллизии. Предмет его изображения – частный случай, судьба конкретного человека. Даже фигура, сохранившаяся в сознании потомков как великий деятель, интересует его вне величия. Напротив, Осоргин сознательно снижает его. Русский Микеланджело – простой мужик Иван Рыжев, изготовивший не величественную мраморную статую Давида или Моисея, а деревянную куклу – монаха, несущего в снопе соломы голую бабу, что становится предметом для переписки высших должностных лиц империи (рассказ «Приключения куклы»). Нет великого полководца Суворова – есть ничтожный рогаговец Суворов, человек, не сумевший заставить полюбить себя даже собственную жену (рассказ «Брак генералиссимуса»). «Медного всадника» установил на пьедестале не Э.М. Фальконе по приказу Екатерины II, а грек-взяточник Карбури, живший под присвоенным им именем де Ласкари, переживший трех жен, двух из которых звали Агафиями Ивановными, и убитый за жестокость на родине работниками купленной им плантации (рассказ «Забывшие люди»). Сама императрица Екатерина в осоргинском цикле – всего лишь лицемерная и

жестокая, подобная палачу (рассказ «Заплетный мастер»), графоманка и плагиаторша в одном лице (рассказ «Статс-секретарь»), самым верным поклонником которой является столь же жестокий и бездарный графоман (рассказ «Парнас помещика Струйского»). И даже воспоминание о кошмарной Дарье Салтыковой, полупоэтичной Салтычихе, травестируется – вместо нее писатель преподносит вниманию потомков другую Салтыкову, статс-даму, жену воспитателя будущего императора Александра I Наталью Салтыкову, жестокое обращение которой с крепостным парнем (салтыковский парикмахер обречен жить в шкафу безвылазно) обусловлено комическим возрастным недостатком: графиня боится, что он расскажет другим о ее облысевшей голове (рассказ «Волосочес»). При том тайна Натальи Владимировны бессмысленна изначально: «и все ее люди, и весь Санкт-Петербург, и весь императорский двор знал и про ее лысину, и про скрытого в ее шкапу волосочеса. И не только знали, а и называли графиню второй Салтычихой: уж такова судьба ее фамилии!» (с. 181–182).

Так размывается, микшируется историческая легенда, стирается ее контур. «Никакой исторической фигуры нет, – категорически заявляет читателю Осоргин, – бессмысленно искать ее портрет в документах эпохи. Великолепная путаница фантастического и реального, распутывать которую даже преступно...» (с. 137, рассказ «Княжна Тараканова»). И далее: «Ни капли “исторической правды”! Но есть правда художника... <...> И, конечно, его правда пересиливает, потому что сказка имеет свои права...» (с. 137).

Но сказка эта, несмотря на всю свою иногда романтичность, иногда анекдотичность, – страшная. В российской истории, описанной Осоргиным, торжествует Смерть. Ее причиной становятся борьба за власть (рассказ «Император»), любовь (рассказ «Карлица Катька»), вера. Причем, говоря о вере, Осоргин обнажает один из основных приемов своего цикла: в одном из последующих персонажей автор непременно выводит двойника изображенной им ранее исторической личности, травестирующего высокий образ «главного» персонажа. Как вырытый по приказу губернатора-историка Д.Н. Бантыш-Каменского гроб с прахом легендарного петровского сподвижника Александра Меншикова невольно сопоставляется в читательском сознании с разрытой суеверными мужиками могилой ровенского еврея Менделе (рассказ «Кости еврея»), а Николай Струйский становится в историческом и литературном пространстве «Старинных рассказов» трагикомическим двойником императрицы Екатерины II, так на более раннем историческом материале строит Осоргин другую пару двойников – протопопа Аввакума (рассказ «Аввакум») и безвестного дьячка Василия Ефимова (рассказ «Сожженный дьячок»).

Судьба Аввакума Петрова широко известна, и Осоргин практически не отступает от исторической правды и первоисточника, включая в текст сво-

его рассказа и знаменитый диалог супругов Аввакума и Настасьи Марковны: «– Долго ли муки сея будет?» – «До самая смерти!» – «Добро, Петрович, ино еще побредем!»» (с. 23). В отличие от прочих персонажей цикла Аввакум и его протопопица вызывают у автора исключительно уважение: Осоргин не позволяет себе ни на мгновение иронизировать над их судьбой, воистину высокой и трагической (скажем, в отличие от судьбы патриарха Никона – рассказ «Соловей»). Однако, рисуя судьбу другой жертвы религиозного фанатизма – и уже в последующую, петровскую эпоху (1720 г.) – дьячка Василия Ефимова, Осоргин совершенно иначе расставляет акценты. Аввакум истово убежден в единственной правильности избранной им веры – дьячок Василий, чтобы не умереть вместе с женой от голодной смерти, имитирует чудо в церкви, где он служит, и приговаривается к смерти как раз потому, что открывает правду. После сожжения Аввакума остается бессмертное его «Житие...» – после сожжения Василия Ефимова остается бюрократическое дело о выдаче останков грешного дьячка его вдове. «Господь избивенных утешает ризами белыми, а нам дает время ко исправлению. Вечная им память во веки веков!» – провозглашает Осоргин в честь Аввакума и его сподвижников (с. 24). Не белые ризы, а смрадный запах сопровождает дьячка, поплатившегося за свою неразумную искренность: «...дьячок, хотя и жареный, лежа в гробу в церковном притворе, начал к весне сильно попахивать, наполняя самую церковь уже не прежним благовонием» (с. 33)<sup>9</sup>.

Весь цикл осоргинских рассказов объединен единой концепцией. Как сказал Л. Цырлин применительно к тыняновской «Восковой персоне», «монстры и натуралии не раскрывают <...> концепции писателя, но концепция эта имеется, хотя и живет она где-то в порах произведения и не столько присутствует в строках его, сколько таится между строк»<sup>10</sup>. Россия дегероизированная, демифологизированная, лишенная веры и высокой культуры, страна, в которой прогресс не просто замедлился – остановился! – такой предстает она со страниц рассказов М.А. Осоргина. Да и есть ли в принципе История у этой страны? «...Что такое сто пятьдесят лет? Нынешнего старого человека в детстве гладил по головке такой же старик, которому в его детстве могла свободно дать подшлепник по голому месту Екатерина Вторая, –

<sup>9</sup> Мотив вони и напрашивающаяся параллель между сожжением Аввакума и впоследствии провонявшего дьячка находят свое отражение в поэме М.А. Волошина «Протопоп Аввакум»:

Воняем –

Они по естеству, а я душой и телом

(Волошин, М.А. Протопоп Аввакум // М.А. Волошин. Стихотворения и поэмы. – СПб., 1995. – С. 249).

<sup>10</sup> Цырлин, Л. Тынянов-беллетрист. – Л., 1935. – С. 101.

вот и вся старина!»<sup>11</sup>. То есть истории в том прежнем понимании, как череды деяний выдающийся личностей, не существует. А демифологизируя героическую историю России, Осоргин лишает своих современников-эмигрантов опоры: нет прошлого – значит, не к чему апеллировать, не о чем сожалеть, не в чем черпать силы для борьбы.

Но для самого Осоргина и эта Россия – не умершая. В написанном от первого лица и носящем принципиальный, программный характер очерке «Россия» Осоргин решительным образом отмежевывается от тех стереотипов, которые распространяет эмигрантская пресса: «Требует хороший тон время от времени хоронить Россию. Я даже сделал тетрадочку, и в тетрадочке выписки и вырезки. Из собранного материала ясно, что России больше нет, а есть разоренный и зараженный сифилисом край с безнравственным населением, вымирающим от эпидемий. На полях ничто не растет, в городах ничего не потребляется, а только ходят голые люди с надписями на ленточках: “Долой стыд”. Несогласных расстреливают, а самих голых людей Семашки сажают в участок. <...> Больше ничего нет, в том числе и водопроводов. <...> Большевики совершенно бессильны, но всесильны; скоро падут, но продержатся, вероятно, долго. Народ же взволнован манифестом императора Кирилла и интервью “Вечернего Времени” с адъютантом Николая Николаевича. <...> Куда же однако делась Россия? Леса, реки, горы, человеки?» (с. 515).

Осоргин осознает, что все происходящее, все томящее своей кажущейся безысходностью интеллигентов-эмигрантов – на самом деле минутно, проходяще: «На глади озера вскакивают со дна и лопаются пузыри. И когда пузыри лопаются, им кажется, что озеро погибло. Когда лопнет наше маленькое бытие, здесь ли – там ли – на глади российской не отметится это ни единой морщинкой. В подвалах музеев погибли от воды драгоценные коллекции, – но жизнь ежедневно готовит будущему запасы новых, которые также погибнут при будущих наводнениях. Правда, никто и ничто не заменит матери ее погибшего сына. Но и мать, и сын, и его стон, и ее горе – не слышны в учете того, что зовем мы Россией. Как и наши мысли о ней, и наши программы, и наши планы, возмущенья, проклятья. И сами мы – поденки на Волге за час до заката» (с. 517).

Дегероизируя и демифологизируя прошлое России, Осоргин тем самым пытается разрешить вопрос не столько о роли личности в российской истории, сколько о том, чем является сама Россия по сути своей: «Такие страны не гибнут; гибнут названия, меняются властители, перечеркиваются географические карты. Пусть плачет, кто хочет, а желающий смеется. Ту огромную землю и тот многоплеменный народ, которым я, в благодарность за рожденные чувства и за строй моих дум, за прожитое горе и радость, дал имя

<sup>11</sup> Осоргин, М.А. Заметки старого книгоеда. – М., 1989. – С. 261.

родины, – никак и ничем у меня отнять нельзя, ни куплей, ни продажей, ни завоеванием, ни изгнанием меня, – ничем, никак, никогда. Нет такой силы, и быть не может.

И когда говорят: “Россия погибла, России нет”, – мне жаль говорящих. Значит, для них Россия была либо царской приемной, либо амфитеатром Государственной Думы, либо своим поместьем, домиком, профессией, верой, семьей, полком, трактиром, силуэтом Кремля, знакомым говором, полицейским участком, – не знаю еще чем, чем угодно, но не всей страной его культуры – от края до края, не всем народом – от русского до чукчи, от академика до кликуши и деревенского конокрада. У них погибло любимое, но Россия вовсе не “любимое”. Любит ли свое дерево зеленый листок? Просто – он, лишь с ним связанный, – лишь ему принадлежит.

И пока связан, пока зелен, пока жив – должен верить в свое родное дерево. Иначе – во что же верить? Иначе – чем же жить!» (с. 518).

Этот образ, демонстративно восходящий к лермонтовскому «листочку», который «оторвался от ветки родимой», вместе с тем имеет и обратную пафосной сторону. Сам автор только верит в то, что он еще связан с «родным деревом», а потому жив. На деле оторвавшаяся от «родного дерева» интеллигенция уже давно живет лишь воспоминаниями о том, что когда-то любила – о, говоря словами Осоргина, «погибшем». Дело не в эмиграции. Представление о России оказывается книжным, как «книжными» оказываются осоргинские стилизации. Сама же Россия оказывается непознанной и неузнанной всеми – «от академика до кликуши и деревенского конокрада», ибо каждый из них внемлет лишь той России, которую он знает и любит – не больше, то есть части, а не целому. Ибо целое «Россия» умом все одно не объежится, на чем и покончим.



## БИБЛІОГРАФІЯ

Работы, вошедшие в эту книгу, впервые опубликованы в следующих изданиях:

*Ильина, Т.А., Федута, А.И.* Будрыс в Твери // Асоба і час. Беларускі біяграфічны альманах. Вып. 2 / уклад. А.І. Фядута. – Мінск: Лімарыус, 2010. – С. 71–80.

*Федута, А.И.* Сентиментальное путешествие в ссылку: Ян Янковский и его травелог // Polska – Rosja: dialog kultur. Tom poświęcony pamięci profesor Jeleny Cybienko. Studia Rossica XXII. – Warszawa, 2012. – S. 113–123; то же: Федута А.И. Сентиментальное путешествие в ссылку: Ян Янковский и его травелог // В зеркале путешествий: материалы Международной научной конференции «Родная земля глазами стороннего наблюдателя. Заметки путешественников о Тверском крае». – Тверь: СФК-офис, 2012. – С. 211–221.

*Федута, А.И.* Земляки. Ф.В. Булгарин и А.-Г.К. Киркор: к истории взаимоотношений // ...Пачуць, як лёсу валяцца муры: Памяці Генадзя Кісялёва / уклад.: Л. Кісялёва, А. Фядута. – Мінск: Лімарыус, 2009. – С. 277–322.

*Федута, А.И.* Послание «Булгарину» Е.А. Боратынского: авторские редакции и литературный контекст // Respectus Philologicus (Вильнюс). – 2003. – № 4(9). – С. 155–160.

*Федута, А.И.* Цензор оценивает историка (Неизвестный отзыв о книге Т. Нарбутта) // Беларусь і беларусы ў прасторы і часе: зборнік навуковых артыкулаў у гонар 75-годдзя з дня нараджэння прафесара А.І. Мальдзіса. – Мінск: Лімарыус, 2007. – С. 174–177.

*Федута, А.И.* Как журналист Осип Пржецлавский отказал шефу жандармов, и ему за это ничего не было // Асоба і час. Беларускі біяграфічны альманах. Вып. 4 / уклад. А.І. Фядута.

дуга. – Мінск: Лімарыус, 2011. – С. 20–29; то же: Федута, А.И. Как журналист Осип Пржецлавский отказал шефу жандармов, и ему за это ничего не было // *Humanitāro zinātņu vēstnesis*. – Daugavpils, 2011. – № 19. – С. 68–78.

Федута, А.И. Страдания отставного цензора. К истории публикации воспоминаний О.А. Пржецлавского: по письмам О.А. Пржецлавского к П.И. Бартеневу (1872–1873 гг.) // *Цензура в России: история и современность: сборник научных трудов*. Вып. 5. – СПб.: РНБ, 2011. – С. 144–157.

Федута, А.И. Невстреча (Эва Фелинская и Надежда Дурова) // *Славянские чтения*. VIII. – Daugavpils: Saule, 2011. – С. 51–58; то же: Федута, А.И. Неспатканне. Эва Фялінская і Надзея Дурава // *ARCHE*. – 2011. – № 12. – С. 145–154.

Федута, А.И. Русский гений в воспоминаниях польского святого // *Школа теоретической поэтики: сборник научных трудов к 70-летию Н.Д. Тамарченко / ред.-сост.: В.И. Тюпа, О.В. Федунина*. – М.: Издательство Кулагиной – Intrada, 2010. – С. 275–280.

Федута, А.И. Арест и ссылка Александра Полежаева: вторая версия // *Alexandro Il'ušino septuagenario oblate*. – М.: Новое издательство, 2011. – С. 280–285.

Федута, А.И. Коровьев сказал правду (И.И. Панаев в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»). – *Literatūra. Mokslo darbai*. 2011. – № 53(2): *Rusistica Vilnensis*. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011. – С. 26–31.

Федута, А.И. Остап Ибрагимович Шкловский // *Новый филологический вестник*. – М.: РГГУ, 2011. – № 3(18). – С. 156–174.

Федута, А.И. Мелочи из запаса комментаторской памяти // *Литература в системе культуры: сборник материалов научно-практической конференции молодых исследователей*. – Тверь: Тверской государственный университет, 2012. – С. 153–161.

Федута, А.И. «Казнит злодея Провиденье...»: образ палача в литературе романтизма // *Жизнь и смерть в литературе романтизма: Оппозиция или единство?* – М.: ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, 2010. – С. 307–328.

Федута, А.И. «Един Державин». Образ Г.Р. Державина в русской прозе «межвоенного двадцатилетия» // *Вертоград многоцветный – Ogród wielu kwiatów. Tom jubileuszowy dedykowany Janowi Dębskiemu*. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. – S. 175–188.

Федута, А.И. Россия без опоры (Исторические рассказы М.А. Осоргина). – *Literatūra. Mokslo darbai*. 2010. № 52(2): *Rusistica Vilnensis*. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. – С. 53–62.

## STORIES AND COMMENTS

The collection of the famous Belarusian literary historian Aliaksandr Fiaduta includes selected articles on two main topics: Belarusian-Polish-Russian cultural borderlands in the first half of XIX century and the topic of fracture/borderland of cultural epochs that emerged after the October Revolution of 1917.

Aliaksandr Fiaduta considers borderlands as a chronotope – space-time continuum that creates a situation of choice – first of all, the choice of the author's own identity. This identity is national (Josef Przeclawski), gender (Ewa Felinskaja and Nadezhda Durova), political (Jan Jankowski, Mikhail Muravyov, Zygmunt Szczesny Felinski). Published by researcher archival documents and first translated into Russian ego-texts that expand our understanding of well-known cultural workers of the century are of particular interest. The researcher shows expertise analysis on the boundaries between life and text on the material of literature of 20–30s of XXth century. Aliaksandr Fiaduta shows how and why a person-prototype is transformed in the writer's mind into a character of a literary work; how texts created at different times are interrelated. Thus, the author finds new aspects for proper literary analysis of the texts that seemed to be well-studied – such as «The Master and Margarita» and «Theatrical Novel» by Mikhail Bulgakov, film series about Ostap Bender by Ilya Ilf and Yevgeny Petrov, tetralogy «The Thinker» by Mark Aldanov.

The collection of works by Aliaksandr Fiaduta is the first literary publication that demonstrates the scientific productivity of the historical and literary studies made on methodology of the borderland studies.



*Научное издание*

**Федута Александр Иосифович**

## **СЮЖЕТЫ И КОММЕНТАРИИ**

Ответственный за выпуск *Л.А. Малевич*

Корректор *М.Б. Шпилевская*

Технический редактор *О.Э. Малевич*

*На обложке использован фрагмент картины Мясоедова Г.Г.  
«Пушкин и его друзья слушают декламацию Мицкевича  
в салоне княгини З.А. Волконской» (1899–1905)*

Издательство

Европейского гуманитарного университета

г. Вильнюс, Литва

[www.ehu.lt](http://www.ehu.lt)

e-mail: [publish@ehu.lt](mailto:publish@ehu.lt)

Подписано в печать 30.07.2013. Формат 60x90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Бумага офсетная. Усл. печ. л. 21.

Тираж 200 экз.

Отпечатано «Petro Ofsetas»  
Savanorių pr. 174D, LT-03153  
Vilnius Lithuania